98644
К

САБИТ МУКАНОВ

СЫР-ДАРЬЯ

АЛМА-АТА · 1948

М 9

САБИТ МУКАНОВ

СЫР-ДАРЬЯ

РОМАН

Перевод с казахского Ю. Домбровского

38644

Казахское Объединенное
Государственное Издательство
Алма-Ата 1948



„За счастье соотечественников,
за счастье их детей"

(из песен Махамбета.)

Глава первая

ИНЖЕНЕР ПОНЕВОЛЕ

«О СЫР-ДАРЬЯ! Сколько тайн сокрыто в твоих суглинистых долинах, в желтых и мутных водах твоих!...»

Байжан отложил в сторону автоматическую ручку, захлопнул дневник и встал.

В купе международного вагона поезда Москва — Алма-Ата было жарко и душно. Байжан открыл окно, и серая густая пыль хлынула в купе, воздух обжигал как пламя. Чтобы не задохнуться, Байжан быстро захлопнул окно, опустил занавески и вышел в коридор. Но было душно и там.

Полная, невысокая, белолицая женщина стояла в коридоре около окна. На ней был легкий сарафан с красными тюльпанами, но и эта легкая одежда стесняла ее сейчас; она тяжело и медленно дышала и безостановочно обмахивалась веером.

Это была соседка по вагону Сюзанна Бенедиктовна, жена директора одной из алма-атинских фабрик. Так, по крайней мере, отрекомендовалась она при первом знакомстве.

— Это же кошмар! — сказала она Байжану.— И как только живут в таком пекле.

— Не только живут, — улыбнулся ей Байжан, — но даже работают.

— Да что вы! — воскликнула она недоверчиво.

— А вы посмотрите-ка вон туда!

Поезд пролетал мимо болота.

Жгуче сверкала рыжая вода.

Среди высоких зарослей болотистой травы стояло и ходило несколько полуголых человек с кетменями в руках.

— Что это они делают? — спросила Сюзанна Бенедиктовна.

— Орошают посевы, — ответил Байжан.

— Посевы? Разве это не тростники? — Она недоуменвающе смотрела на него.

— Нет, это посевы,— он засмеялся.— Рис это. Он ведь в воде растет. Разве вы не знали этого?

Нет, конечно, она не знала этого.

— И большой урожай он дает? — спросила она неуверенно.

— Это, смотря по тому, как ухаживать за ним будете,— улыбнулся ее вопросу Байжан.— Хорошо ухаживать будете, много соберете. Вот в прошлом году некоторые колхозы собрали по 50 центнеров с гектара. Это очень хороший урожай.

Сюзанна Бенедиктовна любила плов, но где берут рис для этого плова, как и где растет рис, этого она не знала и, помнится, никогда даже не интересовалась этим. Поэтому ее удивило только одно: как это люди работают в такую адскую жару?

Ей самой было до того жарко, душно и так нехорошо, что она отвернулась от Байжана и, задыхаясь, быстро пошла в свое купе.

— Все во рту пересохло,— сказала она жалобно.— И не знаю, как и чем утолить жажду.

— А хотите арбуза? — предложил Байжан.— Как раз сейчас у меня в купе лежит такой арбуз...

— Спасибо, спасибо...

— Прошу вас...

Вошли в купе. Теперь здесь было почти прохладно: пыль улеглась, а от занавесок падала полутень.

Байжан вытащил из-под стола огромный арбуз. Он был таким большим, что Байжан еле-еле держал его в руках.

— О боже! — только и сумела проговорить Сюзанна Бенедиктовна.

— Здесь и больше бывают,— улыбнулся Байжан.

— Да не может быть!

Байжан вспомнил при этом одну легенду и хотел ее уже рассказать, но передумал: сперва надо было угостить гостью.

Он вынул костяной казахский нож и пырнул арбуз в самую сердцевину. Тот треснул сразу же — таким он был спелым. Красный, как пламя, он одним своим видом вызвал у Сюзанны Бенедиктовны слюнки.

А Байжан неторопливо, осторожно и умело выкроил толстый ломоть арбуза и передал его гостье.

Теперь можно было рассказывать и легенду, и Байжан начал ее издалека:

— Знаете,— сказал он,— о сырдарьинских дынях рассказывают здесь целые легенды. Вот одна из них.

Жил-был однажды один декханин, до того бедный и несчастный, что был у него только один ишак. Но вот однажды и ишак исчез. Все обегал бедняк, везде побывал. Пропал ишак и только.

Вернулся бедняк домой, а жена и говорит ему: «ты его на нашей бахче ищи. Кричит наш ишак где-то тут, поблизости, а только где — не знаю».

Махнул на нее рукой бедняк — «не говори, мол, пустого», и вдруг слышит: точно, кричит его ишак. Вскочив, бедняк выбежал во двор. Так и есть — кричит ишак!

Побежал на крик, а ишака все-таки нет. То есть слышно, что где-то он здесь, недалеко, а вот именно где — не добьешься.

Развел руками декханин и смотрит на жену.

— Коли по крику судить, беспременно застрял наш ишачок в дыне, ишь дыни-то какие! — заметила жена.

Действительно, такие в этот год выросли дыни, что не только ишак, но и корова в них может уйти с головой и хвостом.

— Ну, что же,— говорит декханин,— идем, посмотрим.

Вот ходят они по огороду, смотрят на дыни и видят: в одной дыне целая пещера вырыта. Заглянул дехканин в нее: так и есть— там их ишак! Половина-то дыни съедена, а половина осталась. Вот в ней он и сидит.

— Интересная легенда!— улыбнулась Сюзанна Бенедиктовна.— А что же дальше?

Он протянул ей еще ломоть и покачал головой.

— Вот дальше-то и нельзя рассказывать...

— Отчего же нельзя?

— Да, никак нельзя. Восточные легенды зачастую имеют самый рискованный конец.

— Вот как! Но скажите тогда: и дыни здесь так же хороши, как арбузы?

— О, они слаще меда! Станешь есть — не оторвешься.

— Лучше чарджуйских?

— Я вам так скажу,— строго ответил Байжан,— здесь что тыква, что дыня чарджуйская — одна им цена. Вот какие здесь дыни!

— О, вы совсем меня заинтриговали. Теперь я понимаю, почему вы кинулись в это пекло.

— То есть, зачем я еду сюда работать? Ну нет, на это у меня есть куда более серьезная причина,— улыбнулся Байжан.

— Ну, а это более серьезная причина, надеюсь, не секрет?

— Да, пожалуй, что и не секрет,— задумчиво поглядел на нее Байжан и взял снова нож.

— Разрешите?

— Нет, нет,— испугалась Сюзанна Бенедиктовна,— больше я ничего не хочу. Но мне безумно интересно было бы узнать, что же это за причина?

Сюзанна Бенедиктовна вообще отличалась крайним любопытством, а Байжан к тому же был молод и красив. У него была широкоплечая, стройная, элегантная фигура. Еще на московском вокзале она подумала о нем: «Какой красавец! Только вот уже молод больно. Вот бы попасть в одно купе!».

Но в купе они попали разные, хотя и рядом. Соседом Сюзанны Бенедиктовны оказался какой-то старик, спутник же у Байжана был и того хуже: скучный, неразговорчивый мужчина средних лет.

Байжан любил играть в преферанс.

Как только поезд тронулся и пассажиры толпились еще около окон, он вышел в коридор и громко предложил:

— Товарищи, а как бы составить партию в преферансик! Нет желающих? А?

— Вот это дельно,— сейчас же отозвались из разных концов коридора. Тогда-то и состоялось знакомство Байжана с Сюзанной Бенедиктовной.

В карты Сюзанна Бенедиктовна играла азартно, на проигрыш реагировала с необычайной нервностью, и с партнерами спорила горячо и страстно. Поэтому со всеми-то она перессорилась и разругалась. Вот только с Байжаном была неизменно вежлива и корректна. В нем ей нравилось все: его лицо, статная фигура, манера держаться в обществе.

Ах, если бы и он обратил на нее внимание! Хотя бы чуть поласковее был. Она считала бы тогда свою поездку удачной и счастливой. Глазами, лицом, улыбкой она явно намекала на это. «Смотри, как ты мне нравишься, как я скучаю одна. Неужели же ты не поймешь!».

Нет, Байжан не понимал. То есть понимал-то он все, конечно, но именно поэтому был корректен, любезно сдержан, и только.

Но разве могла на этом успокоиться Сюзанна Бенедиктовна?! И вот однажды она начала длинный и туманный разговор о своей молодости, о былых увлечениях своих, несколькими словами коснулась мужа (тут легкая гримаса пробежала по ее хорошенькому лицу), которого она не любит, только уважает и, наконец, вдруг, шутливо грозя пальцем, сказала:

— Вот и вы, я вижу, мечтаете о какой-то своей зазнобушке! Только не обманывайте меня, я вижу все. Кто же она такая? Ну, рассказывайте! Только рассказывайте все, все!

Байжан только улыбался. Совсем не в его обычае было открывать свою душу каждой встречной даме, и совершенно зря Сюзанна Бенедиктовна рассчитывала на свои тонкие женские чары. Байжан чувствовал молчаливую и глухую неприязнь к этой даме. Она отталкивала его своей неумной суетливостью, своей неприятной развязностью, двусмысленными улыбочками, остротами и нагловатой любезностью. И, конечно, нечего ему было рассказывать о себе этой докучливой собеседнице. Она же делалась все назойливее и неотвязнее.

— Я же прошу вас, — говорила она, томно улыбаясь — Я же очень, очень прошу... Слышите? Говорите сейчас же!

Байжан еле удержался, чтобы не наговорить ей дерзости. Он вообще не любил говорить о себе, о своей же любви и подавно. Если бы и пришлось ему рассказать кому-нибудь о своей Гюльнар — так звали его невесту

— то уж, конечно, не Сюзанне Бенедиктовне. Какими словами можно было поведать раскрашенной пошлячке этой о своей юной чистой любви?

Родился Байжан Байбосынов в одной из волостей Петропавловского уезда. Его биография типична для миллионов молодых счастливых людей нашей страны, появившихся на свет, как он, в канун славного 1917 года.

Отец Байжана слыл человеком тихим, скромным и очень бедным. У него было столько детей, что бедняк так и не смог подняться на ноги. Но у отца был младший брат — Еспол, человек живой и проворный. Тот решил свою судьбу по-иному: высмотрел себе невесту, сговорился с ней, а потом выкрал ее и увез в Петропавловск. Там он поступил на пимокатный завод рабочим. Со старшим братом он связи не прерывал, а к самому же младшему из своих племянников — к Байжану — привязался по-настоящему. И, несмотря на то, что у Еспола были свои дети, дядя взял племянника погостить и оставил его у себя. Мальчик рос живым и смышленым. Уже восьми лет он поступил в казахскую школу десятилетку «Актас». Учился все время на «отлично» и окончил школу с похвальным листом. Принимал деятельное участие он и в кружках — драматическом, вокальном, художественном.

Но думал-то он об ином. Он мечтал стать писателем.

Читал он много, знал чуть ли не наизусть всю казахскую литературу, да и в русской тоже был порядком начитан. Попробовал он и сам писать.

Его стихи и рассказы охотно помещали в школьной стенгазете, но дальше он их не адресовал.

В год же окончания средней школы, в середине июля, его вызвали в Алма-Ата. Там проходила олимпиада художественной самодеятельности.

Всех участников ее разместили в одной из самых больших школ города. Находилась эта школа в центре, на проспекте Калинина.

Не успел Байжан соскочить с автобуса, остановившегося у ворот этого большого многоэтажного здания, как ему сразу бросилось в глаза огромное количество молодежи. Он поднимался по лестнице, а его обгоняли или бежали навстречу все новые и новые группы юношей и девушек — русские, казахи, уйгуры, узбеки. Он ни с кем не был знаком, но знал, что это тоже участни-

ки олимпиады, значит, товарищи его или будущие соперники.

И вдруг он остановился, как вкопанный: мимо него шла узбечка — высокая, черноволосая, с белым лицом и большими глазами. Что эта девушка была узбечкой, он не сомневался: ее волосы были убраны в тонкие длинные косички. 40 кос, как и полагается по узбекскому обычаю, сбегали к ее плечам.

Она обернула к нему свои огромные живые, но и очень спокойные и даже какие-то медлительные глаза и прошла мимо.

Она-то прошла, а он остался стоять, продолжая смотреть на нее неподвижно и прямо.

Она вышла в аллею и не села на скамейку, а скрылась в кустах сирени. Ее уже не было, а он стоял и смотрел.

— Вот красавица, — подумал он несколько даже ошеломленно. — Ах, какая же это красавица!

Тут его кто-то хлопнул по плечу. Он живо обернулся.

— Чего ж ты, а? — тревожно спрашивал его товарищ, а глаза его смеялись. — Еще и устроиться не успел, а уже невесту присматриваешь?! Смотри, брат!!!

— Где?! Какую невесту?! — смутился Байжан и недовольно отступил от него.

Тот только свистнул.

— Нет, каков гусь? А? Какую? Нет, брат, не надейся! Тебе тут не обломится.

— Чорт знает, что ты за осел! — выругался Байжан и, отходя, подумал. «Но куда же она ушла?!».

Снова встретились они на одном из совещаний. И, приглядевшись к ней, он опять-таки встал в тупик, даже слегка встревожился.

Они сидели рядом, помнится, даже обменялись несколькими словами, но Байжан чувствовал, что все время натыкается на какой-то незримый барьер. Он только того и добился, что узнал ее имя, отчество, фамилию: Гюльнар Анатольевна Полевая. Вот и суди, кто она такая! Фамилия и отчество — русские, имя же узбекское, узбекские и эти сорок косичек, по-русски же говорит чисто, без всякого акцента.

Так и ушел бы он ни с чем, если бы не помог случай. Их обоих назначили конферансье олимпиады. Стали они встречаться; с каждым днем встречи их учаща-

лись и делались более продолжительными. Однако, почему у узбечки русская фамилия, ему так и не удалось выяснить.

Было в ней что-то такое, что мешало задавать лишние вопросы: какая-то сдержанность и холодность. Но однажды она все-таки разговорилась.

— Отец мой,— сказала она,— коренной москвич, сын врача. По окончании средней школы отец поступил в Московский институт водного хозяйства, но в год окончания его был сослан в Среднюю Азию за участие в революционном кружке. В то время в Узбекистане прокладывался «царский канал». Хотя отец мой и не имел диплома, но он сумел устроиться инженером-мелиоратором. Там он и познакомился с отцом моей матери. В Средней Азии имеются мирабы — специалисты-практики по орошению. «Мар» — это «измеренье», или в применении к человеку «Измеритель», «аб» — вода; по-казахски это звучит несколько иначе: «Мураб», то есть орошатель. Отец моей матери и был мирабом, или мурабом, как хочешь. Звали отца моей матери Курбан. Он очень дружил с моим отцом. А мама моя была уже тогда девушкой на выданье. Вот они и полюбили друг друга (отец мой в то время по-узбекски уже говорил так же хорошо, как и по-русски), но повенчаться не смогли: ислам не позволял мусульманке выйти замуж за неверующего. Тогда отец выкрал мою мать. Выкрал, а деваться-то некуда! Даже и уехать далеко нельзя: жил-то он под гласным полицейским надзором. Что делать? Вот и пошел он в Главное управление по вопросам изыскания водохранилищ и ирригаций. Выслушал его главный инженер и говорит:

— Да-а, плохое дело. Ну, делать нечего, поезжайте в низовья Сыр-Дарьи. Там роются сейчас арыки. Я назначу вас руководителем работ.

Что ж? Пришлось согласиться. Так и прожил мой отец до самой революции. В 20-х годах он перешел в систему Казводхоза, а в 1928 году стал главным инженером областного управления.

Гюльнар рассказала кое-что и про себя. С Байжаном они оказались почти ровесниками. В этом году она кончила русскую десятилетку.

Мать моя, — сказала Гюльнар, — хотя и была воспитана на традициях старого Востока, но она совсем не

хотела, чтобы дочь ее воспитывалась так же. Поэтому она свое узбекское воспитание ограничила тем, что шила мне цветастые костюмы, расчесывала и заплетала в косички волосы, учила меня народным узбекским песням и танцам. «Пой, — говорила она, — пока еще молода. Вырастешь — обязанности пойдут, дети народятся, не до песен будет. А пока пой, веселись, и я с тобой спою», — и вот...

Гюльнар вдруг замолчала. Байжан удивленно посмотрел на нее. Она сидела неподвижной и мрачной.

Ничего не понимая, Байжан осторожно коснулся ее руки и увидел, что она плачет.

Это было так неожиданно, что он даже вскочил.

— Не надо, не надо, милая, не надо, дорогая! — сказал он умоляюще и сам чуть не заплакал.— Ничего мне не говорите сейчас, потом как-нибудь...

Но она уже оправилась и рассказала все. Год тому назад мать ее неожиданно умерла от рака.

«Так вот почему ты такая»,— подумал Байжан и даже обрадовался: не его значит она чуждалась, а просто не могла еще забыть смерть матери.

С тех пор Байжан старался все время находиться при ней. Встречи их учащались, и дружба крепла, благо олимпиада затянулась необычно.

Как-то мать рассказала Гюльнар старинное поверье о синем самаркандском камне. По состоянию этого камня говорит легенда, местное население и определяет начало лета. Солнце имеет два ока: око летнее и око зимнее. Когда солнце закрывает летнее око — наступает зима, когда же приходит лето, тогда закрывается зимнее око и во всю светит летнее.

Первые же горячие лучи его падают на синий самаркандский камень, и камень раскаляется, делается мягким, податливым. Это наступают весна и лето.

Сейчас таким синим самаркандским камнем показался ей Байжан. Он и вообще-то был красивым. Высокий, широкоплечий, с черными курчавыми волосами, что падали на широкий лоб, с бровями, густыми и очень прямыми, горбоносый, смуглолицый, быстроглазый — таким и запомнила его Гюльнар.

Они еще избегали говорить о своих чувствах, но все уже было ясно и так.

Первым к праматери Еве
пришел праотец наш Адам —

пропела поэтесса Сара во время поэтического спора со знаменитым акыном Биржаном.

Много времени прошло с тех пор, но разве изменился вековой закон любви? А если не изменился этот закон, то не должен ли первое слово сказать Байжан? Должен, должен, конечно! Только вот смелости-то у него и нехватало. Когда разговор доходил до этого, он смущался, краснел и не мог найти нужных слов.

Но то, что невозможно сказать, можно написать на бумаге. И вот Гюльнар получила письмо, большое, пылкое, многословное, но оно-то ей как раз и не очень понравилось: во многих местах автор просто пересказывал письмо Онегина к Татьяне. И поэтому первое признание Байжана осталось без ответа.

Тогда Байжан решился на крайний шаг. Он повел Гюльнар в парк и уже по дороге начал свое объяснение. Говорил он опять-таки пылко и, как казалось ему, складно.

На нее он не смотрел, а она либо молчала, либо, когда он останавливался, поднимала на него свои большие черные глаза с каким-то почти неуловимым матовым отливом и спокойно говорила:

— Да, да, я слушаю...

Наконец Байжан выдохся и замолчал. «Издевается, — подумал он неприязненно,— что ж, пускай.

Подошли к скамейке. В этом месте было пустынно и прохладно. Легкая тень от ветвистых деревьев лежала на траве.

— Сядем,— сказал Байжан.

Она молча опустилась на скамейку.

Молчал и Байжан.

Он молчал потому, что высказал ей уже все по дороге. Гюльнар же просто собиралась с мыслями. Объяснение Байжана было горячим и безусловно искренним. Правда, он наговорил много чепухи, но ведь и минута была такая.

Однако, что же она может ответить сейчас? Ведь он-то требует немедленного ответа. Она приоткрыла рот.

—А не...—начала она и замолчала.

Невозможно было сказать сейчас ему: «а не пойти ли нам домой?».

— Да, да,— сказал Байжан жадно.— Вы что-то хотели сказать мне.

Она внимательно взглянула на яблоню.

— Вот яблоки-то в этом году... — начала она и замолчала.

— Но вы ведь не о яблоках собираетесь говорить со мной? — раздраженно спросил Байжан.

Она вдруг твердо, по-мужски положила ему руку на колено.

— Знаете что? Давайте поговорим серьезно, и без цитат. Мы комсомольцы, и отношение к любви у нас должно быть коммунистическим, не правда ли? Поэтому давайте говорить прямо. Согласны?

Байжан кивнул головой.

— Тогда вот что, дорогой! Говоря серьезно, мы еще мало друг друга знаем. Ох, как мало! А жизнь прожить — это не поле перейти — есть такая пословица...

— Продолжайте,— сказал Байжан, взволнованный ее новым тоном.— Продолжайте, пожалуйста! Я слушаю. Я так вас слушаю,— прибавил он почти шопотом,— как никогда никого не слушал.

— Жизнь-то ведь такая большая,— сказала Гюльнар, помедлив.— Бог знает, сколько лет еще придется нам прожить вместе. Так как же хорошо нужно узнать друг друга, чтобы не раскаиваться потом! Каленым железом испытать надо друг друга, как говорилось в старину.

Она замолчала.

Молчал и Байжан.

— Так вот, дорогой,— сказала она уже твердо и прямо.— Три условия ставлю я вам. Слушайте меня внимательно. Мы не дети, мы комсомольцы и не только о себе должны думать, но и о том, чем мы будем для людей и родины. И прежде всего нам нужно найти место в жизни, овладеть какой-нибудь специальностью, а потом говорить уже обо всем остальном.

Байжан нахмурился.

Его очень мало устраивал и этот тон и эти слова — не так бы надлежало говорить о любви.

— Все это очень правильно, но почему вы ставите

вопрос так: либо любовь, либо специальность? Почему одно мешает другому?

— А потому, что ничего не сделается нашей любви, если мы отложим решение всех этих вопросов до более подходящего времени. Сегодняшняя любовь завтра будет любовью. Не так ли?

— О, с тобой не больно поспоришь,— засмеялся Байжан.

— Итак, первое: вопрос наших отношений мы решим после окончания высшего учебного заведения.

— Ну, и как же мы решим его тогда?

— Господи,— горестно сказала Гюльнар,— неужели все нужно говорить до конца? Неужели всякую мысль нужно выражать словами?

— Ну, хорошо, я согласен. Не будем пока говорить об этом. Где же мы будем учиться? — спросил Байжан.

— Я, например, стану медиком,— отрезала ему Гюльнар.

— Медиком? — воскликнул Байжан.

Гюльнар помрачнела и тяжело вздохнула.

— Да,— сказала она твердо.— И вы легко можете догадаться, почему именно медиком. Рак убил мою мать, а я убью рак — вот цель моей жизни. Понятно?

— Понятно! — ответил Байжан.

— Теперь о вас. Если бы вы послушали меня, я бы порекомендовала вам профессию.

— Ну, ну! — сказал Байжан.

— Но прежде выслушайте две легенды. Они очень популярны в Сыр-Дарьинской долине.

— Говорите, я слушаю!

— В давние времена жила в Сыр-Дарьинском крае девушка Макпал. В нее влюбился джигит Сегиз. Третьего между ними, как это иногда бывает в легендах, не было.

— Ну, ну?

— Слушайте дальше. Сошлись-то они легко, а потом случилась беда. Сегиз увез Макпал к себе в Арка и вот, как только они приехали на его родину, начала красавица Макпал болеть, желтеть и увядать, как осенняя травка под первым снегом. Сколько ни звали к ней знахарей, никто не мог помочь.

Узнав о болезни дочери, приехали из Сыр-Дарьи ее родители. Ничего не побоялись они сделать ради любимой дочери, даже пересечь Голодную Степь и то не

побоялись. А так как воды в этой степи нет, то и везли они ее с собою в мехах. А чтобы вода не испортилась, положили они в каждый мех малта[1]. Отведала этой сыр-дарьинской воды красавица Макпал и на глазах всех начала здороветь и поправляться. Но воды-то в мехах было немного и как только она кончилась, девушка снова зачахла.

Поняли тогда ее родственники: не может жить их Макпал без родной Сыр-Дарьи, и отправили они ее на родину... Доехала до реки красавица, припала к берегу, испила воды и снова стала прежней,—пригожей да полной. Обрадовалась и решила вернуться к мужу в Арка. Но как только доехала туда, снова заболела. И понял тогда ее муж: без воды родной реки жена его не выживет. И так как любил он ее по-настоящему, переселился в Сыр-Дарьинскую область. И сейчас еще их внуки и правнуки живут в этих местах.

— Понятно,— сказал Байжан.— Ну, а что же гласит вторая легенда?

— А вот что:

Один узбекский джигит влюбляется в девушку, но та ставит ему условием: моя родина, говорит она, бедна и пустынна. Чтобы призвать ее к жизни, нужно оросить ее степи. Проведи канал от Сыр-Дарьи и брось воду ее на поля. Сделай это и я — твоя.

— И он выполнил это условие?

— Он выполнил его, так он любил свою невесту.

— Ага!— значительно сказал Байжан и задумался.

— Значит и мне ставится такое же условие? — спросил он через минуту.

— Да.

— Но почему именно такое?

— Сейчас объясню,— сказала Гюльнар.— Есть у меня одно сокровище, с которым я никогда и ни за что не расстанусь. Это мой отец!

— Но кто же не любит своего отца?

— Все любят! Но я люблю так, что никогда не разлучусь с ним.

Байжан захохотал.

— Что вас так развеселило? — спросила Гюльнар неприязненно.

---

* Малта или курт — твердый творог, приготовленный особым образом, не растворяющийся в воде.

Байжан смеялся.

— Ну, хорошо,— коротко вздохнула Гюльнар, поднялась и пошла.

— Да куда же вы? — воскликнул Байжан и загородил ей дорогу.

— Я говорила серьезно, а вы смеетесь.

— Ну, ну, — миролюбиво сказал Байжан, удерживая ее за руки, — я вас слушаю.

Он хотел усадить девушку, но она продолжала стоять.

— Да, — повторила она решительно, — от своего отца я никогда и никуда не уеду, ибо нет у него в личной жизни ничего, что было бы дороже меня.

— Вот что, — сказал Байжан подумав. — Я не хочу тебя обижать, но посуди, как же мне не смеяться? Тебе 20 лет, а ты рассуждаешь, как маленькая девочка: я не уйду от отца. Да ведь счастливое замужество дочери это и есть отцовское счастье. Да и кто тебя толкает на то, чтобы бросить отца? Возьми его с собой. Разве стыдно тестю жить у зятя?

— Не в том дело, что стыдно, а в том дело, что он не поедет никуда.

— Это почему?

— У моего отца есть заветная мечта — превратить голодные Сыр-Дарьинские степи в цветущий сад. Этому он посвятил всю свою жизнь. И никто не в силах заставить его думать об ином.

На завтра этот разговор продолжался уже на перроне вокзала. Гюльнар уезжала в Кзыл-Орду; Байжан ее провожал.

Тут они условились обо всем... Он дал ей слово поступить в какой-нибудь институт водного хозяйства. Гюльнар надеялась, что отец окажет ее жениху нужное содействие и помощь.

Так оно и вышло. Не успел Байжан вернуться в Петропавловск, как получил от Кзыл-Ординского облводхоза телеграмму с вызовом. Байжан знал, что это хлопочет Гюльнар и выехал в тот же день.

Анатолия Кондратьевича в городе он не застал, его срочно вызвали в Алма-Ата. Однако старый инженер сделал все, что требовалось. В Управлении облводхоза Байжану вручили уже готовый контракт и направление в

Московский институт водного хозяйства. Облводхоз просил принять Байжана Байбосынова в счет своей брони и брал на себя его содержание на все время учебы.

И Байжан поехал в Москву, так и не повидав Анатолия Кондратьевича. Через четыре года окончил институт, а еще через год защитил дипломную работу.

Контракт с Кзыл-Ординским облводхозом имел еще и другое преимущество: на практику Байжан приезжал в Кзыл-Орду, к Гюльнар. Целое лето они проводили вместе.

Вот и вся история любви Байжана.

Ровно в полдень поезд прибывал в Кзыл-Орду.

Байжан с чемоданом вышел к двери вагона. Сзади него стояла Сюзанна. Поезд мчался мимо вокзальных зданий, цветников и железнодорожных строений. Среди группы встречающих Сюзанна увидала девушку, одетую по-узбекски. Девушка заметила Байжана и махнула рукой.

Поезд остановился. Байжан только стал сходить с подножки, как к нему подбежала высокая, черноволосая, белолицая девушка и радостно вскрикнула:

— Байжан!

— Гюльнар! — крикнул Байжан и спрыгнул на землю.

Но не было ни объятий, ни поцелуев. А ведь именно этого и ожидала Сюзанна. Холодность встречи почему-то задела Сюзанну.

— Ну и влюбленные, — подумала она. Потом посмотрела им вслед: вот идут они по перрону рука об руку, высокие, молодые, красивые, плечо к плечу.

«Нет, все-таки хорошая парочка», — решила Сюзанна Бенедиктовна.

Глава вторая

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

АНАТОЛИЙ Кондратьевич ни одеждой, ни манерами не отличался от простого казаха, но то, что он был передовым русским человеком сказывалось во всем, а больше всего в отношениях с дочерью. Как можно, нап-

ример, представить себе, что восточная девушка вдруг делится с отцом своими интимными переживаниями, тем более если они касаются любви или выбора любимого человека. А вот Гюльнар в этом отношении секретов от отца не имела.

Казахским языком Полевой владел в совершенстве. В разговоре он так и сыпал поговорками, прибаутками, загадками, всем богатством цветистой восточной речи. И все это без малейшего акцента.

Одевался он для непривычного глаза довольно странно: носил русский костюм, но вместе с ним — традиционную казахскую шапку. Сходство русского инженера с казахом шло и дальше: он очень любил жирное мясо, особенно бесбармак. Что же касается кумыса, то и в этом у него положительно не было соперников. Он мог тянуть его до бесконечности, только бы меняли чаши.

Анатолий Кондратьевич был прекрасным наездником. Не счесть быстроногих скакунов и иноходцев, что прошли через его руки. Если лошадь ему нравилась, он готов был отдать за нее все — холил ее, покупал казахские седла с богатыми серебряными украшениями. Будучи страстным охотником, он и на охоту отправлялся только верхом.

Когда Анатолий Кондратьевич, высокий, стройный с ружьем за плечами, ехал на коне, а сзади бежала охотничья собака, не было ни одного казаха в Сыр-Дарьинской долине, который, встретившись, не назвал бы его почтительно, по-дружески «Суши-Анатоль», то есть «Анатолий, ведающий водой». Этого «Суши-Анатоль» знали все — от ползунка до трясущихся от дряхлости старцев.

Однажды Анатолий Кондратьевич, проезжая через незнакомый аул, заехал к одному казаху. Аул был дальний, и казах не знал Анатолия Кондратьевича в лицо.

Время шло к обеду. В большом глиняном горшке варилось мясо. Анатолий Кондратьевич был голоден, он то и дело посматривал на горшок. Скупой же хозяин совсем не желал угощать заветным блюдом какого-то «случайного прохожего». Он подал Анатолию Кондратьевичу только чашку айрана. Тот айран выпил, но продолжал сидеть.

Хозяин ждет ухода гостя, а гость не уходит. Крышка на горшке уже подпрыгивает, суп выкипает, мясо начинает пригорать, а гость все сидит и сидит.

Тогда скупец беспомощно говорит жене:

— Ну и засиделся же он у нас, этот русский.

Жена была умной и быстро ответила:

— На нем казахская шапка, так нет ли и трещины в его голове? — говорит она. (Если в аул приедет русский и неизвестно, знает ли он казахский язык или нет, то желая предостеречь друг друга от неосторожных разговоров, обыкновенно говорят: «а нет ли в его голове трещины?», то есть иными словами — не пролезут ли в его голову казахские слова).

Анатолий Кондратьевич быстро откликнулся:

— Хозяйка! От трещины в моей голове вреда нам не будет, а вот коли горшок ваш треснет, беды не оберешься. Ну-ка, снимай скорее его с огня.

Тогда муж и жена сразу поняли, что постучался в их дом и сидит у них в гостях известный всем Анатоль. Они бросились его угощать.

А послушайте, как рассуждает Анатолий Кондратьевич о русской науке, о роли великого русского народа в жизни народов Средней Азии. Он-то ведь своими глазами видел, как зацвели, как покрылись цветами и рощами мертвые пески!

— В том-то и дело, — говорил он, — что не из Западной Европы пришел в Азию свет, а из России. А разве Октябрьская революция — не дело рук, прежде всего, русского народа? Не было бы Октября, и коллективизации не было бы, а значит не было бы и самого крупного в мире сельского хозяйства. А что Средняя Азия и Казахстан без этого. Мертвая пустыня! Вот в этом-то и все дело.

Он останавливался, собираясь с мыслями, и вдруг клал на стол обе свои большие, сильные руки.

— Да, мертвая пустыня, Голодная Степь, — говорил он с удовольствием. — И вот именно на мою долю выпало счастье осуществить мечту русских ученых.

Когда Полевой говорил и о семейном укладе народов Средней Азии, он опять-таки вспоминал русский народ, опять-таки находил для него доброе слово.

— Есть народности оседлые — узбеки, таджики, —

говорил он, — и есть кочевые — казахи, киргизы, каракалпаки. От этой особенности и зависит разность форм семейного уклада. Но надо сказать, что и так и так плохо. Оседлые народности запирают своих жен под замок, завешивают им лица. Кочевнику, конечно, запереть женщину невозможно — где у них в кибитках или в юртах стены да замки? Но ведь от этого женщинам не легче: ее можно купить или продать, как и любой товар, — была бы только цена сходная, а там стерпится — слюбится. Ну, а если все-таки и не слюбится и даже не стерпится, тогда что? Тогда пропала жизнь! А где в России найдете подобное? Правда, и там было горе, нужда, произвол, что и говорить об этом, но все не то. Женщина должна быть...

Тут старый инженер увлекался и много, хорошо говорил о том, какой должна быть женщина. Она должна быть и умной, и независимой в своих суждениях, и начитанной, и образованной, и вообще...

— Лучше русской девушки и на свете нет, — говорил он смолоду друзьям. И вдруг женился на узбечке. Правда, кое-что в ней коробило его, но Анатолий Кондратьевич не унывал. Он знал, что сумеет перевоспитать жену по-своему, однако иногда оказывалось, что это не так-то легко. Шахадат не всегда и не во всем соглашалась с мужем; были случаи довольно серьезных расхождений. Когда Анатолий Кондратьевич похитил Шахадат, ему было 25 лет. Через год у них родился ребенок, но через месяц умер. Еще рождались дети и так же скоро умирали. Только на десятый год их совместной жизни Шахадат родила дочку Гюльнар. Девочка так и осталась их единственным ребенком. Это очень мучило и заботило Шахадат.

На Востоке отец никогда раньше не считал дочку настоящим и полноценным членом семьи, ибо никогда он не забывал восточной пословицы «Сын — отцу, дочь — чужому молодцу». Поэтому дочь в доме была всегда отрезанным ломтем.

Шахадат хорошо знала это правило гарема, а когда поняла, что только девочка и останется у них, она на мужа и взглянуть боялась. Однако вскоре она увидела, что Анатолий Кондратьевич не понимает ее страха и

дочь свою любит точно так же, как любил бы сына. Это и удивило и успокоило ее.

Между тем Анатолий Кондратьевич старался, чтобы Галя его и по образованию, и по манерам ничем не отличалась от европейской, интеллигентной девушки. Для этого он прежде всего обратился к книгам. В свое время он сам проглатывал целые библиотеки. Теперь в книгах же он искал союзников себе.

Галя знала, что отец ее, мелиоратор по специальности, большую часть своей жизни провел в разъездах и поэтому никогда не имел свободного времени. Когда же, спрашивается, — думала она, — сумел он так хорошо разобраться во всех науках? А он был порядком начитан и в астрономии, и в ботанике, и в биологии, кроме того, еще и художественную литературу знал хорошо. И не только русских, но и иностранных авторов читал и так увлекательно и живо пересказывал их произведения, что не было для Гали большего удовольствия, чем слушать отца.

Анатолий Кондратьевич старался привить Гале мысль: будь постоянной в дружбе и неизменной в любви; чувствами не разменивайся, коли выберешь любимого человека, так уж держись его крепко.

Позже, когда Гюльнар уже сделалась взрослой барышней, она могла спорить с Анатолием Кондратьевичем по целым дням. Часто они так и оставались каждый при своем мнении. Однако эти небольшие столкновения и разногласия не портили их отношений.

В год смерти жены Анатолию Кондратьевичу исполнилось пятьдесят три года. Был он здоров, крепок и казался почти молодым. Гюльнар все время со страхом ждала, что отец соскучится одиночеством и приведет ей мачеху. Что она могла возразить против этого?

Однажды она подслушала случайный разговор отца с приятелем. Сухо и резко Анатолий Кондратьевич говорил:

— Нет, нет. Мое счастье — это моя дочь, моя жизнь, моя работа. Больше мне ничего не надо.

Гюльнар проплакала всю ночь и после того стала ходить за отцом, как за ребенком. Понятно поэтому, почему она ответила жениху: «а отца я не оставлю никогда».

О Байжане же она рассказала отцу вот что:

— На олимпиаде я встретилась с одним человеком. Он хочет быть мелиоратором, но для этого ему надо учиться. Вот он и просил меня посоветоваться с тобой и сообщить ему: куда ему поступить лучше всего. Кстати, вот его фотокарточка.

Анатолий Кондратьевич искоса поглядел на Гюльнар. Он сразу понял все.

— Что ж, напиши ему — пусть поступает в Московский институт водного хозяйства. А ты поступишь в Московский медицинский институт! Вот и будет у тебя знакомый в незнакомом городе.

Но Гюльнар в Москву ехать не хотела. Она давно облюбовала мединститут имени Молотова в Алма-Ата. Так она и сказала отцу.

— Ну, а почему же твой друг не хочет учиться здесь? — удивился Анатолий Кондратьевич.

— Он почему-то предпочитает Московский институт.

— Ну, что ж, — ответил Анатолий Кондратьевич, — это еще лучше. Видишь ли, нам потребуются специалисты не только по орошению и мелиорации, но также инженеры-грунтовики...

Он-то отлично понимал, что проблема Сыр-Дарьи разрешается именно целой, хорошо согласованной, системой орошения. Но знал он и то, что этого юношу-северянина, выросшего в суровом климате Северного Казахстана, прельщают, конечно, не знойные и пустынные равнины Сыр-Дарьи, не Голодная Степь, а Гюльнар. А коли это так, то понятно, — нельзя чужого человека заставить целый век оставаться прикованным к раскаленным степным пустыням. Хорошо уже и то, что он согласился стать гидрологом.

Вот так и сделался Байжан студентом факультета грунтовых вод.

Как и предполагал Анатолий Кондратьевич, жару Байжан не переносил. По целым неделям приходилось ему оставаться между раскаленным песком и таким же раскаленным небом. На теле у него появлялись солнечные ожоги, пересыхали губы, он жестоко страдал от жажды.

Зато Анатолию Кондратьевичу любая жара была ни-

почем. Он только насмешливо щурился, поглядывая на своего незадачливого и чересчур нежного ученика.

— Ну как, сынок? — спрашивал он. — Печет?

Байжан только головой мотал,— ему и говорить было тяжело.

И тут часто повторялась одна и та же, очень понравившаяся Анатолию Кондратьевичу шутка.

—А что, по-твоему, больше допекает человека — любовь или солнце?

— Солнце! — хмуро отвечал Байжан.

— Ну и врешь,— весело махал рукой Анатолий Кондратьевич. — Врешь! Что же тебя тогда загнало в это пекло, как не любовь? Ты думаешь, я не знаю, почему ты стал мелиоратором?

Байжан только пыхтел. Он не раз думал: «Вот женюсь и тогда, пожалуй, плюну на все, заберу Гюльнар, и уедем с ней, куда-нибудь на север. А пока придется терпеть». Но эти мысли он держал про себя.

Анатолий Кондратьевич прекрасно понимал, насколько тяжело приходится его ученику, как он страдает от жары, от пыли, от отсутствия воды. И хотя инженеры об этом говорили мало, но каждый угадывал мысли другого... «Что ж,— думал Анатолий Кондратьевич,— либо он полюбит этот край и, женившись на Гюльнар, останется здесь; либо уедет с молодой женой в другие края. Ну что ж? Насильно мил не будешь. Вот ведь и я...».

И он вспоминал, какими тоскливыми и мертвыми были первые годы его ссылки, как он собирался бежать не то в Китай, не то в Индию, потом чуть не пустил себе пулю в лоб, и пустил бы, конечно, если бы его не захватил пафос благородного и созидающего труда. Он увидел, как бьются здесь люди из-за горстки риса, из-за пригоршни зерна, и понял, что только он и может помочь им. Тогда он стал целые дни проводить то в степи, то за чертежами. В это время он и познакомился с Шахадат.

«Вот и его непременно нужно женить,— думал Анатолий Кондратьевич.— Непременно! Что ж, если они уже обо всем договорились, мне остается только погулять на свадьбе. Они-то и со свадьбой не справятся. Молоды еще, неопытны, а свадьба ведь это — ох, какое большое

дело! Впрочем и мне с этим, пожалуй, не справиться. Надо Сырбая попросить». И Анатолий Кондратьевич решил съездить к Сырбаю посоветоваться.

С Сырбаем, кряжистым, сильным, малоразговорчивым и даже как будто нелюдимым стариком, Анатолий Кондратьевич дружил давно, с первого года своего появления в этих степях. И недаром дружил. Такого знатока земли и воды сыр-дарьинских пустынь, как Сырбай, поискать надо было. Он все знал: и по какому месту должна проходить арычная система, и как следует прокладывать арыки, и где грунт для копки не приспособлен, и как следует содержать арыки и ответвления их, чтобы они не разрушались и не загрязнялись, какой кусок земли может дать урожай, а с каким и возиться нечего. По всем этим вопросам следовало обращаться только к Сырбаю. Когда же он говорил о земле и воде, можно было подумать, что ты беседуешь с крупным специалистом, а Сырбай ведь и грамоты-то не знал.

Покойная Шахадат уважала Сырбая, как отца. Гюльнар же звала его просто «Ата», то есть дедушка. У Сырбая был сын и тоже единственный, ровесник Гюльнар.

Когда дети немного подросли, Сырбай как-то полусерьезно, полушутя предложил Анатолию Кондратьевичу породниться.

Анатолий Кондратьевич ответил:

— Ну, об этом еще рано говорить, пусть дети подрастут немного, а там видно будет.

И, действительно, скоро Сырбай увидел, что он слишком поторопился. Во-первых, Даулет дальше средней школы не пошел, а поступил работать в колхоз; во-вторых, у него завелась своя зазнобушка, в-третьих, Сырбай узнал, что и Гюльнар дала слово какому-то городскому парню. Когда Байжан приехал в Кзыл-Орду, Анатолий Кондратьевич сообщил Сырбаю о предстоящей свадьбе.

— Ну, что ж, поздравляю,— сказал старик.— Но на радостях я хочу попросить тебя об одном одолжении.

— Ну, ну...

— Мы с тобой вместе жили, вместе состарились, стали, как братья. Значит, твоя Гюльнар и моя дочь. Давай-ка устроим свадьбу вместе.

От такого предложения отказаться было невозможно: Сырбай обиделся бы смертельно.

— Где же мы ее устроим?— спросил Анатолий Кондратьевич.

— Вот что,— сказал Сырбай,— мы сделаем так: сварим полные котлы мяса, устроим борьбу, потом скачки, потом козлодрание. А разве все это можно устроить в Кзыл-Орде? Поэтому давай-ка отпразднуем свадьбу в нашем ауле.

Анатолий Кондратьевич задумался. Ему очень по душе была такая свадьба, но он знал также и то, что расходы делят между собой все родственники и даже все друзья хозяина — удобно ли это?

— Ну, что ж,— ответил он, наконец,— но только вот в чем беда. Дети-то выросли в городе, пожалуй, они и свадьбу пожелают сыграть по-городскому.

— Одно другому не помеха,— ответил Сырбай.— Пусть сыграют и здесь и там. Знаешь, у нас есть свадебное пожелание: «После твоей свадьбы, да будет и еще одна». И Даулет тоже погуляет с нами, а в это лето он — ох, как был занят!

Анатолий Кондратьевич подумал и согласился.

Сын Сырбая Даулет заведывал колхозной овцеводческой фермой. Ферма была большая — на восемь тысяч голов скота.

Работником Даулет считался образцовым. Только в одном прошлом году его премировали пятьюдесятью головами овец. А в этом году — еще тридцатью пятью. Поэтому семейство Сырбая считалось самым зажиточным во всем районе. Так кому же, как не Сырбаю, было устроить свадьбу, настоящую казахскую свадьбу с байгой, козлодранием и пиром на весь район?

Так и решили друзья: свадьбу они сыграют дважды: одну в городе, другую в ауле.

* * *

Гостиница, в которой остановился Байжан, была старым азиатским строением, с длинным, узким коридором и множеством маленьких комнат по бокам его. Байжан поместился в самой большой из них, — в гостинице называли ее залой. Тут стояло четыре кровати и небольшой стол.

Лето было жаркое и засушливое. Не только земля, асфальт, известковые плиты, которыми были выстланы улицы, но даже половицы в гостинице накалялись до

того, что их приходилось поливать дважды в день. Как только в комнате опускали шторы, сейчас же становилось жарко, как в бане.

Байжан присматривался к своим соседям.

Все они переносили жару по разному.

Его сосед по койке, работник Саксаултреста, высокий, худой казах с длинным желтым лицом и редкими усиками, от жары спасался так: он приказывал принести самовар и в течение дня опорожнял его несколько раз. Чай он клал в кипяток сразу по полплитки, и этот бурый кипяток пил с утра до ночи.

В комнате и без кипящего самовара было нестерпимо душно, но казах, почти совершенно голый, поминутно обтирался полотенцем (его приходилось менять по нескольку раз в день) и только приговаривал: «Ничего — кипяток на кипяток, жара на жару! На термометре пятьдесят градусов, а в самоваре сто, вот я еще и в выигрыше».

И верно, чувствовал он себя прекрасно.

Но особенно поразил Байжана другой его сосед. То был пожилой казах, благообразный старец, с длинной седой бородой, хорошо причесанной и аккуратно подстриженной. Он приехал из дальнего казахского аула хлопотать по каким-то своим делам и все время бегал по юридическим консультациям.

Этот спасался от жары тем, что поверх летней одежды носил стеганый ватный халат, толщиной в два пальца, большие кожаные сапоги, войлочные чулки. Голову этот казах кутал в башлык из тонкого войлока. В таком виде он мог бы зимовать и на полярной льдине.

Был в номере и еще один человек из столицы. Звали его Рабинович.

Приехал он из Москвы по делам какого-то пищевого треста и, попав в эту гостиницу и в этот номер, сразу же обалдел: в полдень он раздевался догола, ложился на постель, покрывался простыней и начинал стонать.

Он стонал и жаловался, что вот-вот сейчас умрет, что у него слабое сердце, что оно легко может лопнуть от этакой жары.

Когда Байжан глядел на него, ему становилось легче. Значит страдает от жары не он один!

Особенно жестоко Байжан страдал в первый день

своего приезда. Когда он вышел из прохладного вокзального помещения на площадь, ему показалось, что он попал в баню. Он искоса взглянул на Гюльнар — та шла как ни в чем не бывало.

«Она-то здесь родилась»,— подумал он с завистью.

Через пять минут у него взмокла спина. По улице летела пыль. Она налипала на лицо и стекала жирными грязными подтеками. Он неосторожно вздохнул и закашлялся: и рот был полон пыли. «Ну как здесь жить?»,— горестно подумал он.

— Как здоровье Анатолия Кондратьевича? — спросил он Гюльнар.

Гюльнар что-то замедлила с ответом. Несколько шагов она прошла молча.

— Спасибо,— сказала она,— папа здоров. Он ждал тебя, но его неожиданно вызвали в Алма-Ата. Он должен скоро вернуться.

Байжан закусил губу. Он отлично понимал, что это значит. Сколько раз он ни приезжал к Гюльнар — отца постоянно не было дома, а это значило, что у нас, мол, тебе остановиться нельзя. Поезжай, голубчик, в гостиницу.

Байжан никогда не сердился за это на Гюльнар. Он знал: ничего тут не попишешь. Однако раньше приезжал он как друг, товарищ, а сейчас приехал как жених, почти как муж. Ее отец знает об этом, он даже дал согласие на брак. Так какого дьявола ему делать в этой проклятой гостинице.

Они дошли до конца площади, где стоял старенький газик.

— В гостиницу,— приказала Гюльнар.

Байжан молчал — он знал, что это за гостиница. В ней нет ни ресторана, ни комнаты отдыха, ни канализации. Умываться бегали на двор, прямо к колодцу. Вспомнив про колодец, Байжан покачал головой и тяжело вздохнул.

Гюльнар довезла его до подъезда гостиницы, но в здание не зашла.

— Отдыхай,— сказала она, пожимая ему руку,— а вечером я зайду за тобой. Пойдем гулять.

Байжан, как зашел в комнату, так и повалился на диван. Парило так, что он хотел сейчас же выскочить на

двор, к колодцу, но только поднял голову и рухнул снова.

Подошел высокий казах и сказал:

— А ты чайку выпил бы, зеленого чайку! Жар жаром выгоняют. Как вспотеешь — сразу полегчает.

Байжан поверил ему, выпил чаю и сразу так взмок, что хоть выжми его.

Он лежал и стонал.

— Пить не надо,— строго сказал ему другой старик.— Главное сейчас — питание. Слабый человек сразу же поддается жаре, а кусок сала съел — и все прошло. Вот попробуй-ка,— и он с готовностью протянул Байжану коричневый кусок грудинки.

Байжан поблагодарил за совет, но от грудинки отказался.

— От холодной воды, пожалуй, полегчало бы,— простонал Рабинович.

— Это как сказать?— сомнительно покачал головой худой казах.— Один приезжий этак вылил на себя ведро воды, да чуть на тот свет не отправился.

Больше Байжан не слушал. Он поднялся с дивана и, шатаясь, пошел из гостиницы. Он подумал: если водой из колодца окатиться нельзя, то во всяком случае искупаться в Сыр-Дарье можно.

Купающихся на реке было так много, что пришлось искать место, чтобы раздеться.

Молодежь играла в «жалак» — распространенную народную игру — водяные пятнашки. Байжан знал эту игру и мог бы принять в ней участие, но сейчас ему было не до этого.

Он уже плыл к берегу, когда вдруг кто-то сильно ударил его по плечу. Он обернулся.

Эта была Гюльнар. Она была в очень красивом розовом купальном костюме.

— Испугался?— спросила она, улыбаясь.

— Откуда ты взялась тут?— спросил он.

— Как? Ты еще спрашиваешь откуда? Да ведь эта наша река — Сыр-Дарья!

— Вот хвастунишка-то,— засмеялся Байжан,— «наша река». Мало ли рек на земле?

Они подплыли к берегу, и легли на песок.

— Рек-то, точно, много, да жары-то такой нигде нет.

Значит и реки здесь нам нужнее, чем хотя бы у вас в Петропавловске.

— Это-то так,— подумав, согласился Байжан.— Не было бы реки и жизни здесь не было бы.

— Ну, наконец-то ты понял...— ответила Гюльнар.

Глава третья

В ЕГО КАБИНЕТЕ

СЕКРЕТАРЬ обкома принял Байжана на другой же день после его приезда в Кзыл-Орду.

Решили все относящееся к работе Байжана отложить до возвращения автора проекта — Анатолия Кондратьевича. Байжан с радостью согласился с таким решением — он и сам ждал отца своей невесты с большим нетерпением.

Как-то получалось так, что Анатолий Кондратьевич постоянно бывал в разъездах и видеть его Байжану приходилось урывками. Правда, он не особенно страдал от этого — была бы только его Гюльнар тут,— однако сейчас он ждал старика с большим нетерпением.

Часто бывая в квартире старого инженера, Байжан не раз обращал внимание на комнату, расположенную рядом с кабинетом хозяина. Эта комната всегда была запертой. Он знал, что комната называется лабораторией, что здесь отец Гюльнар работает по ночам, и это Байжана сильно интересовало. Вот почему, как только Анатолий Кондратьевич вернулся, Байжан попросил его:

— А нельзя ли, учитель, увидеть, что хранится за этой дверью? Надо полагать, не золото ведь лежит там.

— Не золото, нет, не золото,— засмеялся Анатолий Кондратьевич.— Но, дорогой, это богатство я бы и на золото не променял. Хорошо! Пойдемте ко мне. Сейчас я все покажу.

Когда они все трое вошли в лабораторию, Байжану показалось, что он попал в какой-то краеведческий музей. Стены комнаты были завешаны картонными щитами с массой наклеенных на них снимков; на столах и тумбочках лежали тяжелые альбомы в переплетах из серебр-

ристой кожи. По стенам теснились витрины с образцами пород, грунтов и почв. На полках стояли запечатанные колбы с образцами воды.

Одна стена и витрина около нее были заставлены полками и ящиками со стеклянным верхом. Это была зоологическая коллекция, коллекция жуков, бабочек, птиц; висели здесь головы архаров, чучела огромных пустынных ящериц-варанов, спиртовые банки с скорпионами, тарантулами и какими-то другими черными и свирепыми гадинами. Огромное чучело степного орла с распростертыми крыльями осеняло этот отдел.

На стене помещалась большая топографическая карта Сыр-Дарьинской долины.

Гюльнар часто бывала в этой комнате, но ей никогда почему-то не приходило в голову поинтересоваться, что из себя представляют коллекции Анатолия Кондратьевича, и какое отношение они имеют к профессии отца. Теперь с интересом она слушала его объяснения.

Слушал и Байжан. Он, конечно, знал все это и сам, но ему нравилось, как говорил Анатолий Кондратьевич. Старый инженер говорил о Сыр-Дарье красочно, увлекательно. Было видно, как он любит и знает эту землю.

— Итак, начнем осмотр, — сказал Анатолий Кондратьевич, обращаясь к Байжану и дочери.— Вот перед вами физическая карта нашей области. Посмотрите-ка, область наша на карте резко отлична и по цвету, и по строению от всех прилегающих к ней областей республики. Видите, какая она желтая и полосатая, как тигриная шкура. А вот, по хребту этой шкуры, вьется зигзагообразная полоса — это Сыр-Дарья. Голова ее — слияние двух речек. Кара-Дарьи, что берет начало на Гималаях, и Нарым, что вытекает из киргизского Ала-Тау, откуда-то из окрестностей Иссык-Куля. В Ферганской долине эти реки сливаются, образуя нашу Сыр-Дарью.

Эта река почти всецело принадлежит Казахстану: из 2190 километров свыше 1500 пролегают по территории нашей республики. Впадает она в пустынное Аральское море. Оно на двести семьдесят три метра ниже Мираз-чуля.

Эти 1500 километров Сыр-Дарьинского бассейна можно бы было превратить в цветущую долину. Подсчитано,

что водных ресурсов Сыр-Дарьи хватит на орошение десяти миллионов гектаров. Но тут идут пустыни: с запада — Кзыл-Кум, с востока — Кара-Кум. Засыпано же этими песками двести шестьдесят тысяч квадратных километров. Иначе говоря, почти 82 процента течения реки приходятся на пустыню. И все-таки еще остается 58 120 квадратных километров плодородной земли. По самым скромным подсчетам в Сыр-Дарьинской долине можно оросить не менее 3 миллионов гектаров.

Между тем в 1940 году было использовано только 75 тысяч гектаров. Значит, пустовало еще 2 миллиона 925 тысяч га. Разве можно мириться с такой расточительностью?

Анатолий Кондратьевич с горечью ткнул указкой в желтые пятна, по которым извивалась река.

— Теперь слушай дальше. Когда Александр Македонский вступил в долину Сыр-Дарьи, местные жители угощали его рисовым пловом, виноградом, урюком, фруктами. Все это взрастило кустарное ручное орошение. В эпоху Македонского, то есть за четыре века до нашей эры, река называлась Яхсартом. Александр Македонский так любил Яхсарт, что, говорят, умирая, завещал похоронить себя в Сыр-Дарье. И вот, рассказывают старики, запрудили реку, отвели ее течение в сторону, похоронили героя и снова пустили воду в прежнее русло. На Аральской стороне Кзыл-Орды до сих пор показывают сухое ложе, зовут его — Куан. Здесь, говорят, и похоронен был Зулкарнайн (рогатый царь), так мусульмане зовут Александра Македонского.

Прошла тысяча с лишним лет, и вот на берегах Сыр-Дарьи появились арабы. Они опять-таки встретили здесь поля, засеянные рисом, сады, в которых деревья ломились под тяжестью плодов, цветущие долины. Все это было следствием также кустарного ручного орошения. Арабы назвали Сыр-Дарью — Сайхуном, а Аму-Дарью — Жайхуном. Знаете ли вы, откуда принесли они эти названия? Из Африки! Так по крайней мере пишет академик Бартольд.

XIII веком, к сожалению, кончается процветание государств, расположенных в Сыр-Дарьинской долине. В начале этого века монголы завоевали Среднюю Азию, разрушили города и на месте культурных оазисов остались

груды пепла. Такие развалины встречаются и сейчас. Например, в Чиилинском районе меня водили на развалины города Саганак. Только уже после присоединения края к России, то есть в половине XIX века, начались работы по восстановлению древней оросительной системы. Но, понятно, ничего толком сделано не было. Частная собственность на землю тормозила восстановление арычной системы. До революции на всей территории Сыр-Дарьинской области под посевами было лишь пятнадцать тысяч десятин. А как ты думаешь,— обратился он к Байжану,— сколько из этих пятнадцати тысяч десятин засевалось рисом?

— Право, не знаю,— ответил Байжан.

— Так вот я тебе скажу: девять.

— То есть девять тысяч?— переспросил Байжан.

— Да нет, девять! Просто девять! Понимаешь, из пятнадцати тысяч десятин девять было под рисом,— вот и все!

— Даже не верится... Что-то уж слишком мало! Почему же так?— недоверчиво спросила Гюльнар.

— А вот почему, моя милая: рис растет на заливных полях. Со дня появления ростка и почти до самой уборки он должен оставаться на целую четверть в воде, иначе он погибнет. Но разве возможно было соблюсти такой водный режим, хотя бы даже в 1913 году, в год наибольшего процветания императорской России?

— Вы сказали, что сейчас под посевами находится семьдесят пять тысяч гектаров. Сколько же, собственно, под рисом?

— Двадцать две тысячи.

— Ого! Это уже хорошо.

Анатолий Кондратьевич поморщился.

— Милая, это же мало. Позорно мало. Ведь я говорил тебе — всего-то полезной площади три миллиона га.

Подумал и снова повел указкой по карте.

— Итак, вот смотрите. По общему генеральному проекту, утвержденному Москвой, мы строим запруду в трех местах: первая — плотина близ Жана-Кургана, вторая — недалеко от Кзыл-Орды и третья — у города Казалинска. В 1950 году строительство закончится. И знаете, сколько посевной площади мы отвоюем тогда у пустыни? 1,5 миллиона гектаров!

— Да что ты?— удивилась Гюльнар.

— Вот посмотрите-ка,— Анатолий Кондратьевич поднял огромный том, полистал его и нашел нужную страницу. — Да, так тут и написано: 1,5 миллиона гектаров.

— Если верблюда зарезать — будет куардак большой, — говорят казахи, — продолжал Анатолий Кондратьевич.— Построим плотину, тогда и посмотрим, сколько у нас появится рису.

— А вы уже подсчитали сколько?— улыбнулся Байжан.

— Ну, а как же? Подсчитал, конечно. Вот слушайте-ка: в одном из колхозов нашей области один казах собрал сто центнеров риса с каждого гектара.

— Об этом писали в «Правде»,— вспомнил Байжан.

— Совершенно верно,— улыбнулся Анатолий Кондратьевич.— Итак, миллион гектаров в 1950 году занимается под посевы риса. Миллион, помноженный на сто центнеров, даст...

— Сто миллионов центнеров, — улыбнулся Байжан.

— А что ты смеешься?— спросил Анатолий Кондратьевич.— Не веришь?

— Нет, почему же, верю! —ответил Байжан. —Земля везде земля.

— Правильно! Земля везде земля. И вода — всегда вода. Значит, нужно уметь достать эту воду и бросить ее на землю. Тогда и будет урожай. Вот,— он подошел к столику и взял альбом.

— Вот,— повторил он,— здесь история всей моей сознательной жизни. Пожалуйста!

Он открыл первую страницу. На картоне был снимок, под которым стояла подпись «Атпак».

Фотография изображала большую яму с двумя арыками, идущими в разных направлениях. Один арык шел от ямы в степь, другой — от реки к яме. На краю ямы — кол. К колу прикреплено что-то длинное, напоминающее черпак на деревянной рукоятке. Конец черпака висел над самой водой. Яма наполовину была заполнена водой.

Но самое главное на снимке — фигура старика. Он заснят крупным планом — худой, согбенный, страшный. У него растрепанная, клочкастая борода, слезящиеся глаза; в его сухости, в морщинистом лице его, в сухой коже есть что-то от жары и скудости родных пустынь.

Даже морщины на щеках и на лбу напоминают тысячелетние трещины на земле, иссушенной солнцем.

Сколько лет старику? Шестьдесят, семьдесят или еще больше? А может быть, это и не старик, а человек средних лет. Тогда ему не шестьдесят или семьдесят лет, а всего сорок?

На нем нет никакой одежды, кроме рваной тряпки около бедер. Он выбирает черпаком воду из ямы и выливает ее в арычок, который бежит в степь.

Куда этот арычок приводит — неизвестно. Но легко догадаться, что так могут орошаться какие-то ничтожные аршины посеянной пшеницы или проса.

Сколько же часов в день приходится старику качать воду, чтобы собрать урожай, и сколько пудов он собирает со своего поля?

Байжан спросил об этом Анатолия Кондратьевича.

— Что ж,— пожал плечами старый инженер.— Если хорошо будет трудиться, с голоду он не сдохнет, а вот от переутомления может свалиться. Видишь ли, скота у старика нет. Он одинок и слабосилен, значит, такого никакая артель не примет.

— А в артели жилось лучше?— спросила Гюльнар.

— А вот смотрите.

Второе фото изображало целый караван.

Люди шли раздетые, голые, худые, согнувшиеся под тяжестью бурдюков. Людей было много: на правом углу его еще виднелись чьи-то ноги, еще чья-то спина,— аппарат зафиксировал только конец и середину каравана.

— А что в мешках?

— В мешках вода. Видишь ли, людей много, а поле далеко, арык вырыть им не под силу. Они и таскают воду на себе.

Анатолий Кондратьевич перевернул несколько листов серебристого картона.

— Теперь я покажу индустрию,— это уже не период дикости.

Опять берег реки. Какое-то сооружение из досок. У огромного колеса корова с завязанными глазами. Около коровы старик с кнутом. Они кружат по одному и тому же месту.

По сгорбленной спине человека, по его исступленному лицу, по склоненной голове коровы видно, как давно они

ходят. Что-то бесконечное, нелепое, невозможное было в этом круговом движении коровы и рабочего, скованных одним и тем же ярмом.

— А почему у коровы завязаны глаза?— спросила Гюльнар.

— Чтобы голова не закружилась. Попробуй-ка, побегай так целый день.

Четвертый снимок изображал снова чигир, но чигир уже довольно сложный, с большим колесом, ведрами, привязанным к этому колесу, с оглоблями и быками, впряженными в оглобли. В общем — это было уже не колесо, а какая-то примитивная деревянная машина.

На пятом фото чигир был еще более сложен. Диаметр колес равнялся пяти метрам. Машину обслуживали уже несколько работников и много животных. То был байский чигир.

— Сколько же эта махина могла оросить земли?— спросил Байжан.

— Это большой, хороший чигир,— сказал Анатолий Кондратьевич.— Такой чигир десятин десять обеспечит водой.

— Только-то? — разочарованно протянула Гюльнар.

— А ты думаешь это мало? Нет, о большем в степях и мечтать не смели.

— Вот,— закончил он, захлопывая альбом,— и кончается история мелиорации в феодальный период. Дальше идет уже работа советских гидрологических и комплексных экспедиций. Если вы не устали...

— Ну, что вы, что вы!— замахал рукой Байжан.

— Тогда пожалуйста,— сказал Анатолий Кондратьевич и поднял со стола второй альбом.

Снимки иллюстрировали времена совсем недавние и поэтому больше всего заинтересовала в них Байжана и Гюльнар фотография самого Анатолия Кондратьевича, молодого, красивого, сияющего силой и задором.

На первом снимке с надписью «1924 год» у него была большая, широкая борода лопатой и огромная шевелюра. Одет Анатолий Кондратьевич был во все белое и даже на голове его красовался белый пробковый шлем. Наклонившись над теодолитом, он размечал трассу строительства.

— Тогда мы только что изыскивали направление пер-

вого канала,—объяснил Анатолий Кондратьевич.—Выстроили же мы его лет через десять!

Второе фото изображало верблюжий караван, нагруженный строительным материалом.

Третье фото — длинные ряды людей копают землю. То делаются наметки канала.

Четвертое фото—строительство фундамента головного шлюза.

Пятое фото — закладка железобетонных стен его.

Шестое фото — готовый шлюз. Он стоит, как огромная, хмурая стена, напоминая не то средневековый замок, не то какую-то циклопическую крепость...

Седьмое фото — широкие прямые русла, глубокие норы, прокопанные в земле. Через минуту в них хлынет вода. Но пока здесь прохладная полутьма и тишина

Восьмое фото — ворота шлюза открыты; вода устремилась в канал. Очень хороший, ясный снимок. Чувствуется такой разгул стихии, такая ярость воды, что даже, кажется, слышен радостный рев освобожденного потока. Наконец-то он смел все преграды!

Девятое фото — что-то непонятное. Видимо, какая-то дикая игра. Несколько человек привязаны к длинной веревке, их сталкивают в воду. Одного подняли на руки, раскачали и вот-вот бросят в арык. Другого уже вытаскивают из воды. У него слиплись волосы, по лицу течет вода. Он ничего не видит, но лицо довольное. Люди хохочут.

Присмотревшись, Байжан узнал в этом человеке Анатолия Кондратьевича.

— Что это такое?— спросил он удивленно.

— Это наш обычай. Сначала выкупать, а потом поздравлять. Это значит — строительство закончено, пущена вода.

— Ой, да ведь так и утопить недолго,— с опаской протянул Байжан.— И сколько же раз вас так купали.

— Да раз семьдесят до революции и раза четыре после нее. Почему такое несоответствие, спросишь ты? А потому, что раньше арычок вырыл — и строительство окончено, а теперь целые годы трудишься. Канал, который мы роем сейчас, по крайней мере, в пятьсот раз боль-

ше по протяженности и ширине всех арыков вместе взятых, которые я проложил в дореволюционное время.

— Ну, а это что?— спросил Байжан, отходя от альбома к полкам, заставленным колбами.

—А это образцы нашей Сыр-Дарьинской воды. Ты знаешь, в разное время года наша река имеет разный химический состав воды. Вот мы и изучаем ее. Это тоже нужно для поливного хозяйства.

— Так,— протянул Байжан и, не удержавшись, спросил:

— А землю вы храните?

— И землю храню. Вот посмотри...—Он открыл дверь на террасу.

Перед ними был фруктовый сад: яблони, ломившиеся под тяжестью плодов, сливовые и урючные деревья.

В той части, которая непосредственно примыкала к террасе, у подножия деревьев, у самых корней их, лежали огромные — то лимонно-желтые, то почти совершенно красные — тыквы и дыни. Здесь были дыни длинные, с чистой желтой пигментацией. Были дыни круглые, четко разграненные на несколько частей и похожие на какие-то причудливые кристаллы. Были гладкие, свинцово-серые тыквы, были тыквы огромные и плоские, как голова удава, и тона их были тоже пестрые, змеиные.

— Все это выросло на почве, которую я нарочно привез из пустыни,—сказал Анатолий Кондратьевич.—Это вырезанный кусок Голодной Степи. Я не добавлял никаких удобрений, только полил эту землю водой. Настанет время, когда на всем протяжении полторы тысячи километров Сыр-Дарьинской долины будут расстилаться такие же сады и бахчи.

Байжан соскочил на землю.

Над одной, особенно большой тыквой росло длинное и стройное дерево с тонкими голубыми цветами, похожими на гигантские колокольчики. Они казались такими хрупкими и нежными, что Байжану сейчас же захотелось отломить одну из веток и поднести ее Гюльнар.

Он протянул руку и с криком отдернул ее. Пальцы были в крови. Как мальчик, он сунул исколотый палец в рот и стал его сосать.

Анатолий Кондратьевич стоял и смеялся.

— Ага,— сказал он,— не всякий наш цветок голой

рукой сорвать можно. Об иной и уколешься. Не знал ты этого?

— Не знал,— ответил Байжан хмуро.

— Так вот, будь осторожен!— сказал Анатолий Кондратьевич, думая о чем-то своем.— Сырдарьинские цветы требуют особого общения. Тут подход нужен. Помни это, пожалуйста!

И, смягчая эти свои слова, он широко улыбнулся.

Глава четвертая

ШОЛАК-АРЫК

АНАТОЛИЙ Кондратьевич и Байжан решили осмотреть район будущих земляных работ, а по дороге заодно и к Сырбаю заехать.

Жил Сырбай в колхозе со странным названием «Шолак-Арык», что значит «Куцый арык». Как раз в районе этого-то колхоза и должны были начаться первые земляные работы.

Инженеры ехали на М-1 вдоль западного берега реки.

Дорога шла барханами. Ехать было трудно, машина то и дело буксовала, а через час и совсем увязла. да так основательно, что ее оказалось невозможным вытащить. Пришлось слезать и итти пешком, пока шофер возился с машиной.

Песку было много — в одном месте они палкой измерили глубину песочного наста — оказалось, что до материка будет примерно с метр.

Правда, была и другая дорога, более удобная, но...

За несколько дней до этого, Байжана вызвали в обком и здесь после короткого общего разговора секретарь обкома предложил ему взять на себя руководство строительством. Байжан начал отказываться: ссылался на то, что он слишком молод, хорошо бы его сначала испытать на работе меньшего объема и значения.

Секретарь настаивал. Он говорил, что Байжан молодой, энергичный специалист, казах, а строительство ве-

дется силами почти исключительно местного казахского населения. Да и звание коммуниста обязывает.

Байжан согласился. И как только он согласился, Анатолий Кондратьевич стал торопить его в дорогу. «Надо же,— говорил он, осмотреть район будущих работ». Он подвел его к карте и, очерчивая пальцем желтые пятна пустыни, сказал:

— Это основная наша беда — сыпучие пески. Они занимают добрых тысячу квадратных километров и, что самое худшее,— эти песчаные дюны кочуют по пустыне. Где в прошлом году возвышались барханы, теперь пески, где пески — там барханы. Значит, дюны перекочевали дальше — на юг, на север, на запад и там снова на пустой равнине вырастают новые горы песка. Представляешь, какая упорная работа предстоит нам в будущем? Кое-где придется цементировать почву, укреплять ее каркасами. Вот почему я хочу провести тебя по этой труднейшей дороге, ибо канал-то должен пройти именно здесь. К пустыне этой примыкает огромная равнина — тоже мертвая, пустая, но с плодороднейшей лессовой почвой. На ней расположены все девять колхозов нашего района. Ни один из них не засевает даже и тысячи гектаров. После постройки канала, посевная площадь должна будет возрасти до многих десятков тысяч гектаров.

— Выходит, — сказал Байжан, — для этих колхозов мы и канал строим...

Анатолий Кондратьевич пожал плечами.

— Девять колхозов не такая уж маленькая вещь,— ответил он. — Но это не главная наша цель. Много важнее другое: по ту сторону пустыни тянется песчаная безлюдная равнина с неожиданным названием Мирзачуль, есть Щедрая пустыня. Занимает эта Щедрая пустыня примерно сто тысяч гектаров. Почва в ней лессовая, самая плодородная. Вот, очевидно, потому и зовут эти мертвые пески «богатыми». По ним и пройдет канал. Любопытно, что когда-то здесь уже была проложена целая оросительная система. В верховьях колхоза Шолак-Арык имеется балка — овраг. Теперь овраг сухой, но когда-то он был руслом арыка. И это был очень большой арык. Настолько большой, что в нем помещалась целая роща серебристых тополей. Отсюда и название «Турангулсай», то есть Тополевый овраг.

Анатолий Кондратьевич, помолчав, добавил:

— Конечно, лучше всего было бы поехать верхом, но... как ты в седле держишься?

— А почему не на машине? — спросил Байжан, тоскливо смотря на Анатолия Кондратьевича,— ведь я, как бы сказать,— он замялся,— не особенно хороший наездник.

Анатолий Кондратьевич сердито пожал плечами. Такой ладный, хорошо сложенный джигит и вдруг не умеет даже сидеть в седле. Это было для старого инженера просто непостижимо. «Муж дочери», — пронеслось у него в голове.

—Ну, смотри, — сказал он ворчливо, — на машине, так на машине. Только если что, так на меня не пенять... Слышишь?

К счастью, много раз вылезать и итти пешком им не пришлось. Шофер попался опытный. Он захватил с собой кошму и несколько камышовых цыновок. Когда авто подъезжало к тому месту, где песок засыпал овраг или яму, он стелил сначала кошму, потом цыновку и смело вел машину по этому перекрытию. Но однажды они все-таки застряли так, что ни кошма, ни цыновка не помогли.

Однако, говорят же казахи, «кому не суждено от голоду умереть, тому и в пустыне рыба встретится». Пока инженеры и шофер возились у машины, их догнал возвращавшийся порожняком караван. Он-то и помог вытащить машину. Потом Байжан с удивлением отметил, что все двадцать пять верст их пути караван шел почти наравне с авто.

— А это потому так, что в болотах да песках мой верблюд быстрее вашей эмки, — усмехаясь, объяснил погонщик.

Как только выехали они на равнину, вдали показалось что-то черное, очень высокое и туманное.

— Что это такое? — спросил Байжан, вглядываясь.

— Лес! — ответил Анатолий Кондратьевич.

— Какой же он большой и густой!

— Густой, но не большой. Его так и называют «Тартогай» — узкий значит.

— Почему же «узкий»?

— А вот почему: во время кокандского владычества

около этого леса жил наместник хана. Был он человек жестокий и ненавидимый всеми, а сам-то трус изрядный. Никогда не выезжал никуда без стражи. И дома жил под семью замками. Построил бы он себе крепость, да ведь какая у кочевников крепость? Только весною, когда сеется просо, да осенью жил он по месяцу на одном месте — у берегов Сыр-Дарьи. Для этого он и избрал мыс тонкий и дугообразный такой, что с трех сторон его омывает вода, а с четвертой самой узкой стороны, примыкающей к долине, дорогу закрывал лес. Вот поэтому и лес тоже назвали узким. Здесь наместник построил мечеть, десятикомнатную медрессе — духовно-светскую школу, а себе большой, многоэтажный дом.

— Интересные здесь названия! — усмехнулся Байжан. — Лес здесь узкий, арык куцый.

— О, все имеет свою историю. Видишь ли, первым земледельцем в этих местах был именно наместник, он засевал десять — пятнадцать гектаров проса. Работала на этих полях та беднота, которой и кочевать-то было не на чем. Вот наместник и входил с ними в соглашение: за одного вола, отданного им на летний сезон, он брал тридцать пудов проса. Конечно, ему никакого дела не было — будет ли урожай или нет, — давай тридцать пудов проса с головы и все! Чтобы легче было работать, беднота объединялась в артели от двух до пяти человек. Называлась тогда такая артель «моин-кос», что значит— «спаренные шеи». Воду из Сыр-Дарьи приходилось привозить издалека на волах, и все это по существу безвозмездно. Больше того, беднота должна была выплачивать еще и аренду. Это было совсем невыносимо.

Позднее, в самом начале нашего столетия, население взялось за рытье канала, но много ли сделаешь лопатой да кетменем? Пятьдесят хозяйств объединившись в течение лета работали день и ночь, а прошли по степи всего пять километров. Этот жалкий, пятиверстовый арык назвали «Шолак», то есть «куцый».

— А почему сейчас колхозники не продолжают этот Шолак-Арык?

— Потому, что это вообще невозможно. Дальше идет возвышенность. Канал рассчитан неправильно. Следовало бы еще поднять его головную часть.

Несколько минут они молчали.

—Теперь уже почти доехали, — сказал Анатолий Кондратьевич. — Дайрабаич ждет нас не дождется, наверно.

— Как вы сказали? Дайрабаич? Это кто?

— Видишь ли, у Сырбая был отец Дайрабай. Дело в том, что, как ты знаешь, каждое казахское имя имеет свой сокровенный смысл. Например, имя нашего хозяина Сырбай состоит из слов: Сыр и бай, а это значит: «будь таким же богатым, как река Сыр».

— Это я понимаю, — сказал Байжан. — Я давно хотел вас спросить: как расшифровать слово Сыр-Дарья? Ведь Сыр переводится двояко: краска и тайна. О каком же значении этого слова думал человек, окрестивший так реку?

— На это ответить мудрено. Видишь ли, воды Сыр-Дарьи несут много глины. Они кажутся желтыми. Поэтому их вполне естественно назвать крашеными. С другой стороны, все живущее в этих долинах связано именно с водами Сыр-Дарьи. Но попробуй-ка, используй ее! Поэтому древнему человеку и казалось, что в водах Сыр-Дарьи заключена какая-то тайна, то есть опять-таки «Сыр» Сыр-дарья,—говорили они,—«таинственная река!»

— Ну, а как вы думаете?

—А мне хочется думать, что правильнее второе.

— Да, это пожалуй, больше похоже на правду.

— Теперь слушай историю имени «Сырбай». Я начну издалека. По словам старика, его прадеда звали «Ешкибай» (то есть владетель козлов). Ешкибай этот был сыном Корамсака, что по-русски значит Колчан. Корамсак зимовал со своими стадами на берегу Сыр-Дарьи. Ну, а ты знаешь, какое бедствие постигло казахов в 1723 году: напали калмыки, имущество разграбили и увезли, скот угнали, кибитки сожгли. К тому времени подоспел джут — гололедица. Все пастбища оказались скованными тонким, но крепким льдом. Скот подох без корма. Вот тут и началась беда... настоящая беда, если ты знаешь...

— Знаю, — ответил Байжан. — Мои предки в этот год бежали из Сыр-Дарьинской долины в Кзыл-Жар.

— Да, так и вошел этот год в память народа, как «Актабан шубрында, алка коль сылама», то есть — великое переселение казахов.

Ешкибай, как и многие другие, потерял в этот год все свое состояние и пешком ушел на берег небольшого притока Сыр-Дарьи — Коксу. Все лето бедняки ловили рыбу, а осенью запрудили реку, бросили ее воды на поля и стали весной сеяться. И тут им, наконец, повезло. Урожай выдался отличный. Поэтому, когда родился у Ешкибая мальчик, назвали его Тоганбай, то есть «будь богатым, как эта построенная нами плотина».

Но отец ошибся. Когда мальчик вырос, вдруг иссякла вода голубого притока и посевы погибли. Куда же было итти? Конечно, к неиссякаемым водам Сыр-Дарьи! И переселился Тоганбай на ее берега.

Но ведь Сыр-Дарья скупа и упряма — свои воды она даром не отдает. Копаются люди в ее берегах, строят арыки, орошают поля, и вот как раз во время этой страды и рождается у них ребенок. Теперь снова они желают ему быть богатым, как прорываемый арык и называют его Арыкбаем. Растет ребенок с этим именем, мужает, сам женится и вот опять беда: ведь вода-то бывает в канале только в половодье: арык-то вообще может пустовать годами и тогда воду приходится поднимать чигирем. Поэтому, когда у Арыкбая рождается сын, он называет его уже Шагырбай, ибо уже без чигиря ничего не сделаешь! А много ли накачаешь воды скрипучим чигирем, много ли соберешь урожая при такой системе? И вот Шагырбай своего сына называет Даирбаем и, конечно, думает бедняк: хитри не хитри, а Дайра[1] богаче всех! Пусть мальчик держится ее берегов, авось и разбогатеет когда-нибудь.

Байжан рассмеялся.

— Что ты смеешься?—спросил Анатолий Кондратьевич.

— Да как же, — ответил Байжан. — Ведь вы пересказали историю всего семейства почти за триста лет, не зная о нем ничего, кроме имен.

— Вот как! — прищурился Анатолий Кондратьевич. — Ну, а как, по-твоему, все это выдумка?

— Теоретически, конечно, могло быть и так.

— Нет, не могло быть так, а только так и было.

[1] Так сыр-дарьинские казахи называют Сыр-Дарью.

Байжан пожал одним плечом.

— Ну, извини, вижу, что надоел, — сказал Анатолий Кондратьевич.

Но старики разговорчивы. Через минуту — другую он продолжал.

— Хорошо, буду краток. Итак, ты видишь, что из имен предков Сырбая складывается история о том, как через все пять поколений проходит одна ведущая идея, одно непреоборимое, как жизнь, стремление: достать благодатную воду Сыр-Дарьи и бросить ее на пустыню. Из этой же истории понятно и другое: как раз это и не осуществилось. Вот почему ребенка, рожденного в советское время, Сырбай назвал просто Даулет.

— То есть богатый?

— Слово это имеет еще ряд смыслов: «государство», «счастье» и, конечно, «богатство» прежде всего.

— А знаете, что я думаю? —сказал Байжан.—Какой замечательный агитатор получился бы из вас, если бы вы работали в отделе пропаганды и агитации обкома?

— А не думаешь ли ты, мой молодой товарищ, что я могу быть агитатором и не работая в обкоме? — сухо спросил Анатолий Кондратьевич. — Я так тебе скажу: только тот работник и хорош, чья работа агитирует и призывает.

Когда они въехали на полуостров, Байжан увидел сначала только холм, вышиной в двадцать — тридцать метров. Постороннему он вообще бы показался искусственной насыпью — мостом, соединявшим сушу с рекой.

— Говорят, когда-то он был еще мощнее, шире, но Сыр-Дарья неустанно гложет мыс, он обваливается и гибнет и теперь от него остался только узкий серп. Еще несколько лет, — сказал Анатолий Кондратьевич, смотря на холм, — и Тартогай совсем превратится в остров.

— Что же тогда будет с колхозом? — спросил Байжан.

— Колхозники уже решили, что как только канал будет вырыт, они переселятся на его берега, и тогда Тартогай превратится в колхозный дом отдыха.

Он хотел рассказать об этом подробнее, как вдруг выскочил из-за холма взмыленный буланый иноходец;

на нем верхом в галифе, в ковбойке и куньей шапке с каракулевым верхом молодой парень.

— Даулет! — крикнул Анатолий Кондратьевич и толкнул шофера.

Машина остановилась. Густая, серая пыль скрыла фигуру всадника.

— Кто это такой? — спросил Байжан.

— А тот, о ком мы только что говорили,— сын Сырбая.

Пыль осела, и снова показалась сначала голова коня, потом фигура всадника.

Джигит соскочил на землю и, отряхиваясь на ходу, подбежал к машине. Был он широкоплеч и высок, но при ходьбе слегка сутулился. Лицо смуглое и большеносое.

Анатолий Кондратьевич открыл дверь машины.

— Ассалау магалейкум! — сказал джигит.

— Уагалай кум ассалам, — ответил Анатолий Кондратьевич.

Они протянули друг другу руки.

— Знакомьтесь, это мой будущий зять, — сказал Анатолий Кондратьевич.

Даулет протянул руку, и пальцы Байжана совсем потонули в его огромной ладони.

«Ничего себе мальчик, — подумал Байжан, — а ведь ему только двадцать два года».

— Долго заставили себя ждать! — сказал Даулет.

— Старик-то, поди, ругается? — спросил Анатолий Кондратьевич.

— Есть немного!— улыбнулся Даулет.

— А что так?

— Да как же! Зарезали третьего дня барана, а вы не едете, ну он его и съел.

— Э, брат, значит, совсем из твоего старика песок сыплется. Как же это так? Съесть барана, предназначенного для гостя? Ну, как говорится: «богач похвастается — так расплатится, бедняк похвастается — по миру пойдет». Твой отец не обеднеет от одного барана. А что, я смотрю, опечалился ты? Барана этого, что ли, пожалел.

— Ну, чего там жалеть? Пока есть еще что подать на стол дорогому гостю!

— Ну, то-то... Будешь брать с отца пример, тогда никто тебя скрягой не назовет. У вас, наверное, и еще гости есть?

— Секретарь райкома. Рахмет.

— Э-э, ну, значит, не скучает старик. Поехали!

Даулет хотел еще что-то спросить, но оглянулся и замолк.

Со всех сторон к машине толпами бежали люди.

— А, — сказал Анатолий Кондратьевич очень довольно. — Здравствуйте, земляки! — Он отворил дверку и вышел к толпе. К нему бросились сразу несколько человек. С одними он поздоровался, других обнял и по плечу похлопал, а с некоторыми стариками так и поцеловался.

— А жениха привез? — вдруг спросил из толпы какой-то дряхлый, бронзовый старик.

Байжан открыл дверку машины и соскочил на дорогу.

— Вот он, — ответил Анатолий Кондратьевич, улыбаясь. — Ну, как, нравится?

Байжан поклонился.

— Почему же не нравится?! — сказал старик.— Хороший, ладный, статный.

И все в толпе повторили: «Хороший, статный, обходительный».

Анатолий Кондратьевич между тем успел сказать кому-то, что зять его инженер и будет руководить строительством канала.

— Это и будет его калымом за невесту,— сказал тот же старик.— Канал — это хороший калым. Ничего не скажешь!

Гости снова сели в машину и поехали. Даулет вскочил на коня и ускакал. И хотя теперь машина мчалась по ровной, гладкой дороге, но конь Даулета все равно обгонял ее.

— Батюшки, да какой же он быстроногий! — удивился Байжан.

— О, это знаменитый иноходец,— ответил Анатолий Кондратьевич.—В прошлом году Сырбай заплатил за него примерно столько же, сколько раньше стоил калым. Он купил его где-то далеко на Улы-Таульской стороне. Я его спросил: неужели не жалко денег? Знаешь, что он мне ответил? «У нас, ответил он, доходило до того, что не только лошади, но и паршивенького ишачка не было.

А теперь, как разбогатели, пусть сын ездит, на чем пожелает».

— Ого, щедрый старик!

— Ты вот посмотри, как он будет ухаживать за тобой. Таких, говорит казахская пословица, и бог любит.

Дом Сырбая состоял из трех комнат. Одна предназначалась для гостей.

Байжан уже давно заметил, что дома сыр-дарьинских казахов обставлены много богаче, чем жилища казахов северной части республики. Здесь любили подушки, ковры, всевозможные кошмы. Особенно богато была убрана гостиная.

Стены и потолок Сырбай выбелил, на пол положил большой цветистый ковер, а на него мягкие стеганые одеяла. Одну стену целиком занимала белая кошма, расписанная казахскими орнаментами. Напротив висел такой замечательный гобелен, что Анатолий Кондратьевич, который увидел его в первый раз, даже рот раскрыл. В натуральную величину был вышит павлин. Он играл всеми цветами радуги. Перед ним ярчайшие цветы. Позади пруд, обсаженный кустами сирени. Все это блестело и переливалось. Гобелен был тонок, как акварель.

— Откуда ты достал это чудо? — спросил Анатолий Кондратьевич Сырбая.

— А тут, видишь ли, особая история. Есть у меня в колхозе «Жидели» дружок, кореец. Я у него давно приглядел этот ковер. Все хотел выпросить, да случай не подходил. И вот однажды жена у него родила сына. Я тогда зарезал одну овцу и повез ему «калжа». Меня друг мой и спрашивает: чем же тебя отдарить. А я ему просто, в шутку на ковер показываю. Он сказал: ладно. Если родится мальчик, подарю. И такое уж мое счастье в самом деле, родился мальчик. Снимает он тогда ковер и говорит: «На, владей на здоровье». Я конечно, туда-сюда, мол, все в шутку было сказано. Он ничего знать не хочет — «бери, а то обижусь». Вот я этот ковер на стене и повесил. Ведь, правда, хорош?

Байжан смотрел на этого жилистого, худощавого старика и думал: вот идет ему шестьдесят восьмой год, а он еще очень строен, у него черные, как уголь, волосы, а чуть улыбнется — видишь, какие у него прекрас-

ные зубы и как они чудесно сохранились, только пожелтели немного. А ведь старику пришлось горя хлебнуть немало! Оттого и лицо его все в морщинах и складках.

И еще заметил Байжан, что этот шестидесятиосьмилетний старик силен, как юноша. Перед обедом Байжан вышел на минутку во двор и увидел — Сырбай рубит саксаул. Он знал, что странное дерево это топору не поддается вообще и колоть его можно только о камень. Тем более Байжан был удивлен, когда увидел: стоит Сырбай и лупит по камню огромной саксаулиной. Байжан постоял с десяток секунд, наблюдая за стариком, подивился той легкости, с которой Сырбай поднимал и обрушивал на камень целое дерево. «Пустое оно, что ли?»— подумал Байжан.

— Дайте-ка я попробую, — попросил он.

Сырбай взглянул на него и молча отошел в сторону. Байжан вцепился в саксаулину, да так и застыл дугой.

— Да вы силач, аксакал,— сказал он наконец.— Я вот и поднять ее не могу. А для вас она, как щепка.

— Был когда-то силач, дорогой,— вздохнул Сырбай. — Теперь уже не то! Бывало, подниму поклажу с верблюда, взвалю на спину и тащу, не гнусь! Вот это была сила. А сейчас что!

Он снова схватил дерево и так его ударил о камень, что только щепки брызнули.

Смотря на быстрые, сильные руки старика, Байжан вспомнил рассказ будущего тестя о том, что лет десять назад старик овдовел и женился вторично. Жена была намного моложе его. Звали ее Тарбия. Малоразговорчивая, скромная, очень хозяйственная, она и в столовую заходила при гостях только затем, чтобы принести что-нибудь или унести, а все остальное время оставалась в своей половине.

Когда Байжан вернулся, он увидел, что прибыли новые гости. За столом на почетном месте, рядом с секретарем райкома партии Рахметом, сидел районный агроном Калакай, за ним маленький, толстый человек с огромной лысиной и длинными, редкими, надменно жесткими черными усами и бритой бородой — председатель колхоза Масакпай. Говоря с Калакаем, Масакпай все время косился на секретаря райкома и не выпускал его из виду. «Подлиза, наверно»,— неприязненно подумал Байжан.

Калакай понравился Байжану куда больше. Смуглый, довольно высокий, крепкий, Калакай чувствовал себя непринужденно, говорил быстро, легко, вежливо.

Гости пили, разговаривали.

И уже под вечер зашла девушка, круглолицая, с румянцем во всю щеку. Одета она была по-городскому; голову ее прикрывала шелковая красная косынка.

Байжан не успел еще подумать: «Хорошая у хозяина дочка!», как Анатолий Кондратьевич наклонился к Рахмету и спросил:

— Кто такая?

— Будущая хозяйка,— шепнул Рахмет.— Невеста Даулета — Айбарша.

Девушка подошла к Байжану и приветливо поздоровалась.

Будущая хозяйка и вела себя по-хозяйски: она вошла вместе с Даулетом, очень свободно поздоровалась со всеми гостями, с каждым за руку, а потом уселась на стул, под самым гобеленом.

На тоpе (самом почетном месте дома, где полагается сидеть только очень важным и уважаемым гостям), между двумя портретами вождей, стоял репродуктор.

— Почему он молчит? — спросила девушка у Даулета.

— Кажется, испортился.

— А патефон где? — спросила девушка.

— В моей комнате.

— Ну-ка, принеси.

Гости переглянулись: девушка не просила, а приказывала.

Даулет встал было, но потом остановился в нерешительности. Видимо, ему было все-таки неудобно.

— Неси, неси! — повторила свой приказ девушка. — Кстати захвати ташкентские пластинки.

Даулет принес патефон, пластинки и положил их перед невестой.

Она уселась на пол, быстро завела патефон, посмотрев пластинки, выбрала одну из них и поставила. Оказалась «Москва». Пока гости слушали, жена Сырбая внесла большую деревянную чашу с кумысом, потом принесла и разостлала скатерть, на которой поставила тарелку со сливочным маслом и разложила баурсаки — небольшие пончики, зажаренные в масле.

По обычаю аула, угощенье должно продолжаться с утра до ночи. Гости уже были сыты по горло, до икоты, до рвоты почти, а их все угощали и угощали.

К закату солнца обед подошел к концу, но не успели гости встать из-за стола, как вдруг зашел сосед, обнял Анатолия Кондратьевича за спину и повел его к себе. У соседа пришлось посидеть с час. Только что хотели итти отдыхать, как вдруг появился второй сосед и тоже повел к себе. Закусили и там. За вторым соседом пришел третий сосед, за третьим — четвертый. Гости уже и двигаться не могли, а их все угощали и угощали.

Все знали, что в этом году будет прокладываться арык. Поэтому разговоры, главным образом, вращались вокруг этой темы. Стали вспоминать прошлое.

Песок, вода, засуха и канал — вот что было основного в этих рассказах о прошлом.

Байжан сначала слушал с интересом, но потом не выдержал, встал и пошел в дом Сырбая. И только добрался до кровати, только лег, как тут же заснул.

Проснулся он почти в полдень. Около него стояли Даулет и Сырбай. Он прислушался. Разговор шел о том, что Рахмет собирается проехать по полям и осмотреть посевы.

— Можно послать за лошадями? — вдруг обратился Сырбай к председателю колхоза.

— Пошлите! — очень коротко и сухо ответил Масакпай.

По тому, как он взглянул на старика, по тому, как дрогнула его высокая черная бровь, Байжан понял, что Масакпай сердит на Сырбая, да кажется и вообще не долюбливает его.

— А невеста твоя поедет? — спросил Байжан Даулета.

Даулет быстро взглянул на Айбаршу. Она поймала этот взгляд и улыбнулась.

— И мне веди коня! — приказала она.

— Ну, так значит надо шесть лошадей,— заключил Сырбай.

Масакпай и Даулет ушли за лошадьми. За ними вышли Айбарша и Сырбай.

— Вот как живут наши колхозники! — сказал Рахмет в раздумье.

— Что ж, — спокойно ответил Полевой, — для того ведь и колхоз организовали, чтоб люди в нем лучше жили.

— Это так! — согласился Рахмет.— Но ведь богатство не только в съестном изобилии. Колхоз богатый, а кирпичное здание в нем только одно — школа! Все остальное просто из сырца. Но вот подождите, через год дома построим из кирпича, улицы обсадим деревьями, фруктовые сады заведем, электричество проведем,— тогда вы наш аул не узнаете.

— К тому идет дело,— кивнул головой Анатолий Кондратьевич.

— Конечно,— согласился Рахмет,— к тому все идет. Беда только — воды нехватает. Было бы вдоволь воды, до колхоза и рукой не достать.

— Вот наш канал и пройдет по вашим колхозным землям,— сказал Байжан.

— Лошади готовы,— крикнул Даулет, приоткрыв двери.

Гости вышли во двор. Сырбай и Айбарша уже ждали их там.

— Поедем к Дайре, — сказал Сырбай.

— А посевы смотреть не будем? — спросил Анатолий Кондратьевич.

— Вот переправимся через Сыр-Дарью, и посевы посмотрим. Там паром теперь ходит.

— В перегонки! — крикнула Айбарша, как только выехали они в степь.

— Это как гость пожелает! — дружелюбно смотря на Байжана, ответил Даулет.

— Ну-ка, агай, в перегонки! — крикнула Айбарша Байжану.

— Да вы ведь на скакуне, а я на иноходце,— нерешительно ответил Байжан. Ему никак не хотелось скакать.

— Но под вами мой иноходец, а он любого коня обскачет,— сказал Даулет.— Только повод ему отпустите.

— Что ж, посмотрим,— согласился Байжан и бросил повод.

Молодежь поскакала.

Рахмет, двое стариков и Масакпай ехали позади. Они не торопились. У них был свой разговор.

— Так это и есть твоя невестка? — спросил Анатолий Кондратьевич Сырбая.

— Да не знаю еще, — уклончиво ответил Сырбай.— Есть как-будто у них такой разговор промеж себя, а там посмотрим!

— Ведет-то она себя смело, по-городскому! — заметил Анатолий Кондратьевич.

— Единственное дитя у родителей! Семья богатая, вот и набаловали. Отец-то, правда, умер в прошлом году, ну да мать и сама она первые стахановки в колхозе.

— А как зовут мать?

— Дометкан.

— Да это не жена ли Сарымсака? Того самого, что делал колеса для чигирей.

— Она, она!

— Ну, так я ее тогда знаю.

— Вы, кажется, со всеми знакомы? — сказал Рахмет.— Откуда вы ее знаете?

— Как же мне, гидрологу, не знать мастера чигирей. И жену его знаю отлично. Сарымсак был вот как наш хозяин — простой, кроткий человек, да и жена его не из горделивых. В кого же дочка-то уродилась?

Сырбай почувствовал в словах Анатолия Кондратьевича косвенное осуждение и сухо ответил.

— Я же сказал тебе: в семье росла баловнем, вот так и держится. Что ж поделаешь? Они новые люди, новые и повадки у них. На них хомут не накинешь. Плохого же она ничего не делает. Так пусть же живет, как хочется! Вот, может быть, и в мою семью войдет. Зачем же я буду ее упрекать без толку? Не так ли?

— Так-то оно так,— согласился Анатолий Кондратьевич.

Подъехали к реке. Молодежь уже успела переправиться на пароме и теперь отправила его с того берега.

Сырбай не особенно хотел вести гостей туда. Почему-то урожай в этом году выдался незавидный, не такой, чтобы хвастаться им. А так как он сам работал мирабом, распределял воду, то ему и казалось, что и он отчасти тут виноват. Но гости настаивали. Что же — не итти же против их воли. И он первым вступил на паром.

Сырбай, с тех пор как встал на ноги, занимался исключительно земледелием и иного дела для себя не мыслил. Но ко ржи, пшенице, ячменю он относился

в высшей степени равнодушно, ибо основной культурой своего края считал прежде всего рис.

Конечно, не один Сырбай считал рисоводство основным и самым благородным занятием хлебороба, но он один считал возможным, необходимым (и даже, пожалуй, единственно необходимым) разведение риса именно здесь, в мертвых песках. Это казалось нелепостью, чуть ли не бредом: ведь рис-то любит воду, он должен расти наполовину в жидкой грязи, в болоте, а где же найти здесь болото! Однако Сырбай не сдавался.

Где только было возможно, там он и разбивал свои микроскопические рисовые плантации, ухаживал за ними так, что в один из минувших годов собрал урожай сам-пятьдесят.

Это был невиданный рекорд. Но больше он не повторился, а урожай прошлой весны был просто плох.

Когда Сырбай стал на это жаловаться Байжану, тот ответил:

— Земля изношенная, а воды нет.

— Наша земля никогда не стареет,— угрюмо заявил старик.

— То есть, как это не стареет? — вмешался Анатолий Кондратьевич.— Еще как стареет. Удобрять ее надо, подкармливать. А вы что делаете?

— А это ты председателя колхоза спрашивай,— хмуро отвел удар Сырбай.— В его руках удобрения.

Масакпай вздрогнул и посмотрел на Рахмета — не услышал ли он, что сбрехнул старик. Нет, Рахмет ехал с Айбаршой и о чем-то оживленно говорил. Масакпай, успокоившись, ткнул пальцем в Калакая.

— Вот кого спрашивай. Агронома нашего спрашивай,— сказал он.— Обещает-то райзо много, а давать — ничего не дает.

Калакай повернул голову к Масакпаю и ответил тихо, вежливо, но ядовито:

— Почему не даем? Мы даем. Вот дали, например, тебе сорок бочек суперфосфата, а ты их в речке утопил.

Масакпай так опешил, что даже не нашел, что возразить. Он опять быстро поглядел на Рахмета. Нет, тот и на этот раз ничего не слышал — ехал и улыбался.

На обратном пути Айбарша предложила устроить скачки. Сразу же согласились все, кроме Калакая, ко-

торый вообще был плохим наездником, а недавно так тяжело рухнул с седла, что лицо ободрал и ногу вывихнул. Он и сейчас хромал.

Байжан сильно отстал, а Айбарша с Даулетом ускакали и остановились на берегу реки. Там они опустили поводья и стали шагом ездить туда и обратно вдоль берега, чтобы дать остыть разгоряченным лошадям.

— Ну, Даукеш,— сказала Айбарша и по ее голосу Даулет понял, что она хочет сказать ему что-то важное, давно выношенное и продуманное.— Долго ты еще будешь пасти скот?

— Что ж, я неплохой заведующий фермой,— огрызнулся Даулет.

— Да нет, ты даже очень хороший заведующий, но все-таки только заведующий фермой. А нам сейчас нужны землекопы и кетменщики. Твоими овцами и старик сумеет командовать. Стыд, позор! Такой сильный, молодой, а торчишь в степи, как инвалид, и все одно у тебя дело — овцы да овцы!

Такой разговор бывал у них не раз, и Даулет чувствовал, что Айбарша в какой-то степени права. Верно, выходило как-то неловко, не по-настоящему — все работают, а он в степи торчит. И Даулет вспомнил, как это он стал животноводом.

В техникум Даулет не пошел потому, что ему захотелось быть трактористом. Учился он там два года,— кончил, начал работать учетчиком тракторной бригады и вдруг простудился и схватил сначала плеврит, а вслед за этим — жесточайшее воспаление легких. Только железный организм выручил его.

Он пролежал все лето и к зиме встал на ноги. Но амбулаторный врач, прослушав его, покачал головой и сказал, отпуская:

— Запомните — в ближайший год никаких тракторных бригад!

А старикам строго-настрого приказал так:

— Хотите сына сохранить — до полного выздоровления к трактору и близко не подпускайте. Теперь с такими легкими ему эту работу не вынести. Ни за грош пропадет парень.

Вот и сделался Даулет животноводом. От курса своего он отстал, а второй год сидеть ему не хотелось.

К счастью, животноводство оказалось делом инте-

ресным, и Даулет никогда не жалел о том, что он согласился покинуть тракторную бригаду.

Кто поверит, что мертвые и безжизненные пески Кара-Кума кишат невидимой и неисчислимой жизнью. А это так. Не сочтешь, сколько зверей, гадов и птиц кормят ее пески и берега прорезающей их реки Сары-Су.

В пустыне бродят волки и лисицы, рыскают корсаки, роют норы хорьки, в излучинах реки круглый год ходят стада диких коз, баранов, сайгаков, а там, где заросли камыша погуще,— пасутся кабаны.

Даулет не расставался с ружьем. Собственно говоря, даже трудно было понять — кто же он такой: животновод или охотник? Так дразнила его и Айбарша. Он был из тех, про кого говорят: «бьет козла в глаза». С тех пор, как он сделался охотником, ни один из его пастухов не обедал без мяса. Да и домой он доставлял порядочно дичины.

Айбарше же он сделал, кроме того, три ценных подарка.

Во-первых, он привез ей детеныша дикой козы куралай.

У куралай, как почти у всех антилоп, огромные и черные глаза, такие огромные и такие черные, что если казах хочет похвалить женщину, то он скажет: она, как «Куралай-коза», что означает: у нее антилопьи глаза.

Козленка Айбарша воспитала, выкормила и он бегал за ней, как собачонка.

Когда Айбарша поехала учиться в район, то и куралая взяла с собой. Там он и жил с ней в одной комнате и даже спал рядом, на коврике около кровати.

Второй подарок — еще пуховый птенец пеликана. Пеликан — птица смешная, уродливая и никак не могла понравиться Айбарше с первого взгляда. Но Даулет объяснил ей:

— Вот подожди, вырастет пеликан и начнет змей глотать.

И дальше объяснил, что змеиный яд не действует на пеликана; он на укус змеи обращает не больше внимания, чем на укусы комара, придавливает змею обеими ногами и, заглатывая ее с головы, медленно всасывает в себя. Вот и ходит по степи с поднятой головой

и клювом эта странная птица, а из ее горла высовывается змеиный хвост.

Как ни фантастичен был этот рассказ, Айбарша скоро убедилась в том, что Даулет прав. Именно так и вел себя ее пеликан.

Потом она уж и игру такую изобрела: заставила Даулета привозить ей змей и натравливала на них пеликана.

Но самым интересным, хотя и самым страшным, подарком была большая песчаная ящерица варан, или, как ее называют в степях, — кесель. Ящерица эта большая, с человеческую руку. Она не ползает, а бегает на высоких и сильных ногах. Спина ее и голова сплошь покрыты роговой чешуей, да такой крепкой, что ее и палкой пробить невозможно. Ящерица эта так быстро бегает, что не всякая лошадь ее догонит, а если все-таки догонит, то кесель испускает такой пронзительный свист, что лошадь останавливается и дрожит всем телом. Встретив во время погони на пути песок, ящерица тонет в нем, как в воде.

Эту странную ящерицу казахи не любят, они боятся ее. По их поверью, она приносит бесплодие.

Айбаршу очень заинтересовало это чудовищное пресмыкающееся, но оставить ее у себя она не решалась. Что может быть страшнее животного, имя которого одновременно значит и варан и болезнь, ибо по-казахски и то и другое звучит одинаково.

Панцырного гада своего Айбарша пожертвовала в алма-атинский зоопарк.

Все эти подарки, конечно, очень забавляли девушку, но сейчас она хотела быть твердой, чтобы довести разговор до конца.

— Значит, ты так и останешься пастухом? — повторила она свой вопрос. — Твои товарищи будут строить канал, а ты?

Даулет молчал.

— Эх ты, лентяй! Давно здоров как бык, а все хочешь быть пастухом. И не стыдно тебе?! — произнесла Айбарша с тихим и жгучим презрением. Это было так забавно, что Даулет, наконец, рассмеялся.

— Ну, хорошо, хорошо, пойду на строительство. Теперь мое здоровье намного лучше, — сказал он. — Пойду землекопом. Но смотри, — он погрозил ей пальцем. — Я

ведь тебя загоняю на работе. Я посмотрю, что ты за землекоп, коли и мне покою не даешь. Ладно, сделаюсь кетменщиком и вызываю тебя на соревнование! Согласна?

— Отлично, согласна! — крикнула Айбарша.

— Ну, смотри же,— пригрозил ей Даулет.— Взялась за гуж, не говори, что не дюж. Потом сама будешь плакать. Запомни тогда — ты сама этого хотела.

— Сама хотела, — согласилась Айбарша и протянула ему руку.

Так был заключен этот договор.

Глава пятая

СОРОК ТЫСЯЧ КЕТМЕНЕЙ

ГЮЛЬНАР и Байжан зарегистрировались сейчас же после возвращения с трассы.

В городе ожидали пышную свадьбу, пиршество, и вот все ограничилось загсом.

— Да что же это такое? Собирал, собирал старик свадьбу, полгода только и разговору об этом было и вдруг — из поезда да прямо в загс. С чего бы это так?— недоуменно спрашивали одни.

— А с того, что болтовня болтовней и останется. Где там старику целую свадьбу собрать! Поболтал языком и ладно. Видно, это куда выгоднее! — отвечали другие.

Но третьи, самые знающие, говорили иное.

— Нет, утверждали они, — старик, верно, приготовился. В кухне у него мешок урюка и кишмиша стоит, да риса мешка два, да десять жирных баранов он на тот берег Сыра отослал в колхоз имени Амангельды, чтоб они лучше откормились. И, сказывают, у него в четырех пустых тыквах до пяти ведер просяной водки, да в двух глиняных кувшинах еще по десяти. Считай, сколько всего? Кроме того, он уже одному виноградарю дал задаток за две бочки виноградного вина. Недавно, под вечер, к нему пригнали целый фургон с дынями. Этих дынь куда более сотни! И все разных сортов: и торлама, и куляба, и амира, и ангелек. И, видать, хочет старик еще пригото-

вить пастилы (каункурт) да всяких сушений (каун-как) — для этого ему привезли два огромных мешка туюйнек. (Это они говорили о недозревших или, наоборот, перезревших дынях, из которых и готовятся эти лакомства). Всего и не перескажешь, что им заготовлено. Вон, даже поваров нанял. Так неужели все это задаром?

— А коли так, в чем же дело? — упорствовали недоброжелатели. — Готовился, готовился, а ничего не получилось? Что за причина такая? Значит, так все одним протоколом и кончится!

— Это вот что значит, — говорили самые осведомленные, — у него в колхозе «Шолак-Арык» есть закадычный друг — Сырбай. Он мирабом там служит. Дом у этого Сырбая — полная чаша. Вот мираб и упросил старика, чтоб сыграли свадьбу в его ауле, говорит: «Я все расходы на себя беру». Ну, так, очевидно, оно и будет. Там они и пировать собираются. В этом-то все и дело.

— Ну и врете! — возражали четвертые. — Как же так, договорился с другом справить свадьбу в его ауле, хлопотал до последнего дня, и вдруг все насмарку. Мы старика знаем, он не лгун, он и слова зря не проронит. Нет, тут что-то не так.

Так и не могли понять люди, что же надумал Анатолий Кондратьевич. Кое-кто даже пошел к нему за объяснением, но возвратился ни с чем.

— Да вот, не получилось как-то, — ответил Анатолий Кондратьевич. — Приготовить-то я все приготовил, да некоторые обстоятельства помешали.

Обстоятельства же эти были такими:

Поездку инженеров неожиданно прервал срочный телеграфный вызов обкома. Пришлось с полдороги спешно возвращаться в Кзыл-Орду.

В день же приезда и состоялся разговор с секретарем обкома. Тут они узнали, что решение о назначении Байжана начальником строительства утверждено правительством Казахстана.

Разговор можно было считать законченным, и Байжан переглянулся с Анатолием Кондратьевичем, собираясь уходить, но секретарь сидел попрежнему, молчал и поочередно смотрел то на одного, то на другого. Потом вдруг встал, обогнул стол, подошел к противоположной стене и рванул шнурок.

Занавеска на стене поднялась, собираясь складками, из-под нее показалась карта — чуть ли не во всю стену, — карта трассы строительства будущего канала. Стрелками были обозначены ответвления, зелеными квадратами — посевные площади.

Лицо Анатолия Кондратьевича сразу просветлело. Он широко шагнул вперед и протянул обе руки — как будто не калька была перед ним, а лицо бесконечно милого и дорогого человека.

— Да! — протянул секретарь, улыбаясь. — Вижу я, что красавица моя вам знакома.

— Знакома? — переспросил Анатолий Кондратьевич, все еще неотрывно смотря на чертеж. — Уж вот и не знаю, сколько лет я влюблен в нее.

— Ну, что же, вам и книги в руки, Анатолий Кондратьевич, — согласился первый секретарь. — Вы ведь первая ласточка, залетевшая в наши степи с далекого севера. Все чертежи ирригационных сооружений шли к нам через ваши руки. Но больше всего благодарны мы вам все-таки вот за этот проект. Да нет, это уже не проект. Он — сама жизнь. А ты, — повернулся он вдруг к Байжану, — как ты относишься к нашей красавице?

— О, я ещё мало знаком с ней, — скромно улыбнулся Байжан, — но постараюсь познакомиться поближе и узнать ее как следует.

Секретарь опустил занавес.

— Отлично! Теперь вот что, дорогой. О твоих сердечных делах я кое-что тоже знаю, но смотри! Любовь к той красавице не должна помешать этой твоей любви. Понимаешь? Она превыше всего. Как ваше мнение, Анатолий Кондратьевич?

— Конечно, — сказал Анатолий Кондратьевич, — эта красавица достойна всяческой любви. О таком канале казахстанская степь еще и не слыхивала. А ведь она тысячелетиями лежала бесплодным камнем. Смотрите-ка — все это пространство...

— Ну, теперь Анатолия Кондратьевича не остановишь! — улыбнулся секретарь и добавил:

— Одну минуточку! Я хочу договорить докончa... Строительство, как вы знаете, начнется этим летом, и с вами, товарищ Бекбосынов, разговоров у меня будет немало. Имейте в виду — на следующем заседании бюро

я хочу выслушать ваши соображения. Поговорим о том, чего конкретно вам нехватает, и больше всего — об обеспеченности строительства материалами. Покорная просьба к вам обоим, товарищи начальники,— подготовьтесь хорошенько. Сразу же после него вы выезжаете на трассу.

В тот же день инженеры приступили к составлению докладной записки.

С детства Байжан, как и все мальчики, увлекался военным делом, прилежно изучал все виды спорта. Читал он вообще много, а по военной тактике и стратегии больше всего. Из прочитанного он узнал, что любое государство, прежде чем напасть на врага, посылает во вражеский тыл лазутчиков и через них собирает исчерпывающий материал о военной мощи противника. Собираются и подытоживаются сведения о его богатстве, о производительных силах его страны, о насыщенности ее армии оружием, о численности этой армии, о морально-политическом состоянии врага. И только после того, когда эти сведения получены, противник досконально известен, только тогда и начинается война. Если же сравнение своих сил и сил врага окажется не в пользу агрессора, то он и оружием не станет бряцать.

Но такова логика и всякой борьбы. Чем не война эта извечная борьба человека с природой!

Человек двигается медленно, со страшной постепенностью завоевывает он огонь, воду, недра земли. Он добрался и до воздуха, заставив его служить себе.

Мертвая природа уже склонилась перед ним, как живое существо. Он победил ее, добился ее покорности.

Но разве легко это досталось победителю?

Разве пришел он без потерь?

Без борьбы?

Сломал врага однодневной схваткой?

Разве, прежде чем покорить огонь, воду, воздух, недра, не приходилось пережить тяжелые дни безнадежности, сознания бесполезности этой борьбы?

И разве, будто в ответ, природа не сметала с лица земли целые племена и народы?

— Какие же огромные трудности еще стоят на этом его пути, на пути человечества?

Все это Байжан знал хорошо. Он постоянно следил за научной мыслью, не пропускал ни одну техническую но-

винку; больше всего он старался узнать все возможное о законченных уже или еще только начатых новостройках. Трудно даже и подсчитать, сколько книг и статей он прочитал о Беломорстрое, о Днепрогэсе, Магнитогорстрое. Он знал про них, кажется, все, даже сумму материальных затрат и сроки.

Но ведь это только книги и журналы. Совсем другое дело — практически руководить одним из таких же гигантов!

Только сейчас он и понял это.

Тысячи лет борется человек с упорными водами Сыр-Дарьи. Это — великолепная история, полная побед и поражений, наступлений и отступлений!

Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что никто до сих пор не мог наложить уз на эту бешеную, не терпящую никаких оков, реку, — никакой народ, никакое правительство. Только в советское время была наброшена первая петля — народ построил ферганский канал. Но разве река смирилась? Разве она не так же дика, как и прежде?

Разметав рыжую гриву свою, вздымает она глину, грызет и обваливает берега. Посмотреть только, как она изгибается налево и направо, бросается в разные стороны, все время меняя свое русло, и никто не может понять, где же пройдет в следующем году она.

И гибнут, гибнут без конца в ее желтых водах горы, леса, речки, — целые куски степи глотает она и все никак не утихомирится.

Попробуй, засунь-ка ее в цементное ложе, обуздай ее и призови к порядку!

Нет! Только голову сломаешь. А подсчитать, сколько написано о ней умных томов, сколько бумаги потратили люди!

Байжан знал, что только через семь веков была восстановлена та часть древнеоросительной системы, которая могла еще принести какую-то пользу. Он знал и о том, что тогда же началось дальнейшее расширение ирригационной сети. Но вот только теперь под руководством Байжана прокладывается самый большой арык из всех, когда-либо существовавших. Самый большой! Но и этот гигант отвоюет у реки всего сотую часть ее богатств.

А сколько труда для этого потребуется? Байжан подошел к карте трассы будущего строительства. Она была вся размечена цифрами и условными обозначениями.

Так вот он — стратегический план генерального наступления на воду и землю. Вот данные, потребные для огромной битвы с рекой.

Эти столбики цифр обрушатся на воду, землю, самую степь. Давно и прилежно собирал их старый учитель. Несколько экспедиций выезжало на место будущих схваток, много разведок здесь работало. Писали, думали, подсчитывали, а потом сдали в архив — все не годилось! В основу положили один проект: именно тот, который составил Анатолий Кондратьевич.

Как опытный полководец, всегда уверенный в своих расчетах, старик ничем не выдавал свое волнение и Байжана учил тому же.

— Дорогой мой, — часто говорил он в бессонные ночи работы над чертежами и клал на плечо своего ученика широкую, прохладную ладонь, — пойми одно: всегда побеждает тот, кто умеет выжидать, кто долго готовится, обдумывает, а потом безошибочно и метко наносит удар. Не будь слишком горячим, не то быстро сгоришь. Действуй уверенно, но и не кавалерийским наскоком. Вот, смотри-ка... — и тут он показывал ему новый чертеж, объясняя новый вариант.

Когда Байжан подробно ознакомился с генеральным проектом строительства, он выглядел так:

Вот вьется основная артерия (так ее и зовут «Жуан-Жарма» — широкое русло). Она тянется на двадцать пять километров. Ширина краев ее — пятьдесят метров, ширина дна — тридцать пять.

Глубина головной части — пятнадцать метров.

Глубина всего русла — от пяти до десяти.

Глубина дна будет еще корректироваться специальными сооружениями.

Пройдет эта главная водная артерия через весь Туемойын. Канал еще не дойдет до этих песков, а от него уже ответвится большой арык — «Бармак» (большой палец) — как он обозначен на карте. Канал прорежет пустыню и разделится на две ветки — правую и левую. Длина правой будет тридцать пять километров, левой — пятнадцать.

На пути их встретятся песчаные холмы, глубокие овраги, высохшие озера. От всего этого не останется и следа. Все это будет либо снесено, либо залито.

Разветвления пойдут и дальше. Длинные и короткие арыки сетью мелких жилок прорежут степь. Она напитается водой и задышит.

Протяженность всей системы, вытянутой в одну прямую, — шестьсот километров.

Земли будет вынуто десять миллионов кубометров!

Десять миллионов кубометров!

Что же это такое?

Рабочий в день вынимает три кубометра. Значит, для строительства потребуется труд трех с половиной миллионов человек в течение одного дня. Если же люди будут работать месяц, то достаточно и ста шестидесяти тысяч человек.

Но ведь во всех колхозах Кзыл-Ординской области всего-на-всего сто пятьдесят пять тысяч. А ведь надо отбросить детей и стариков. Остается девяносто тысяч. Значит, срок работы уже удлиняется до полутора месяца, и это в том случае, если все колхозники выйдут на строительство.

Но ведь и это невозможно. Часть людей неизбежно останется у себя в хозяйстве, а в страду тем более многие вынуждены быть у своих посевов и стад. Число людей, близкое к истине, будет где-то около пятидесяти тысяч. Не больше. Значит только одни земляные работы потребуют не менее 200 дней. А так как земля в Кзыл-Ординской области замерзает рано и оттаивает поздно, то выходит, что одного года нехватит для земляных работ.

Однако прокладка канала — это не только земляные работы. Это еще и возведение шлюзов — больших и малых; это — цементирование русла, наводка мостов.

И вот строительство планируется на два года. Занято будет на нем до пятидесяти тысяч человек.

А ведь всю эту огромную армию нужно накормить, устроить на ночлег, снабдить рабочим инструментом.

Но можно ли ограничиться только разрешением этих насущных вопросов?

Речь-то идет о советском человеке, значит нужно строить и клуб, и не только один! А что это за клуб,

если при нём нет театра, кино или читальни? Молодёжи же потребуются ещё и спортивные залы.

А как быть с библиотекой? Как выписать такое огромное количество газет и журналов?

Да разве учтёшь все потребности этой армии?

И начальник всего этого он — Байжан. Значит, он за всё и в ответе. Хорошо, если он справится, а если нет?

Когда инженеры вышли из обкома, Анатолий Кондратьевич взглянул на растерянное лицо своего воспитанника и спросил:

— Струсил?

— Да нет, я не трушу,— ответил Байжан, но голос его был не особенно уверенным.— Я только раздумываю: какой грандиозный объем работы! Конечно, большая честь руководить таким строительством, но ведь надо оправдать доверие партии, а коли не сумею, тогда что? В петлю лезть?

— А почему ты не оправдаешь? — спросил Анатолий Кондратьевич. — Помни, пожалуйста, что для всякой работы нужны две вещи: хорошая голова на плечах и чувство ответственности. Будешь это иметь, ничто тебе не страшно. Ну, не вешай головы, не вешай, вояка! Разве ты один будешь руководить? Партия будет руководить, а народ будет строить.

Под влиянием этих ободряющих слов, Байжан повеселел. У него появилось совершенно особое чувство — такое, которое, наверное, испытывает полководец, приказывая своей армии сниматься с места.

Полководец он, Байжан.

Враг — Сыр-Дарья.

Цель — достигнуть победы малой кровью.

Теперь спрашивается: много ли у полководца, командира такой огромной армии, остается свободного времени?

Ни одной минуты, конечно! Нужно не только сидеть над цифрами и планами, но и строить. Надо рассылать бригады плотников, землекопов, кузнецов, надо разбивать палатки, строить клубы и кинотеатры, выписывать кухни — одним словом, готовиться к открытию строительства.

— Ну, а Гюльнар? — спрашивали его друзья.

Он только руками разводил.

— Нет, я бы такого жениха просто бросил,— гово-

рил он очень серьезно.— Когда же девушке и повеселиться, как не сейчас. Вот, скажем, захочется ей в кино пойти, но она не идет — итти-то не с кем. И обидно, и перед подругами совестно.

Иногда они все-таки выкраивали несколько часов и шли гулять. Происходило это обыкновенно поздно вечером, ибо днем в Кзыл-Орде нельзя отдохнуть, даже если бы у них и было свободное время. В городе такая жара, так парит и печет, что жизнь начинается только с заходом солнца.

Вот тогда-то кзылординцы и идут в свой городской сад. Они очень любят его и гордятся им.

Как это ни странно, но сад, выросший на песках, действительно хорош. Он тенист, красив, в нем много деревьев, в клумбах растут прекрасные цветы.

И еще есть в саду одна примечательность — замечательное кзыл-ординское пиво. Местные патриоты ценят его куда выше Жигулевского.

Однажды, походив по аллее и попробовав этого замечательного напитка, Гюльнар и Байжан спустились к реке.

Окраины города темны, пустынны и изрезаны арыками. Нужно большое искусство, чтобы ночью не свалиться в канаву. Однако они благополучно преодолели все препятствия и вышли к реке.

Сыр-Дарья в этом месте широка и спокойна; вечером она так тиха, что только по ряби и блеску воды можно догадаться, что здесь протекает река.

— Давай покатаемся на лодке, — предложила Гюльнар. — Поедем сегодня на кайыр. — И так как Байжан не знал, что такое кайыр, она объяснила: это песчаный остров. Его намывает река. Держится он несколько месяцев, а потом размывается и бесследно исчезает.

Кайыр стал с тех пор их любимым местом. Он безлюден, пуст и поэтому на нем можно громко говорить о чем угодно; можно громко петь, смеяться, выкрикивать стихи. В такие часы обыкновенно и раскрывалось сердце Гюльнар. Какие только тайны она не поверяла своему любимому, какие нежные слова она не находила для него!

Байжан громко читал стихи Лермонтова —

Так они проводили почти каждый выходной день. И вдруг все это было нарушено! Пришла телеграмма — на место будущей трассы выезжает комиссия. Значит вот-вот начнутся работы.

Они задумались.

— Видимо, пора и в ЗАГС итти,— сказал Байжан,— а то и на это времени нехватит. Только как со свадьбой-то быть? Свадьбу устраивать — это дня три потерять! Не выкроим мы столько времени. Надо посоветоваться с Анатолием Кондратьевичем.

Пошли к Анатолию Кондратьевичу.

— Ну и отлично,— сказал Анатолий Кондратьевич,— давно бы так. Живите счастливо!

Тем дело и кончилось. На утро Байжан и Гюльнар зарегистрировались, а там прибыла из Алма-Ата комиссия и так затормошила Байжана, что времени не осталось даже на самую скромную вечеринку.

День и ночь инженеры находились на трассе.

Сначала Байжан сильно скучал по жене. «Вот как мудрено устроилась жизнь, думал он. Недавно только женился на девушке, о которой думал пять лет и вот...»

Первый месяц после свадьбы у всех народов именуется «медовым». А вот тут получилось так, что именно в это время приходится выкраивать минуту, чтобы побыть с женой.

Бывало так: вдруг во время обеда встанет, развернет план, прикрепит его четырьмя кнопочками к крышке стола и наклонится, что-то бормоча и высчитывая.

Сначала Гюльнар вырывала у него кальку и ворчливо говорила:

— Сиди, пожалуйста, смирно. За столом нужно есть, а не возиться с чертежами.

Но так было только в первое время. Потом она привыкла к странностям мужа и сама старалась облегчить его труд.

Еще девушкой Гюльнар надеялась отыскать такое средство, чтобы задушить рак, убивший ее мать. Все годы учебы в институте она только и думала об этой проклятой болезни, примеривалась к ней, читала о ней, а потом как-то сразу поняла: нет, ничего нового она не

откроет. Все, что написано в книгах, рассказано на лекциях знаменитыми специалистами, все это только слова и гипотезы. И ничего пока не поделаешь.

Это подействовало на нее так, что в припадке разочарования она решила даже бросить институт. Но время-то было уже потрачено! А тут отец вмешался. Она окончила институт и получила диплом врача.

Гюльнар теперь — хирург, специалист по опухолям. На этом поприще она встретилась с другим грозным, неуязвимым врагом — карциомой, как зовут его онкологи. Сколько ни было предложено способов, эта страшная опухоль, вырастающая неизвестно откуда и отчего, не боится ни одного из них. Многое внушает серьезные надежды, но ничто еще пока не вылечивает.

Возясь с другими заболеваниями, Гюльнар никогда не оставляла в покое своего врага, все время выбирала оружие, присматривалась, примеривалась к нему. Ждала, что когда-нибудь да будет побежден этот неуловимый враг. Когда только и кем?

Ох, счастливец Байжан! Он оседлал своего бешеного коня, и как тот не бьется под ним, а должен будет смириться. Задержать же Сыр-Дарью и бросить ее воды в степи — это ведь то же, что остановить смерть.

Вот по обоим берегам лежат мертвые равнины, погруженные в состояние глубокого анабиоза. Напоить их — значит воскресить.

И она смотрела за быстрыми руками своего мужа и думала: оба они учились побеждать смерть. Она — в клинике, он — в безжизненной степи. Что ж, если муж лучше ее справляется с этой задачей, разве она смеет завидовать ему?

В первый же день своего переезда из гостиницы в квартиру Анатолия Кондратьевича Байжан подал жене бумажный сверток и сказал:

— Повесь-ка эту штуку на стену. Это — план канала.

И вот план на стене. Гюльнар всматривается в него.

Вот она — кровеносная система края! В середине сердце — Сыр-Дарья. От нее ответвляется толстая артерия — центральная магистраль канала, во все стороны бежит, разветвляясь, периферическая кровеносная система — мелкие арыки. По ней течет кровь. Кровь эта дает жизнь.

Всматриваясь в эту почти физиологическую картину,

Гюльнар подумала: «Жизнь невозможна без питательной кровяной плазмы. Сыр-Дарьинская долина мертва без этой кровеносной системы арыков. Напоить ее — значит оживить. А во главе всего этого Байжан — мой муж. Не счастье ли это?».

И когда Гюльнар, наконец, поняла это,— она перестала упрекать Байжана за то, что он не умеет даже поесть по-человечески. Наоборот, все свои силы положила она на то, чтобы облегчить ему эту тяжелую ношу.

Наступил знаменательный день: вдоль трассы стоят бараки, рассчитанные на десять тысяч человек. Вокруг них разбиты свыше двух тысяч брезентовых палаток. Поодаль от палаток выстроились кухня и столовые. Вдоль правой и левой ветки канала красуются три барака — клубы, каждый на тысячу человек.

Район электрифицирован, радиофицирован, опутан телефонами, электрическими и телеграфными проводами.

Открыты библиотеки, работают продуктовые и промтоварные ларьки.

Руководит медицинской частью строительства Гюльнар, на каждом участке ее медпункт.

В огромном количестве заготовлены и стройматериалы: древесина, цемент, гвозди, камыш, кетмени, лопаты, мотыги, ломы, топоры, буравы, кувалды, рабочие носилки и т. д.

Парторгом строительства обком назначил секретаря Н-ского райкома Рахмета Дюсембина, комсоргом — Даулета Сырбаева.

К началу августа рабочие начали стекаться на трассу. Из далеких районов приезжали в поездах, из близких районов их подвозили на машинах и подводах. Поезда встречал Рахмет Дюсембин и на машинах развозил рабочих по участкам.

На вокзалах и на больших узловых пунктах играли оркестры, работали агитбригады, ставились спектакли.

Байжан ходил радостный и довольный.

Кто же, как не он — начальник строительства, должен был радоваться этому бурному потоку людей: да еще какому потоку! «Вон, — думал он, — течет Сыр-Дарья. Как удав, она опутала степь — необузданная, бурная, непокорная река! А мы заарканим вольницу. Небось, она не поволочет аркан за собой, остановится,

смирится. А когда затихнет, покорясь нашей воле, вот тогда эта ценная, как золото, вода и потечёт в степь. И возникнут сады, расцветут наши нивы, нальются золотом колосья».

... В назначенный день сорок тысяч человек, вооруженные кетменями, выстроились вдоль всей трассы — каждый через три метра друг от друга. Кетмени на плечах. Ждут сигнала.

Перед началом работ — митинг. Член правительства поздравляет с началом строительства, представители рабочих, партийных организаций заверяют правительство, партию, товарища Сталина, что канал будет построен, будет построен досрочно.

Радио разносит их слова по всей трассе, протянувшейся более, чем на сто километров.

Оркестр исполняет Интернационал. К последним замирающим его звукам член правительства добавляет: «Оке сят». Это значит — «Желаю успеха». В ту же секунду сорок тысяч колхозников дружно опускают кетмени на землю.

Руководители строительства были в трех километрах от головной части основной магистрали — на месте постройки будущего головного шлюза. Там стоял экскаватор, пышно разукрашенный коврами, обвешанный лозунгами. Сейчас он служил трибуной для выступающих на митинге.

Было раннее утро. Солнце только что взошло.

Небо в этих краях с восхода до заката светлое и ясное, как нигде, а если и соберутся ночью облака, все равно растают они на утренней заре. Но на этот раз тучи висели тяжелые, как бархат. Казалось — это красные знамена свисали с неба на землю. И кусты трав, низкие деревья — все кругом тоже казалось красным от этих пунцовых туч. Туе-мойын, далекий, как мираж, горел яростным багрянцем.

Над строителями висело тяжелое красное знамя, окутавшее небо, землю, реку и людей. Вокруг них бушевало пунцовое пламя ковров и лозунгов.

В то время, когда говорились речи, Анатолий Кондратьевич вдруг заметил — с экскаватора спустился Сырбай и быстро пошел.

— Куда это ты? — шопотом спросил Анатолий Кондратьевич.

— Дело есть,— односложно ответил Сырбай.

— Какое сейчас дело? — удивился Анатолий Кондратьевич.

Вслушиваясь в мощный гул радиоустановок, он продолжал следить за Сырбаем.

Небольшая кучка людей теснилась вокруг лежавшего неподалеку от экскаватора откормленного верблюда самца-бура, как зовут его казахи. К ним-то и направился Сырбай.

У всех народов имеется такой древний обычай: самый почетный человек, присутствующий на строительстве, вбивает первый кол, кладет первый камень. Этой традиции решили последовать и строители канала.

Право забивки первой сваи будущего строительства они предоставили Сырбаю. А сделать это ему следовало на том месте, где проектировали первый шлюз.

Церемониал этого акта был тоже продуман: руководители строительства подходят к Сырбаю, берут его за руку и ведут на то место, где забивается первая свая.

Анатолий Кондратьевич никак не мог понять, как же так получилось, что Сырбай вдруг нарушил весь церемониал, сошел с экскаватора и направился куда-то в сторону — к черному мохнатому верблюду, что лежал посередине дороги.

Вдруг одна мысль, очень тревожная мысль, пришла в голову Анатолию Кондратьевичу. Он быстро сошел, даже почти сбежал с экскаватора и бросился за Сырбаем.

Вот что вспомнилось ему. Еще в ранней юности он слышал рассказы стариков: «Такой-то, называлась фамилия бая и обязательно знатного, перед началом работ заклал жеребца или быка, другой — козла или барана». Таков исконный святой обычай старины. Начинаешь работу — принеси кровавую жертву.

Как только вопрос о строительстве был решен утвердительно, Сырбай стал думать о жертве. Он говорил об этом с колхозниками, потом обратился к Анатолию Кондратьевичу.

— Так кого ж ты думаешь заколоть? — спросил старый инженер.

— Буру.

— Буру?

— Ну, а чему ты удивляешься? Не колхозного буру,

а своего собственного. У меня есть два верблюда, — одного из них я принесу в жертву.

Анатолий Кондратьевич заинтересовался, почему же именно верблюда, да еще черного верблюда — самца? И прежде чем возражать, он спросил:

— Но почему же буру? Вот козу, овцу, быка, это я еще понимаю. Такой обычай, верно, есть, но буру... Нет, нет, не слышал что-то. Никогда не было этого.

— Было, было! Наместник кокандского хана перед прокладкой арыка зарезал буру. Почему верблюда? Потому, что чище животного в степи нет. Мясо у него хорошее. Есть его всегда можно!...

— Значит ты и решил поэтому зарезать буру? — спросил Анатолий Кондратьевич.

— Не знаю. Там видно будет,— уклончиво ответил Сырбай.

Анатолий Кондратьевич с детства интересовался археологией. Он знал, что все исторические здания — храмы, дворцы, мечети построены не только на крови, но часто даже на человеческих костях. А вот в Греции и по сей день есть поверье: кто первый придет на строительство, где еще не было кровавого жертвоприношения, тот в том же году умрет. Поэтому строитель, приступая к работе, обязательно заколет овцу, а если нет овцы, так просто зарежет курицу, вымажет ее кровью руки, и только после этого приступает к работе.

Анатолий Кондратьевич и сам видел, как на новостройках режут казахи баранов, козлов или какой-нибудь другой мелкий скот. Но никогда он не слыхивал о том, чтобы резали верблюда.

В разговоре с Сырбаем ему и другое пришло в голову.

Кара-бура по-русски значит — черный верблюд, верблюд-самец. Но ведь это только одно значение слова, второе же, — запруда, дамба, только дамба особого рода.

Делают ее так: вьют длинные толстые канаты, расстилают их на земле друг около друга и покрывают камышом. Потом все это засыпают землей, предварительно хорошенько намоченной. Все это затем завязывается тугими канатами. Получается пакет — сверток толщиной в два-три человеческих обхвата.

Это-то и есть «черный верблюд»—кара-бура. Им запруживают арыки. В казахских степях способ запруды

«кара-бура» очень популярен. Говорят, что запруда, сделанная из таких земляных пакетов, не знает износу.

Анатолий Кондратьевич знал это средство и верил в него. Даже сейчас он своему зятю советовал кое-где в запрудах использовать способ кара-бура.

Поэтому, когда Сырбай заговорил о черном верблюде, он, погруженный в дела строительства, воспринял это давно знакомое слово, собственно даже технический термин, как имеющее особое образное значение. В древности, начиная рыть арык, в жертву приносили черного верблюда. Потом название обычая по ассоциации перекинулось на название строительного материала, на самое строительство, и запруда такого рода продолжала называться кара-бура.

Сообразив все это, Анатолий Кондратьевич вдруг понял, что он открыл точный, но совершенно утерянный теперь смысл этого технического термина допотопной степной ирригации.

В другой раз он бы очень обрадовался этому своему нежданному открытию и может быть даже написал бы небольшую статейку в областную газету. Но теперь ему было не до исторической лингвистики. Затевалось неслыханно позорное дело: его старый друг хотел осквернить советское строительство самым варварским обрядом языческих времен — жертвенной кровью.

И дело это могло иметь самые неожиданные и самые невыгодные последствия. Подумать только: передовой колхозник приносит кровавую жертву, и делает это не у себя дома, не ночью за запертыми воротами, а в день народного торжества. Значит для всеобщего примера и подражания. Вот и скажут старики: «Сырбаю можно, почему нам нельзя? Он публично бура принес и то ничего, а мы овцу зарезать не можем. Где же тут справедливость?». И Анатолий Кондратьевич заспорил. Он изложил Сырбаю все свои соображения и под конец категорически заявил, что резать буру он не позволит.

Пока он говорил, Сырбай стоял, молчал, смотрел в землю и соображал.

— Хорошо,— сказал он уклончиво,— посмотрим. Там посмотрим.

Так они и разошлись; ничего не решив.

А Сырбай меж тем думал: «Значит надо так ре-

зать, чтоб никто ничего не знал и не видел. Скажу двум-трём старикам, они помогут мне, а больше никого и не нужно».

С тех пор прошло много времени. Анатолий Кондратьевич забыл и про этот разговор и про жертвоприношение. И только сейчас, когда Сырбай сошел с экскаватора и поспешно направился к верблюду, он тревожно подумал: «Ах, упрямец! Надо его остановить».

Бура был жирным, откормленным. Ещё бы! Целую зиму возился с ним Сырбай. Специалисты определяли: в одних горбах у этого верблюда отложилось жира не меньше десяти пудов.

Накануне торжества, ещё ночью, Сырбай привел бура в назначенное место и привязал его около ямы, потом заставил лечь и спутал. Пусть бура лежит на месте, когда его заколют, кровь хлынет прямо в яму, думал Сырбай.

Яма эта тоже имела свою историю. Дело в том, что в долине Сыр-Дарьи есть много окпанов, подземных пустот. Если при прокладке арыка встретится такой окпан — запруживай арык и беги! Все равно вода уйдет в землю. Где, в каких местах будет окпан, может определить только опытный мираб. Но зато, если уж он скажет, что вот здесь окпан, так лучше и не копай, все равно — труд пропадёт даром.

Сырбай с одного взгляда определял, где следует копать землю для арыка, а где и трудиться нечего. Что же касается окпанов, то он узнавал их присутствие по совершенно невидимым и лишь одному ему известным признакам, но всегда точно. Консультацией Сырбая широко пользовались строители канала. По плану канал должен был начинаться с одного из речных изгибов Дарьи, названных за свою странную форму Кустумсык — птичий клюв. Но Сырбай, когда речь зашла о Кустумсык, вдруг запротестовал.

— Ничего не выйдет, — сказал он. — Правда, для прокладки лучшего места не найти, но смотрите: высокие берега, крутые спуски, внизу котлованы, значит, обязательно будет здесь окпан.

— Не болтайте попусту, — махнул на него рукой Байжан.

Однако Анатолий Кондратьевич думал иначе.

— Старик знает, что говорит, — сказал он Байжану. — Надо хорошо прощупать место, беды от этого не будет. Сделаем пробный выем.

Сделали. На месте выема оказалась широкая и глубокая пропасть.

Пришлось зарыть все и отвести место прокладки на семь километров выше. Здесь и была выкопана первая яма, был вбит первый кол.

Сюда и привел впоследствии Сырбай своего верного гривастого верблюда.

— Как, аксакал, это место лучше Кустумсык? — спросил Сырбая один из инженеров.

— Нет, — ответил Сырбай, — хуже. Таких мест, как Кустумсык, больше не найти. Если бы не сгубил его проклятый окпан, оттуда бы вести наш канал. Впрочем, и тут ничего...

Никто из начальства даже и не догадывался о плане Сырбая устроить жертвоприношение. Да и колхозников Сырбай в свои планы не посвящал. Только нескольким своим сверстникам он рассказал все, но строго-настрого приказал молчать: «Смотрите, чтобы никто ничего не знал. Какая же это жертва, если на нее глазеет вся улица. Вот кончится митинг, тогда и приступим».

Митинг кончился. С трибуны стали спускаться представители правительственной комиссии и Сырбай приказал своим подручным:

— Валите буру!

Верблюд бешено кричал и бился. Еще бы! Около десяти человек тянули веревку, пропущенную через его нижнюю губу. Пока голова верблюда запрокидывалась назад, он кричал отчаянно и заливисто.

В это время Сырбай (он стоял с засученными рукавами, держа наготове длинный кездык — род казахского ножа) протянул обе руки вперед и молитвенно говорил:

— О создатель! Да будет благословенно наше дело! Да принесет этот арык счастье и изобилие всем людям и скотине, от дня его постройки и во веки веков!

После этого, по святому закону шариата, он должен был провести ладонями по щекам. Но щеки его были влажны от слез и он только поднес руки к лицу, подержал их и опустил. Такие слезы не надо было вытирать.

Затем он поднял длинный и острый нож и точно рассчитанным движением замахнулся над горлом животного. Его рука была тверда, глаз наметан, и он, конечно, не промахнулся бы. Но его схватили сзади, и сильная рука старика повисла в воздухе.

Черный верблюд спокойно жевал мягкими губами пепельного цвета и косил на Сырбая огромными черными глазами восточной красавицы.

Сырбай гневно повернулся. Он увидел Анатолия Кондратьевича, Даулета, членов правительственной комиссии, которые, остановившись, удивленно наблюдали за этим единоборством инженера и старого мираба.

— Пусти, сейчас же! — тихо и гневно сказал Сырбай.

— Не отпущу, — также тихо ответил Анатолий Кондратьевич.

— Почему?

— Слушай, — решительно сказал Анатолий Кондратьевич и даже вдруг раскраснелся весь от волнения. — Что тебе этот верблюд? Вот мое горло, на, режь его!

— Как это так? — удивился Сырбай.

— Да так. Ты подумай только, что со мной ты делаешь? Я-то всюду расхваливаю тебя, слов не нахожу, чтобы расписывать, какой ты хороший человек, а ты кровавую жертву приносишь? Значит, на сколько же лет ты отстал от нашего времени? В какой стране ты живешь, старик? Да и сам, кто ты такой? Шаман, колдун или честный труженик? Что скажут теперь члены правительственной комиссии? Хороший, скажут, Анатолий Кондратьевич, у тебя друг! Да и сам ты что за человек, если за 30 лет дружбы ничему не научил его, а так дикарем и оставил.

Сырбай тяжело дышал, но уже не вырывался.

— И вот мое последнее слово тебе, — четко и раздельно сказал Анатолий Кондратьевич. — Брось сейчас же свой нож и выбей из головы мысль, что кровью можно освящать советское строительство. Не верблюда ты зарежешь сейчас, а дружбу нашу с тобой. Слышишь!

— Слышу, отпусти мне руку! — попросил Сырбай тихо и уже покорно добавил: — да будет по-твоему.

Анатолий Кондратьевич отпустил его.

Подошли члены правительственной комиссии. Предсе-

датель нес небольшой кол с красным флажком. Этим флажком полагалось отмерить место закладки первого шлюза.

— Дайте старику, — попросил Анатолий Кондратьевич.

Председатель комиссии вопросительно взглянул на Анатолия Кондратьевича и на Сырбая. Он ничего не понял. Прямо перед ним лежал связанный черный верблюд. Сырбай смущенно бормотал что-то и прятал нож.

— Дайте сюда кол, — повторил Анатолий Кондратьевич.

Председатель комиссии улыбнулся и подал кол Сырбаю.

Сырбай осторожно взял его обеими руками, опустил в яму и начал засыпать. Все, кто был здесь, брали пригоршню земли и сыпали ее в яму.

Сырбай отошел от флажка. Он трясся, как в лихорадке, у него дрожали губы и он все повторял. «О создатель, о создатель!»

Байжан, стоя на экскаваторе, резко взмахнул красным платком. В ответ мощно загудел оркестр. Рабочие взмахнули кетменями.

Сорок тысяч кетменей! Благородная синеватая сталь их сверкнула на солнце, сорок тысяч смуглых рук опустили их на жесткую степную землю.

Глава шестая

ПРОПАВШИЙ ПРОЕКТ

КОГДА обком запросил у облводхоза соображения о предполагаемых руководителях строительства, Управление его одним из первых выдвинуло Анатолия Кондратьевича. Это вызвало много разговоров. В частном разговоре с начальником облводхоза секретарь обкома сказал:

— Не знаю, что вам и сказать о вашем представлении. Конечно, в основу всего строительства положен именно проект тов. Полевого, но назначить старика глав-

ным инженером, непосредственным руководителем всех работ на трассе... Слишком уж много соображений против...

— Например? — спросил начальник облводхоза.

— Товарищ Полевой уже стар, а ведь тут нужно и день и ночь не отлучаться с трассы, не спать сутками. Где же ему выдержать такую нагрузку? Есть и второе соображение, и куда более важное.

— Именно?

— Мы хотели бы использовать Полевого на составлении проекта нового объекта нашей ирригационной системы. Предварительные работы недавно закончены, руководил их изысканиями все тот же Анатолий Кондратьевич. Так как же ему не быть автором этого проекта. Пусть он и займется им вплотную. Одним словом, — я еще поговорю с ним лично.

Этот личный разговор состоялся на следующий день.

Выслушав все эти соображения, Анатолий Кондратьевич сказал:

— Ну, что же, дело-то яснее ясного. Конечно, самое важное — это строительство плотины. Значит придется и канал строить и проект готовить. Вот и все.

— Ну, а справитесь вы один со всем?

Полевой улыбнулся.

— То есть как это один? Был бы я один, я и не взялся бы за это дело. Но я не один, помощников у меня много, надо уметь только руководить ими. Ну, а что касается всего остального, — он улыбнулся, — то вы знаете — «нет таких крепостей»...

Секретарь обкома покачал головой. Это новое предложение Анатолия Кондратьевича — руководить двумя работами — вызывало большое сомнение. Постройка Кзыл-Ординской плотины представлялась делом такого огромного значения, что пред ним меркло даже строительство канала. Именно поэтому было бы больше смысла, чтобы старый инженер, оставив строительство канала, посвятил себя разработке проекта.

— Ну, а как надорветесь? — сказал секретарь. — Нет, нет, не обижайтесь. Знаю я, какой вы богатырь. Но ведь годы-то наши уже не те. Сляжете еще, а что будет тогда с проектом плотины?

— Знаю, знаю, — улыбнулся Анатолий Кондрать-

евич. — Но подумайте только: как мне уйти со строительства, если я на проектирование этого канала потратил столько лет, столько самых лучших лет моей жизни... всю мою молодость!

Полевой замолчал, задумавшись.

— Так-то оно так, Анатолий Кондратьевич, но, — секретарь обкома взял старого инженера за руку. — Но ведь и канал имени Сталина тоже ваше детище.

— Дослушайте тогда меня уже до конца. Да, конечно, Сталинский канал, как вы сказали, это мое детище, именно мое. Кажется, тут нет преувеличения.

— Нет, нет! — улыбнулся секретарь обкома, — ровно никакого преувеличения. Канал — ваше детище.

— Ну так как же я вдруг отстранюсь от своего ребенка, да еще накануне его совершеннолетия! Я его породил, я его воспитывал, вывел в люди, так разве не найдется для меня места на пиру в его честь? Почему именно я — родитель его — не должен быть в числе гостей, приглашенных на этот высокий праздник? Ведь это мой мозг, это кровь моя и плоть моя!...

Секретарь обкома крепко задумался. Чувства старика были ему понятны, но... Если в проектировании плотины нельзя обойтись без Анатолия Кондратьевича, то на строительстве он не так-то и нужен уже. Там нужны сейчас только хорошие толковые исполнители, а их найдется достаточно. А вот изыскания плотины и все ее рабочие чертежи... кто за них может взяться, кроме Полевого?

И секретарь обкома снова стал убеждать старика.

— Невозможно представить, — говорил секретарь, — чтобы не пострадали оба дела, если за их осуществление возьмется один и тот же человек. Слишком уж огромен размах работ, слишком разнородны обязанности руководителя обоих объектов — на строительстве и за столом проектного бюро. Подумайте, Анатолий Кондратьевич, главное все-таки работа, успех дела, а никак не личное самолюбие. Чувства ваши вполне понятны и делают вам честь, но при всем этом...

Старик вдруг засмеялся.

— Дорогой мой, — сказал он. — Слишком разнородны будут мои обязанности и я не справлюсь, мол. Ну, а позвольте вас спросить; в себя-то, себе-то вы хоть верите?

— Что? что? — даже подскочил секретарь.

— Себе-то вы верите? Ведь верите?

— Ну, верю, — недоуменно пожал плечами секретарь. Он был серьезно удивлен таким неожиданным оборотом разговора.

— Вы первый секретарь обкома, не так ли?

— Ну, так.

— Да, вы первый секретарь, — улыбнулся Анатолий Кондратьевич. — И у вас есть помощники и заместители — по промышленности есть заместитель, по колхозному строительству есть заместитель, по культуре, торговле, по всем вопросам есть заместители и помощники. И все-таки и заводами, и колхозами, и культурой руководите вы...

— Но я что-то не совсем понимаю вас...

— Слушайте меня уж до конца. Сейчас поймете все. Значит руководите всем вы, за все отвечаете вы, и ни одно сколько-нибудь крупное мероприятие не может быть проведено без вашего ведома. Если вы справитесь со всем этим, то честь и слава вам, а не справитесь...

— Тогда меня просто снимут с поста секретаря и все, — слегка пожал плечами секретарь.

— Совершенно верно. И не только снимут, но и дадут крепкую нахлобучку. За вами все время наблюдает хозяйский глаз. ЦК партии потому и оставляет вас на посту, что вы оправдываете доверие партии. Не так ли?

— Так-то так, но почему вы задаете все эти вопросы? Ведь мы с вами не о моей работе говорим, а о вашем проекте...

— Вот к нему-то мы и подходим. Отлично. Вы хороший руководитель и большевик. Но я тоже хороший большевик и тоже хороший руководитель. Или, может быть, вы не доверяете мне как беспартийному? Но тогда это просто нелепо и... и... нехорошо.

Анатолий Кондратьевич отвернулся.

— Да нет, нет, — вскочил с кресла секретарь. — Нет, нет, что вы. Вы же знаете, как мы вас ценим. «Беспартийный большевик», вот как называет товарищ Сталин таких людей, как вы. Или вы думаете, что я лгу? Говорю вам в глаза так, а думаю иначе... Но ведь вы сами сказали, что я разумный человек и честный партийный руководитель. Значит, знаю, кто сколько стоит.

— Не сомневаюсь, — примирительно улыбнулся По-

левой. — Вы настоящий большевик и честный руководитель. Но и я тоже большевик и тоже честный. А коли так, то устраняться мне от всех трудностей просто невозможно. Смотрите, сколькими и совершенно разными областями работы вы руководите через свой аппарат, и ничего. Со всем справляетесь. Так почему же вы не хотите мне поверить? Я ведь тоже всегда справляюсь со своей работой.

— Ладно, — улыбнулся секретарь. — Сдаюсь. Выбирайте сами.

— Я выбрал и строительство канала и проектирование плотины. Там буду главным инженером, здесь начальником проектного бюро.

— Отлично,—коротко сказал секретарь.—Я согласен.

Через три дня после этого разговора было принято решение.

— Ну, что ж, — думал секретарь, подписывая решение. — Пока на трассе кипит работа, Полевому, конечно, будет не до проекта, а вот зимой, когда работы свернутся на три-четыре месяца, тогда он засядет за свои расчеты и, пожалуй, это будет к лучшему.

Но Анатолий Кондратьевич поспевал всюду, он и на трассе каждый день появлялся на несколько часов и за чертежным столом сидел целыми ночами.

Может быть он и не выдержал, если бы не одно обстоятельство.

При облводхозе имелось проектное бюро — оно-то и рассчитывало все строительные объекты ирригационных сооружений Сыр-Дарьинской долины. Начальника этого бюро Анатолий Кондратьевич знал лет 40.

После разговора с секретарем обкома он пришел и рассказал ему обо всем.

— Я буду все-таки настаивать, чтобы там ни говорили в обкоме, на своем, — закончил он рассказ. — Говорят: «стар, не справлюсь», а я думаю: нет, отлично справлюсь, ибо у меня друг есть. 40 лет мы друг другу помогали, не подведет он меня и сейчас. Так вот смотри: поможешь мне — возьмусь я за обе работы, нет — буду только на строительстве работать, а плотину отдам другому. Но только как грустно выпускать мне из рук эту плотину. Решай, друг! Теперь все от тебя зависит!

— Я тебя не подведу, — серьезно отвечал старый со-

служивец. — Как решил, так и делай. Бери на себя общие расчеты, а все материалы я подготовлю. Будем консультироваться друг с другом, авось тогда ты вытащишь и канал и плотину. Берись, не трусь.

И Анатолий Кондратьевич взялся.

Через месяц начались работы.

Старый сослуживец обещания свои выполнил. Но Анатолий Кондратьевич никак не мог успокоиться. Он во все детали входил сам, хотел сам все видеть, все проверить лично.

Да, строительство плотины, как и говорил секретарь обкома, было предприятием еще более важным, чем прокладка канала. Это легко можно было доказать цифрами.

После окончания строительства канала, посевная площадь области увеличивалась на десять тысяч га. Плотина же доводила все посевы до колоссальной цифры в четыре миллиона га.

Сооружалась плотина в 25 км от Кзыл-Орды. Здесь река делала крутой поворот, направляясь к старому руслу. Получалась гигантская дуга. Расстояние между концами этой дуги равнялось 15 км. Задача строителей сводилась к тому, чтобы соединить дугу с новым руслом и возвести в этом месте плотину. Канал этой плотины по расчету должен быть в 5 раз шире канала имени Сталина, а это, в свою очередь, значило, что плотина, пересекающая полукилометровую ширину этого канала, должна тоже равняться полукилометру.

Анатолий Кондратьевич не спал ночами, он входил в мельчайшие детали проекта, он до утра сидел за столом, все проверяя и корректируя. Только после этого бюро и приступало к выработке окончательного варианта.

К осени генеральная схема плана нового строительства была в основном закончена.

В степях говорят: «Одно только не приестся — твой собственный ребенок». Анатолий Кондратьевич считал все прорытые им каналы своими детьми, но то были дети, давно уже отошедшие от своего заботливого отца и не нуждающиеся в нем. Совсем иное дело — плотина. Это была его самая любимая младшая дочка.

А канал имени Сталина? Конечно, прав тот, кто говорит, что теперь его доведут до конца другие инжене-

ры — ученики его, молодые, сильные гидрологи, строители. И старый инженер незаметно для себя отходил от строительства все больше и больше, с головой погружаясь в чертежи новой гигантской плотины.

Первым заметил эту перемену Байжан.

В первые дни строительства канала Анатолий Кондратьевич поставил себе около трассы небольшую избушку из глины и камышита, перенес туда свой чертежный стол, положил на него все планы и сказал: это мой рабочий кабинет.

Бывалые люди говорят, что сон не дружит со старостью. От этой ли причины, от того ли, что всюду на канале требовался хозяйский глаз, но в первые месяцы Анатолий Кондратьевич спал мало, почти совсем не спал. Да и где было найти для этого время, если день старый инженер проводил вне строительства, в кабинете или в городе, а ночью обязательно появлялся на трассе. Ехал он обычно на коне, а за ним шли десятники и бригадиры с фонарем—хозяин принимал работы, сделанные за день.

Анатолий Кондратьевич был по-настоящему строгим хозяином. Как ни точно, чуть ли не по линейке, следовали его чертежам строители, он ничему не верил. Сходил с коня и рулеткой, а то просто шагами обмерял прорытое за день ложе арыка. И если где встречалось отклонение, он требовал немедленного исправления.

Так же часто, как и на трассе, появлялся он на строительстве шлюзов. И здесь тоже все осматривал, все обмерял, вносил свои коррективы и требовал исправления.

Но так проводил свои дни и ночи Анатолий Кондратьевич только в первые дни земляных работ. Затем все изменилось. Анатолий Кондратьевич вдруг совсем на неделю исчез с трассы. Теперь дни и ночи он проводил в своем кабинете.

— Устал старик,— думал Байжан.— Ну и хорошо, пусть отдохнет. Мы и сами справимся сейчас.

Скоро начальник строительства, однако, убедился, что он ошибся: день и ночь в странном «кабинете» горел свет, день и ночь сидел Анатолий Кондратьевич над чертежами и кальками. О том, что из себя представляют эти чертежи, Байжан узнал только случайно.

Однажды, объезжая трассу вместе с женой, он заглянул в шалаш. Старик сидел за столом и щелкал арифмо-

метром, а на столе, на стульях, на полках вдоль стены, всюду — даже на полу — валялись голубоватые кальки.

— Вот тебе и на! — развел руками Байжан.— Мы уже работы первой очереди кончаем, а вы все проекты просматриваете.

— Это не канал, — ответил Анатолий Кондратьевич и, встав со стула, так потянулся, что хрустнули кости. — Это Кзыл-Ординская плотина.

Байжан даже рот приоткрыл.

— Тогда это измена, учитель! — сказал он горячо.— Как же так? Давно ли вы говорили, что строительство канала — дело вашей жизни, что вы ни на что его не променяете, а сейчас...

— Не так ты говоришь, милый, — вдруг рассердился старик. — Нехорошо ты говоришь! Я своему делу — делу покорения Сыр-Дарьинской пустыни — не изменил и не изменю. Это и есть главная цель моей жизни. Это над ней я сижу день и ночь, а канал ли это будет, плотина ли, не все ли равно?

— Так-то оно так, а вот надорветесь и свалитесь, хорошо ли это будет? Что тогда будет со строительством? Хоть об этом вы подумали?

— Не бойся, не маленький. Обо всем подумал и решил, что выдержу.

На том этот разговор и кончился.

Гюльнар, конечно, знала о плане отца куда больше, чем ее муж, и сомнений в том, что Анатолий Кондратьевич выдержит, не свалится, у нее не было. Она боялась другого.

Анатолий Кондратьевич был человеком забывчивым и рассеянным. До того рассеянным и забывчивым, что о нем рассказывали анекдоты. Он и седло на лошадь мог положить задом наперед, и вместо одного чертежа часто брал и нес с собой совсем другой, а однажды даже явился на работу в рубашке наизнанку. Потерять же чертеж, забыть его где-нибудь, для него ничего не стоило. Как-то раньше он где-то потерял папку с материалами и расчетами, над которыми работал в течение нескольких лет. Папка эта так и не нашлась. Гюльнар помнит, какое это было горе для всей семьи. А что если отец и сейчас растеряет эти бумаги, он ведь всюду таскает их за собой...

— Зачем тебе таскать эти кальки, — сказала она, — долго ли до беды? Занимался бы в своем проектном бюро.

— В городе я бываю только наездами, а это дело требует времени,—хмуро сказал Анатолий Кондратьевич.

— Ну, отвези их в Алмалык и занимайся там.

— А тут чем плохо? Нет, работать надо именно здесь.

Гюльнар поняла: Анатолий Кондратьевич никуда не поедет. Если что и можно сделать, так это самой перебраться сюда. Но и это было неосуществимо. В Алмалыке возводилось здание больницы, и Гюльнар не могла оставить это строительство без своего присмотра.

Скоро беда властно постучалась в ее дом. Постучалась она в самом буквальном смысле этого слова.

Однажды кто-то вдруг сильно забарабанил в дверь. Гюльнар подбежала к двери, отворила ее и отшатнулась. Перед ней стоял ее отец. Но в каком виде он явился! Он был бледен и сер. У него были мертвые остекляневшие глаза и сгорбленные плечи.

— Папа, что с тобой? — крикнула Гюльнар и обняла его.

Анатолий Кондратьевич только головой покачал. Гюльнар довела его до постели и хотела уложить его, но он не лег, а сел только на кровать и тяжело вздохнул.

— Да что случилось, папа? — повторила Гюльнар уже чуть не плача.

— Конец! — тяжело сказал Анатолий Кондратьевич и закрыл глаза. — Все потеряно!

— Ты потерял планы?

Анатолий Кондратьевич кивнул головой.

— Но где, когда?

— Сегодня на заре, — также тяжело и медленно ответил Анатолий Кондратьевич.

— Да, но как? как?

— Потом, потом. Дай хоть отдышусь немного. Ах, беда, беда!

— Может, вы чаю хотите?

— Подожди, подожди, потом...

Он бормотал еще что-то, но Гюльнар уже не слушала. Она обняла его и повела в комнату, сняла с него сапоги, уложила в постель и тепло накрыла одеялом. И Анатолий Кондратьевич затих.

Случилась же с ним эта беда вот каким образом:

В прошлый понедельник он взял в проектном бюро папку последнего заключительного варианта плотины со всеми ее сооружениями и отвез ее в свой кабинет.

— Это уже последнее, — сказал начальник бюро, передавая ему эту папку. — Смотри, только долго не держи, надо в Наркомат посылать.

— Ну, зачем долго! Через неделю ты все получишь назад, задерживать я не буду, — ответил Анатолий Кондратьевич.

Прошла неделя. За это время он просмотрел все материалы, написал свое заключение, подробно отметив все недостатки и достоинства этого варианта, затем — это было в воскресенье — он все аккуратно вложил в папку, которую засунул в коржун (кожаную переметную сумку). Он оседлал коня, чтобы ехать в город. Ему следовало добраться до Алмалыка, а уж там можно было сесть на поезд.

Однако взял на этот раз инженер Полевой не своего старого коня, а норовистую и пугливую кобылку. Никогда на ней он не ездил, а сейчас, как на зло, оседлал именно ее.

— Как бы не обидела она вас, — предупредил Анатолия Кондратьевича старый конюх. — Уж больно норовистую лошадку вы заседлали.

— Не таких объезживал, — гордо махнул рукой Полевой.

Конюх накрепко прикрутил коржун к седлу, и инженер поскакал.

Ехал он вдоль трассы канала — таков был обычный его путь в Алмалык. Ехал он и любовался. Еще недавно здесь не было ничего. Глушь, бурьян да вычерченная лопатой черта — ложе будущего канала. А теперь здесь зиял глубокий канал, с обеих сторон которого вздымались груды сырой, остро пахнущей земли. Канал был такой прямой, словно его на бумаге вычертили.

Стояли холодные осенние дни, но люди не оставляли землю в покое. Они работали и заступами и кетменями. На эту работу, согласованную, дружную, и любил смотреть Анатолий Кондратьевич. На каждом шагу осуществлялась здесь его заветная мечта. Человек покорял пустыню.

Анатолий Кондратьевич ехал то по краю траншеи, то

пришпоривал лошадь и заставлял ее спуститься вниз на дно канала. Вся долина гудела от согласной работы людей, экскаваторов, машин.

Лошадь часто пугалась, вставала на дыбы, шарахалась в стороны, порывалась сбросить седока, но Анатолий Кондратьевич сидел крепко и даже мало обращал внимания на поведение своей кобылки.

Так он проехал всю трассу и стал пересекать степь.

Было тихо и пустынно.

Путь Анатолия Кондратьевича лежал дальше, через заросли колючего кустарника. Здесь постоянно пасись козы — великие любители до мелких орешков, что растут на этих колючках. И сейчас заросли кишели козами. То и дело слышалось щелканье кнута, появлялась и тонула в кустах высокая черная фигура пастуха.

Норовистая кобылка шарахалась из стороны в сторону от появлявшихся то здесь, то там юрких фигурок коз. И вдруг кобылка понесла: из-под ног ее выпрыгнула и рванулась в кусты небольшая козочка.

Это было так неожиданно, что Анатолий Кондратьевич на мгновение выпустил из рук повод, а кобылка тем временем встала на дыбы и резко прыгнула в сторону. Толчок был такой, что Анатолий Кондратьевич вылетел из седла, ударился головой об землю и на мгновенье потерял сознание. Когда же он вскочил, кобылка была далеко. Только и увидел он ее, мелькающую в кустах.

Что делать? Место было пустынное и мало знакомое, и не было никого, кто мог бы придти на помощь, догнать кобылку. Только один старый пастух подошел и покачал головой.

— Ай, ай, беда, — сказал он. — Что теперь делать будешь? Куда убежала кобыла?

— Пропади она пропадом, эта кобыла,— выругался Анатолий Кондратьевич. — А вот материалы где?

— Что? — не понял пастух.

Анатолий Кондратьевич махнул рукой и пошел. Скоро он вышел на дорогу, встретил подводу, которая довезла его до Алмалыка.

Так он попал в квартиру Гюльнар.

Пока он лежал на кровати, закрыв глаза, подошел Байжан и, узнав в чем дело, сейчас же кинулся на трассу организовать поиски.

Снарядили верховых. Они поскакали в разные направления и вернулись только ночью. Один из них вел на поводу шальную кобылку. Но не было на ней ни седла, ни сумки.

На другой день утром продолжались поиски. Теперь пошли по кустам и по козьим тропам пешие, но и они ничего не нашли.

Старик ходил чернее тучи.

— Не материалы, а честь моя утеряна,—говорил он.— Навсегда я утратил свое доброе имя. Подумать: на два-три года теперь задержится строительство по моей вине.

Смотря на почерневшее лицо отца, вспомнила Гюльнар один рассказ о том, как погиб друг их семьи.

Тогда Гюльнар была еще совсем крошкой. Она помнила из этой истории только то, что отец много лет спустя говорил матери. Мать знала этого инженера и нередко плакала, вспоминая его.

Инженер переправлялся через реку и уронил портфель с чертежами. Портфель был тяжелый и сразу же пошел на дно. Инженер нырнул за ним в водоворот и больше уже не показался на поверхности.

Так почти в одну и ту же минуту погибли и сам инженер и дело всей его жизни.

Вот и отец, пожалуй... Гюльнар гнала от себя эти мысли, но они не уходили.

Она не отлучалась от отца, старалась всячески утешить его, но ей было ясно, что он ни на секунду не переставал переживать горечь и ужас утраты.

И вдруг приехал Сырбай. На дворе его встретил Байжан и тут же рассказал старику про несчастье.

— Ну, а сам-то не ушибся? Здоров ли Анатоль? — с тревогой спросил старик.

— Сам-то здоров,— ответил Байжан,— вот чертеж ...

— Ну, а коли здоров сам, то тужить нечего, — махнул рукой Сырбай и быстро прошел в дом.

— Где Анатоль? — спросил он Гюльнар, которая с плачем кинулась к нему навстречу.

— Там папа, — отвечала Гюльнар и показала на закрытую дверь.

— Спит?

— Не знаю. Зайдите! Мы боимся его тревожить — он так убит.

— Э, ничего, главное сам был бы цел,— махнул рукой Сырбай и смело отворил дверь в комнату старика.

Гюльнар и Байжан остались в коридоре.

— Ты все ему рассказал? — спросила Гюльнар.

— Все, как есть все.

— Ну, и что же он?

— Главное, говорит, чтоб сам был цел, а бумаги ничего!

— Отчего же он таков? Он ведь чуткий и умный.

— Чуткий, да неграмотный. Что ему бумаги, коли он грамоты не знает.

— Нет, он не такой, — покачала головой Гюльнар. — Что-то не то...

Подошли к двери.

Анатолий Кондратьевич говорил громко и взволнованно. Сырбай отделывался шуточками. «Ну, да что там, — говорил он, — что бумага... была бы голова на плечах... Вот голову сломал бы, я плакал бы, а бумагу еще напишешь — мало ли ты их написал».

Наконец Анатолий Кондратьевич не выдержал.

— Да ты пойми: лучше бы мне самому сломать голову, чем эти бумаги потерять.

— Ну, ладно, об этом поговорим после, — равнодушно ответил Сырбай. — Идем в столовую, я что-то проголодался.

Здесь за столом старик рассказал все.

Портфель находится у него — его принес один из колхозных пастухов. Возвращался пастух со стадом домой и наткнулся в кустах на седло, разбитое вдребезги, и суму, туго набитую бумагами. Пастух сразу узнал, кому принадлежат эти вещи. «Анатоль, подумал он. Что с ним случилось, не расшибся ли, не ограбил ли его кто?». Он взял свою находку и пошел к Сырбаю.

Сырбай выслушал его и, даже не взглянув на суму, кинулся к коню. Но ускакать он не успел — во дворе появился тот, кто на подводе доставил старого инженера в Алмалык. Сырбай успокоился и даже свою поездку отложил на день.

Приехав же сейчас в Алмалык, он не захватил с собой сумку нарочно, хотел попугать старого друга, а потом посмеяться и обрадовать. Но Анатолия Кондратьеви-

ча он застал в таком состоянии, что сразу почувствовал раскаяние.

— Брось! — сказал он. — Брось ломать голову и не плачь... Я тебе скажу: приходит ко мне один хороший человек и говорит мне...

И он коротко рассказал о находке пастуха.

— Это правда? — вскочил с места старый инженер.

— Правда, правда, — ответил Сырбай. — Вот приедешь, увидишь.

— И все бумаги целы?

— Все, как был портфель, так и остался.

— И план там?

— И план там. Думаешь, я не знаю, что такое план. Бумага желтая, блестящая, вся в клеточку, а по ней во все стороны арычки бегут, — чернилами нарисованы. Разве мало я таких планов на своем веку видел.

— Господи! Ты же мне жизнь возвратил! Да, да, это и есть план. И никто не шарился в этих бумагах?

— Так я и дам шариться, — рассердился старый мираб. — Я сразу взял сумку и под замок ее. Положи, — говорю старухе, — все эти вещи в большой сундук. Пусть лежат до хозяина. Хозяин приедет — спасибо нам скажет. Скажешь спасибо мне и старухе, а? Скажешь?

Анатолий Кондратьевич вскочил с места и бурно стал целовать своего друга. Слезы текли по его щекам.

— И ты мог так шутить, друг мой, — сказал он с горькой укоризной.

— И верблюд иногда прыгает, а чем я его хуже — ответил Сырбай, смущенно улыбаясь. Он понял свою ошибку.

Глава седьмая

СОРЕВНОВАНИЕ

РАБОТА кипела! Более тридцати пяти тысяч человек стояли на кетменях. Дневная выработка каждого из них составляла три кубометра. Отстающих не было вообще. Многие перевыполняли нормы.

Газета «Борьба за воду» каждый день сообщала:

бригада такого-то выполнила дневную норму на триста, на четыреста, на пятьсот и даже тысячу процентов. Рекорды росли, производительность труда увеличивалась, рабочий день уплотнялся.

Даулет Сырбаев и его невеста Айбарша не сходили с красной доски. Они были организаторами многих побед.

Весной двести тридцать учащихся старших классов средней школы этого района подали заявления в районо, прося разрешения сдать переходные экзамены досрочно. Нужно это им было для того, чтобы выехать на строительство.

Заявление пошло в Наркомпрос и скоро было получено разрешение назначить досрочные экзамены. Они прошли на редкость успешно для всех двухсот тридцати человек; большая часть получила отличные отметки.

Одной из отличниц была Айбарша — секретарь комсомольской ячейки школы. Она вообще была не прочь, чтобы все комсомольцы — круглым числом в пятьсот человек — сдали экзамены досрочно и выехали на строительство. Но как раз этого-то и не разрешил школьникам первой ступени Наркомпрос. Зато как только разрешили это учащимся старших трех классов, Айбарша созвала собрание и предложила: каждый колхоз выезжает на строительство как самостоятельная бригада. Вот и она предлагает создать свою особую бригаду из школьников. Все поддержали Айбаршу.

И вот бригада из двухсот тридцати человек. В ней сто пять девушек, сто двадцать пять мальчиков. Бригадир — Айбарша.

Что касается жениха ее — Даулета,—то он тоже руководил одной из комсомольских бригад, будучи в то же время комсоргом строительства.

Они заключили между собой договор. Да еще какой! Настоящий, письменный, и Даулет в грязь лицом не ударил. Он действительно стал одним из лучших стахановцев строительства. Но и Айбарша добилась отличных показателей.

Из тридцати пяти тысяч кетменщиков пятнадцать тысяч — женщины.

Работать кетменем не легко. Но эта работа извечна для женщин Сыр-Дарьи. Руки их уже настолько привыкли к этому орудию, что даже не ощущают тяжести его.

И Айбарша шла впереди всех пятнадцати тысяч кетменщиц. Она выполняла до семи норм. Не всякий стахановец-мужчина может поднять эти семьсот процентов.

Скоро их заметили. Имена жениха и невесты начали появляться на страницах сначала районных, областных, а потом и республиканских газет. О них начали много писать. Писали статьи журналисты, сочиняли повести писатели, слагали стихи поэты. Нартай — известный всей Кзыл-Ординской области акын, сложил и спел в их честь трогательную песню. Ее красивая мелодия быстро распространилась по всему Казахстану. В одной из стенгазет вскоре появилась карикатура: стоит Айбарша, на спине у ней земной шар; Даулет сзади усердно орошает его из лейки. Надписи такие:

«Два знатных стахановца канала имени Сталина — Даулет Сырбаев и Айбарша Сарымсакова.

Даулет: Айбарша, зачем ты таскаешь за собой школьный глобус?

Айбарша: Если бы это был школьный глобус, то и ты бы его мог поднять, — но это — земной шар.

Даулет: Боже мой, а муллы говорят, что земной шар вертится на рогах серого быка. Неужели ты бык?

Айбарша: Нет, о быке я не слышала. Поднимать землю меня научил старик Архимед.

Даулет: Не знаю такого.

Айбарша: А разве я виновата, что ты недоучка. Архимед — ученый, физик, живший за три века до нашей эры. Он говорил: Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. А я родилась ровно на 2135 лет позже его.

Даулет: Не кичись своей ученостью, сумей сначала справиться хотя бы с каналом.

Айбарша: Ладно, увидим, кто будет ученее, а пока вот: я поднимаю земной шар, а ты засевай его хлопком и рисом да поливай из лейки, чтобы был хороший урожай.

Даулет: Ну, что ж! Если ты не устанешь поднимать, я не устану засевать и поливать».

Читавшие этот дружеский шарж хохотали до слез. В особенности друзья и родственники. При встречах они спрашивали: «Ну, так кто же из вас сеятель, и кто кого засевает?»

Все это доходило до Сырбая, одновременно и огорчая

и радуя его. Как верующий, он страшно боялся дурного глаза и поэтому опасался за жениха и невесту. Радовался же он потому, что его дети прославились по всему Казахстану. Да и только ли по одному Казахстану! Однажды его разыскал Байжан и сунул газеты.

На первой странице Сырбай увидел Даулета и Айбаршу. Снимок был хорошим и Сырбай сразу узнал обоих.

— А что это за газета?

— «Правда»,— ответил Байжан.

— Да ну!— охнул Сырбай. Он знал, что есть такая главная газета «Правда», издается она в Москве и пишет ее с начала до конца сам Сталин. Сырбай так разволновался, что даже сел.

— Да, это «Правда»,— подтвердил Байжан.— Видишь, как расхвалили твоего сына и невестку. Раньше только Казахстан знал о них, а теперь весь Советский Союз. Поздравляю вас с радостью, аксакал.

— Спасибо за поздравление! Будь и ты счастлив, сынок.

Но даже в эту минуту радости старик не забыл поднять глаза и молитвенно пробормотать: «О создатель! Сохрани же их от дурного глаза и языка!» И тотчас же подумал другое. «Такие они дружные, что и водой их, кажется, не разольешь, а вот ведь не женятся что-то».

Он уже неоднократно спрашивал сына:

— Когда же будет свадьба?

Сын обычно отвечал ему:

— Скажем, скажем! Не бойся, не обойдем!

— Но когда, когда?

— Скажем, скажем, не бойся.

— Ой, лопнет мое терпение, ой, лопнет! Ведь от людей проходу нет. Что это ты, говорят, сына из-под полы женил, боишься — объедим тебя? Я говорю: да не женаты они еще, так только, балуются! А мне возражают: не ври, старый филин, чай, сами не слепенькие, все видим!

Но как ни старался Сырбай, так ничего и не добился. «Скажем, скажем» — вот и весь ответ. Он думал, что сын крутит. Между тем, иначе Даулет и говорить не мог. Свадьбу оттягивал не он, а Айбарша.

Был Даулет человеком тихим и неразговорчивым, но понимал все с первого раза и хоть дальше семилетки он не пошел, но читал много, любил художественную лите-

ратуру, а когда шел в библиотеку, обязательно выбирал такие книги, чтобы в них говорилось о любви.

Читая их, сравнивал он себя то с Козы-Корпешем, то с Фархатом, а то с Евгением Онегиным. Айбаршу же, соответственно этому, считал то Баян, то Ширин, то Татьяной, смотря по тому, какая книга была сейчас у него перед глазами.

Прочитав с десяток таких романов, он понял, что большинство влюбленных были несчастны, а несчастны они были именно потому, что хотели соединиться с любимым. А это либо не удавалось вообще, либо удавалось только ценой долгих и тяжелых страданий.

Даулет не особенно вдавался в размышления о причинах этого зла. Он просто жил жизнью героя, болел его печалью, радовался его радостями. Сравнивая себя с героями, он радовался также тому, что его соединению с любимой никто не мешает. И он повторял про себя или даже вслух. «Хорошо! Как хорошо, что мы родились именно сейчас». И спрашивал Айбаршу:

— Слушай, не находишь ли ты, что нам давно пора зарегистрироваться.

Но Айбарша каждый раз обливала его ушатом холодной воды:

— Что ты так торопишься?— говорила она, и тут засыпала его самыми различными, всегда разумными доводами. Иногда она говорила так:

— Ведь не старики же мы с тобой? Что с нами сделается, если мы подождем год-другой?!

Иногда даже сердилась:

— Только это у тебя на уме и есть,— говорила она с досадой,—о чем с тобой ни заговоришь, ты все сводишь к одному,— и просила подождать, пока она не закончит хотя бы десятилетку.

И вот она закончила десятый класс.

— Ну, теперь хватит. Сейчас же в загс,— решительно сказал Даулет, но она отвертелась и на этот раз. Опять нашлись у нее какие-то доводы, какие-то отговорки, соображения. Даулет с головой потонул в ее ласковых и хитрых словах.

Уговаривая, ласкаясь и споря, Айбарша называла Даулета «Даукаш» и он как-то полушутя, полусерьезно сказал ей:

— Слушай! Люди ведь думают, что ты меня называешь «Даукас» (скандалист). Разве это хорошо?

— А ведь ты и есть скандалист,— ответила Айбарша.

— Ну, что ты пристаешь ко мне! Вот и выходит, что самый ты скандальный парень на строительстве!

— Что не отстаю, это так,— согласился Даулет,— ну, а вот народную песенку ты слышала?— и он запел:

Молодой козленок прыгает на крутом холме с утра,
Между девушкой и юношей нескончаема игра...

— Ну, хватит, хватит,— сердито оборвала его Айбарша.— Хватит, конец я и сама знаю.

Конец же песенки был такой:

Пусть играют! Скоро девушка станет верною женой,
И тогда оденет девушка платок белый и тугой.

Не то не понравилось Айбарше, что она тоже должна облачиться, как и всякая замужняя, в белый платок,— она знала, что это так и будет! Она никак не могла согласиться с тем, что любовная игра кончится, как только она станет женой. Она находила какое-то злое наслаждение в этих язвительных шуточках, в этом назойливом и злом подкалывании и думала так: «Бог с ним, с белым платком, но беда, если я не буду иметь права даже пошутить с любимым». Поэтому она и сейчас так резко оборвала Даулета.

Но они были неразлучны. Как только кончалась работа, Айбарша разыскивала своего жениха и уводила его с трассы.

В жаркие дни — а лето в Сыр-Дарьинской долине особенно томительно — нужно хорошо отдохнуть, чтобы не утратить работоспособности, поэтому молодежь сразу же после окончания работы азартно бросалась в игры. Но если днем здесь очень жарко (яйцо, зарытое в песок, через три минуты сваривается), то вечером нельзя выйти без плотного шерстяного костюма. То ли эта резкая прохлада бывала приятна после горячего длинного дня, то ли сама молодость била через край и ничем ее нельзя было унять,— но до ночи эта молодежь не покидала волейбольные площадки. Больше всех увлекалась этой игрой Айбарша. Бывало, прямо с площадки отправлялась она на работу.

Надо отдать ей справедливость. Проиграв всю ночь в волейбол, она на усталость не жаловалась и отдыха не искала. И не только сама не искала, но и Даулету не давала покоя.

Даулет был молодцом хоть куда, в нем силы тоже били через край, однако не в пример своей невесте, как-то получилось так, что отдых он искал не в играх, не в спорте, а в тихих, мирных развлечениях — на концертах, спектакле, в кино.

Из-за этого у них постоянно возникали споры. Иногда они приходили к какому-нибудь соглашению, и Айбарша шла с Даулетом на спектакль или, наоборот, Даулет шел играть в волейбол. Если же они не могли сговориться, то брались за руки и уходили в поле: там они целыми часами бродили по степи, поверяя друг другу свои затаенные мысли, свои маленькие тайны, а тайна-то была у них только одна: они любили друг друга и никак не могли столковаться.

Природа любви и самое понимание ее были различны у обоих. Только сами они и стояли на пути к своему счастью. И не они оба, а только она — Айбарша.

Она оттягивала брак сначала под предлогом окончания школы, а потом сказала, что хочет поехать в Ташкент, окончить Институт водного хозяйства. Даулет нахмурился, а Айбарша засыпала его доводами и соображениями.

— Подумай: ведь это от нас зависит превратить голые степи по обоим берегам Дарьи в цветущий сад. И если мы сумеем бросить воды реки на берега ее, нет таких цветов и таких плодов, которые не взрастят нам эти пустыни. А коли это так, коли это зависит только от нас, так стоит ли нам ждать, пока это сделают другие, да нас еще в это и носом ткнут. Разве не высокая честь быть самим примером для других?

Что мог возразить на это Даулет? Он только руками разводил. Да! Все правильно. Все кажется так.

Не давая ему передохнуть, она говорила тем временем дальше:

— Давай вместе будем и учиться. Закончим строительство и поедем в Ташкент. Я поступлю в институт, ты — в техникум. Окончим их и возвратимся на родину. А если тебе захочется учиться, так перейдешь в инсти-

тут. Пока ты будешь там, я буду ждать тебя и работать в ауле. Хорошо?

Что ж, Даулет и на это готов был согласиться.

— Хорошо, хорошо!—говорил он.—Очень хорошо! Но с одним и ты согласись, пожалуйста. Если мы намерены работать вместе и вместе жить, то к чему же нам отдаляться друг от друга?..

Нет, правильно, правильно поется в этой песне:

«Между девушкой и парнем нескончаема игра».

Спор длился несколько дней, несколько ночей, но так ничем и не кончился. Каждый довод, сказанный ночью, повторялся утром, как новый.

Однажды, накричавшись до хрипоты, они вышли в степь. Ночь была лунная, светлая.

Перейдя трассу строительства, они остановились, соображая, куда же им идти дальше. Ведь в этой печальной степи, среди нескончаемых барханов и песчаных дюн, нет ни фруктовых садов, ни озер, наполненных веселым птичьим гамом,— только холмы да ряды палаток на них.

Они пошли к колодцу. Строители ночью собирались отдыхать около глубокого колодца. Около него темнело углубление, величиной и формой напоминающее большое корыто. В это земляное корыто (хауз) постоянно сливали воду и вот оно затвердело, сделалось как бы каменным. Освещал это корыто и колодец мощный электрический фонарь. Он был укреплен на длинном столбе. Вокруг него постоянно носились бабочки, мотыльки, большие сердитые жуки. Иногда стремительно налетало какое-нибудь крылатое существо, вроде летучей мыши, и падало в хауз плашмя.

Это место охотно посещалось днем во время полуденных перерывов, когда рабочие купались в корыте, вечером и ночью, когда гуляющие смотрели спектакли и концерты или просто любовались крупными синими звездами.

Сюда и направились наши герои. Здесь было тихо и безлюдно.

Айбарша, несмотря на бойкость и резвость, все же изрядно трусила. Особенно стала трусить, когда, взявшись за руки, они двинулись от колодца просто в степь. Она то и дело спрашивала Даулета.

— Куда же это мы?

— Иди, иди! — говорил ей Даулет.—Иди, не бойся. Сейчас сильнее нас во всей степи никого нет. Смотри, все спит! — и он очерчивал рукой степь, залитую зеленоватой луной.

Они долго бродили по пескам и слушали ночь. Она вся была полна звуками.

Где-то далеко плакал голодный шакал.

Брехала и тявкала лисица, очевидно, разыскивая своих детенышей.

Блеяли дикие козлята.

Где-то далеко, на холмах ухал сыч.

Иногда искрой мелькал заяц, корсак или какая-нибудь мелкая зверюшка.

Раз их остановил судорожно искривленный ствол, похожий на труп исдохшего гада,— то был поваленный куст саксаула.

Безлюдность, ночь и в то же время эта разлитая всюду неутомимая стоокая жизнь пугали Айбаршу. Она все теснее прижималась к Даулету. Он видел это и держался все снисходительнее, все покровительственнее. Ему хотелось показать, что он настоящий мужчина.

— Что это ты?— спрашивал он Айбаршу так, как будто не понимал ее чувства.— Ты так боишься, дорогая?

Но чаще он говорил покровительственно и ласково:

— Не бойся, не бойся, дорогая Айым, я же с тобой!

Да, он никогда не был таким смелым и выдержанным, как в эту лунную ночь.

Они бродили по пескам, разговаривали, спорили, целовались и вдруг раздался громовой рев ишаков. Не менее сотни их орало, приветствуя зарю. Крик их потряс небо, крик их заставил содрогнуться землю. Разговор прервался на полуслове.

— Эх ты, азиатская моя сторонушка!— с досадой крикнул Даулет.

Ведь на самом неподходящем месте прервали их проклятые ишаки.

— Кстати, что они это кричали — полночь, зарю?— спросил Даулет немного погодя.

— Да уж рассвет на дворе!

— Рассвет?

— Ну да! Полночь когда еще они прокричали.

— Ну, а где же тогда Шолпан? Утренняя Венера где? — спросил Даулет, шаря глазами по небу.

— Эка, что ты ищешь? Ну, а много ли других звезд на небе?

Даулет посмотрел. Верно, и других звезд тоже не было.

— Смотри, и луны уже нету...

— Неужели зашла?

— Да еще когда...

— А ты все слушала да на звезды смотрела. О, ничего не скажешь: ты в твердом рассудке.

— Чего же мне в уме-то мешаться?

— А почему я помешался?

— Да не видно что-то.

— Тебе не видно? Так вот, если я не заметил и того, как небо покрылось тучами, как потом зашла луна и наступил рассвет, значит, я помешан.

Айбарша не ответила, только взяла его за руку.

— ...Значит, так меня захлестнула любовь, что...

Айбарша прижалась к нему.

— Даукеш,— сказала она тихо и ласково,— отложим этот разговор. Вот выйдем на работу сонные, утомленные, да и провалим все наши показатели. Тогда что?

— Послушай ты меня,— взмолился Даулет.— Я выполню свой план на две тысячи процентов. Слышишь? Только послушай меня хоть раз...

Он привлек ее к себе. Она оттолкнула его.

— Смотри, рассержусь,— сказала она.— Ты не гляди, что я сегодня ласковая да покорная. Как начну кусаться, беда будет! Пусти.

И Даулет отпустил. Он знал — сердить ее не надо.

— Ну, так что?— спросил он вяло.

— Обратно!— приказала Айбарша.

Шли молча, друг на друга не глядели. И Айбарше вдруг стало жаль его.

— Ну, ну, не сердись, Даукеш,— сказала она как-то даже просительно.

Он молчал.

— Да ты серьезно сердишься?

Даулет засмеялся. Тогда она повернулась, погладила его по лицу и сейчас же почувствовала, какие у ней мозолистые, корявые, совсем не созданные для ласк руки.

— Ну, ну, не сердись, Даукеш,— повторила она. — Ведь ничто, кроме смерти, нас не разлучит. Так потерпи и еще немного, а? Вреда-то от этого не будет? Дай мне институт кончить.

— Ну, а после учебы не одно и то же будет?

— Ну, как ты не хочешь понять меня, Даукеш? ... Если мужчина и женщина сходятся, то нужно создавать семью. А я смотрю на себя и думаю: рано еще мне делаться женщиной. Мне еще нужно учиться, овладеть какой-то специальностью. Кому сейчас нужны недоучки?

Они уже дошли до трассы.

— Ох, как я устал,— сказал Даулет, ставя ногу на высокую насыпь.

— Хочешь, отдохнем?— предложила Айбарша.

Они сели.

— Спать хочется,— сказал Даулет, зевая.

— Так клади голову ко мне на колени,— предложила Айбарша.

Когда он улегся, Айбарша подложила ладони под его лицо и, баюкая его, начала мурлыкать какую-то песенку.

— Нет, спой лучше «Балымша»,— попросил ее Даулет совсем уже сонным голосом.

То была песенка, вошедшая в моду только недавно. Балымша — имя девушки. Но в том колхозе, где живет эта Балымша, живут еще шесть красавиц. Автор песенки влюбляется сразу в шестерых. Каждый куплет песни он сопровождает припевом, и с каждым припевом имя девушки меняется. Шесть раз повторяет он припев и шесть девушек прославляет одна и та же песня. Айбарша знала мелодию, но не знала слов ее и поэтому пела только первый куплет. В припеве его упоминается Балымша. Голос у Айбарши был приятный, бархатный. Она начала петь. Потом и Даулет стал ей подпевать. Так голос в голос они пропели первую строку:

«Целовал бы твои голубые глаза».

Вторую строчку Айбарша спела правильно.

«Беззвучным шагом ты проходишь мимо»...

Даулет же спел ее так:

«Под платьем шелковым трепещет грудь твоя»...

Спели каждый свое, но спорить не стали и закончили песню опять голос в голос.

«Когда я тебя вспоминаю, то ночью каждый раз
Лежу до утра, не смыкая печальных и скорбных глаз,
Балымша!
Лежу я в своей постели, твой образ в груди храня,
А ты, как воздух и солнце, не слушаешь даже меня!...»

Они еще продолжали петь, как вдруг с насыпи свалился и рассыпался около их ног большой ком земли.

Они испуганно вскочили.

Кто-то бежал над ними и из-под его ног сыпались камешки.

— Кто это?— спросил Даулет.

Айбарша посмотрела вверх.

— Просто, наверно, оторвался комок земли,— сказала она.

— Отчего он упал? Землетрясение случилось, что ли? Нет, пробежал кто-то! Человек ли, скотина ли? Ну-ка, поднимемся, посмотрим.

Они взобрались на верхушку насыпи. Верно, кто-то бежал, пригибаясь и скользя мимо холмов.

— Ну, конечно, человек это,— сказал Даулет.— Давай, остановим его.

— Зачем тебе это? Просто кто-то дурачится.

— Нет, что-то не похоже. Тут что-то серьезное.

— А ну его к шайтану.

Даулет крикнул:

— Эй, ты!

Но вверху уже опять было тихо. Очевидно, тот скрылся за холмом.

— Все равно ведь поймаю,— зло крикнул ему Даулет.

Айбарша схватила его за руку.

— Брось, не связывайся,— сказала она.

— Пусти!— крикнул Даулет в неистовстве.

— А я тебе говорю: никуда ты не побежишь!— в голосе Айбарши послышалась повелительная нотка.

В это время с другой стороны насыпи появился всадник. Это был Байжан.

— Э! — сказал Байжан.— Да это они — наши Козы-Корпеш и Баян Слу. Здравствуйте, влюбленные.

— Здравствуй! — ответил Даулет, немного смутившись.— Но как ты тут очутился?

— Да вот, вижу спорите вы что-то тут друг с другом и подъехал. Из-за чего это?

— Вверх взбирались, дядя, а лезть-то трудно. Мы и подталкивали друг друга,—быстро нашлась Айбарша.

Байжан больше и пытать не стал. «То-то он и пролетел так мимо меня,— значит испугался Даулета»,— подумал Байжан.

Дело в том, что когда беглец поравнялся с Байжаном, тот узнал его. Это был агроном райзо Калакай Артыков.

Даулет недавно рассказал Байжану о том, что Калакай без ума от Айбарши и не находит себе места — так влюблен. Тогда Байжан этот рассказ пропустил мимо ушей. Сейчас же он задумался. Уж больно прытко бежал этот молодец. «Да уж, чего доброго, не поссорились ли они из-за него?»— подумал он. Но спросить не решился.

Даулет и Айбарша неловко молчали. Они так и не узнали, кто наблюдал за ними. А Байжан подумал: «молчат! Не хорошо, что молчат! Как бы он не напортил чего». И быстро соскочил с лошади.

— Ну, что ж, посидеть, что ли, немного!— сказал он нарочито беззаботно.— Посидим, поговорим.

— Посидим,— согласился Даулет и протянул ему руку.

Байжан забросил уздечку на спину лошади и сел. Айбарша села посередине. мужчины по бокам.

— Устал,— сказал Байжан, отирая лоб.

— А ехал куда?— спросил Даулет.

— Как куда? Что ж, я разве не работаю на строительстве? Вот и мечусь, как собака. От одного конца канала до другого два-три дня езды, а надо всех строителей навестить. Посмотреть, помочь, кто в чем нуждается. Ни одного забыть нельзя.

— А машина на что же?

— Машина! На машине здесь, дорогой, не проедешь! Это не у нас, в Арке, где степь, как скатерть. Тут что ни шаг, то барханы, дюны да пески по колено. А на равнину выйдешь, так и того хуже — такой саксаульник зачастит, что и не повернешься.

— А зачем вам по пескам да по саксаульникам лазить. На то ведь дороги проложены,— сказала Айбарша.

— Дороги проложены! В том-то и беда — какие дороги и как они проложены. Вот у нас дорога, как стрела: прямая, ровная, широкая. Ни дать, ни взять — центральный проспект. А у вас какая река, такая и дорога — кольца да повороты. А пылище, пылище, господи! Лошадь ногу не поставит еще, а уж ни лошади, ни всадника не видно. На машине по дороге едешь, кабина закрыта, а все равно надо вылезать да выбивать пыль, не то задохнешься! Вот вам и Сыр-Дарья.

— Ну, ну,— уже совсем обиделась Айбарша.— У вас все хорошо, а у нас все скверно! А я скажу: нашу Дарью на десяток ваших Арка я не сменяю. Вот что! А что вы к нам приехали, коли у нас так плохо? Пожалуйста, скатертью дорога обратно. Мы никого не держим силой.

— Вот уж и рассердилась! — сказал Байжан. — Экая вы пылкая, сестренка, и слова вам не скажи.

— Нет, в самом деле,— продолжала Айбарша.— Сами говорили, что нет лучшей в мире земли, чем у нас. Только полива, мол, ей нехватает. А теперь..— она не докончила, потому что увидела — Байжан уже смеется. — Ну, что вы?— спросила она удивленно.

Он примирительно махнул рукой.

— Я же пошутил, сестренка, а вы меня чуть не искусали за вашу Дарью.

— Ну, тогда, значит, мы оба пошутили,— сказала Айбарша все еще сдержанно. — Шутка за шутку.

— Нет, верно, шучу, сестренка,— заговорил Байжан уже совершенно серьезно.— У меня и времени нет, чтобы осматриваться да каяться. Прямо не замечаешь, как день проходит. Вы знаете, иногда я жалею, что в сутках не сто двадцать четыре часа. О, вот тогда бы уже не было у меня недоделанных дел.

— Это вы не плохо придумали,— сказал Даулет.— Пусть бы человек жил в пять раз больше.

— Что ж, когда-нибудь так и будет. Продолжительность жизни — понятие очень условное. Но одно можно сказать: никто не хочет умирать. Смерти желать — жизнь ненавидеть. А таких ненавистников в нашей стране и не найдешь, пожалуй!

— Это правда, — согласилась Айбарша,— но и жизнь

сверх предела тоже неинтересна. Вот есть у нас в ауле старуха, ей сто пятнадцать лет. После того, как у нее выпали зубы, стали расти новые, да такие красивые, крупные, совсем как жемчуг, но чуть их заденешь,— шатаются. А сама-то, сама-то! Ну, прямо мешок с костями. Ползает да кряхтит. Говорят: старый человек, как ребенок. У него ни ума нет, ни памяти. А эта старуха все помнит. Как ни плохо ей, такой старой, а умирать не хочет. Вот девчонки орут ей из-за угла: «бабка, бабка, что чужой век заедаешь?! Пожила — пора и честь знать!». Так она как рассердится, как закричит на них: «Типун вам на язык, чертенята! Что я ваш век, что ли, заедаю? Земля уж вам, бесенятам, тесна стала».

— Вот видите,— сказал Байжан.— Значит, и в сто пятнадцать лет смерть не сладка.

— Ну, а так жить, как она, я все равно не согласна, — задумчиво сказала Айбарша.— Что за интерес в жизни, когда она тебе в тягость? Вот я недавно прочла книгу профессора Палладина «Омоложение»...

— О! —удивился Байжан.—Значит, и вы кое-что читаете? Да, хорошая книга, очень она мне понравилась.

Айбарша открыла рот, чтобы что-то сказать, но Даулет перебил ее.

— Все это чепуха, товарищи! Пусть о второй молодости вот эта стопятнадцатилетняя старуха думает. А нам бы первую получше прожить.

— Нет, все-таки это очень интересно,— задумчиво покачал головой Байжан.— Ну, ладно. Вернемся к нашей Сыр-Дарье. Вот я говорю, времени нехватает, работы много: работы-то, точно, много, да ведь, если она такими темпами и дальше пойдет, следующей же осенью откроем канал. И то надо сказать: на наших равнинах таких работников, как ваши кетменщики, и не видывали. Послать сюда наших хлеборобов — пятерых нужно против одного вашего.

— Ага, — удовлетворенно сказала Айбарша. — Давно бы так.

— А женщины-то, женщины! — и Байжан подмигнул Даулету.—Откинется сначала назад, потом пригнется совсем к земле — раз! И летит глина, песок, камни со дня канала. И этак на пять, на шесть метров вверх. Что ни удар, то ведро щебня.

— Э,— крякнул Даулет.— Да ты говоришь, как писатель.

— А он и есть писатель,— насмешливо прищурилась Айбарша.— Я его стишки читала.

У Байжана сразу округлились глаза.

— Где же вы их достали?— спросил он.

— Ну, это я вам, положим, не скажу.

— Нет, дорогая моя, скажете!—Байжан подмигнул Даулету.— Здесь дело серьезное. А что такое авторское право, вы знаете?

— Нет, а что?

— А вот что. Есть такой закон: распространителя произведения, не бывшего в печати, автор может привлечь к судебной ответственности.

Он говорил строго, хмуря брови, но Айбарша вдруг рассмеялась.

— Ах, так! Ну, значит, не сдобровать Гюльнар! Это у ней я читала ваши стихи.

— Э, нет, милая! Что там Гюльнар? Судить-то все-таки тебя будут!— сказал Даулет.

— Почему?

— Муж и жена — одна сатана. Жена-то имеет право на произведения мужа, а ты-то нет.

Айбарша не нашлась, что ответить.

— Видишь!— кивнул головой Байжан на Даулета.— Нас, сестренка, не обойдешь.

—Вижу, — сказала Айбарша. — Но как хотите, а такой писатель, чьи произведения только жена и читает... нет, немного он стоит!

— Что верно, то верно,— серьезно ответил Байжан.— Не вышло из меня поэта. Никак не вышло! Вы мои старые стихи видели, новых-то я не пишу. Хвастаться мне нечем.

— Нет, нет, я шучу,— поспешно сказала Айбарша. Кротость Байжана совсем обезоружила ее. — Стихи-то неплохие.

— Ну, спасибо, коли не шутите.

— Да нет, не шучу.

— Спасибо, спасибо,— повторил Байжан попрежнему очень серьезно.— Да, да, не получилось из меня поэта. Вот, видите, инженером стал. А вы знаете, друзья, ведь это из-за Гюльнар я сделался инженером. Не она бы, не был бы я в вашей прекрасной долине.

— Раскаиваетесь? — спросила Айбарша.

— Нет, не раскаиваюсь!— твердо кивнул головой Байжан.— Умный человек должен считать за честь участвовать в таком деле, как открытие этого канала. А что за люди в Сыр-Дарьинской долине! Что за золотые руки! Ведь подумать только, сколько нужно вложить труда в эту землю, чтобы вырвать урожай! У нас в Арка разве труд? Весной посеют, да и сидят, сложа руки, почти до самой уборки. Только разве прополют полоску раза два, это и все. Будет дождь, хлеб и сам вырастет; нет — все пропало. А здесь другое дело. Есть канал — никаких дождей не надо. Земля любой урожай выгонит.

— Ты говоришь, дождь, Байжан,— задумчиво сказал Даулет.— Нет, не дай бог здесь дождя.

— Вот я про это и хотел говорить,— сказал Байжан. — Здесь что происходит. Упадет дождь на раскаленную почву и образуется корка, а росток под ней, как под гробовой крышкой. Недавно я читал двухтомный труд о Сыр-Дарье ученого Ризенкампф. Выпущен этот труд в 1930 году в Ленинграде. Вот что пишет этот ученый: в 1889 году между кочевниками и хлеборобами произошло побоище и вот из-за чего. Пошел дождь. Конечно, все ростки заглохли и пропали. Но землеробы прослышали, что эти дожди не сами собой пошли, а кочевники-скотоводы их наслали. У их шаманов есть такой волшебный камень «жадатас». Стали наводить справки и узнали: верно, кочевники в горах жертву над этим камнем приносили: пусть, мол, будет дождь, чтобы скот рос да жирел. Ах, так! Ну мы вам покажем дождь! Собрались целой толпой и ну в горы. Требуют у горцев — «Сейчас же прекратите дождь». Ну, а разве его остановишь? Вот и была свалка. Несколько человек в ней убили.

— Что-то и я такое слышал,— сказал Даулет.

— И еще кое-что вам скажу. Вот вы все говорите: «наша Дарья, наша Дарья». А знаете ли вы, что если эту вашу Дарью спрятать в канал да заставить орошать поля, то такие посевы взойдут, что для уборки рабочих рук нехватит! Ну-ка, сколько плотин будет выстроено в Кзыл-Ординской области в пятой сталинской пятилетке?

— Знаем!— ответили оба.— Три!

— Точно! Три плотины. Сколько же гектаров пахотной земли они оросят. Знаете вы это?

— Нет,— опять ответили оба.

— Три с половиной маллиона га! А сейчас засевается сколько?

— Восемьдесят тысяч гектар,— ответила Айбарша.

— Молодец, сестренка! Да, точно, восемьдесят тысяч. А будет три с половиной миллиона. На сколько же процентов увеличится посевная площадь?

— Ну, это так не вычислить,— сказала Айбарша.— Надо подумать.

Она задумалась.

— И не думай, сестренка,— засмеялся Байжан.— Я скажу: составит это четыре тысячи триста семьдесят пять процентов! Здорово! Идем дальше. Во всех колхозах области на сегодняшний день числится сто пятьдесят пять тысяч человек. Рабочих рук, конечно, меньше. Но предположим, что в пятой сталинской пятилетке, когда подрастут дети, все это число превратится, как говорят работники Госплана, в реальные рабочие единицы. Сколько же тогда гектаров придется на одну такую рабочую единицу? Не знаете? Так я вам скажу — двадцать четыре гектара! Теперь второе, отсюда выходящее: сколько же можно оросить земли, пользуясь старыми кустарными способами?

Даулет уже догадался, куда клонит Байжан.

— Да ведь техника-то растет,— сказал он несмело.— Будем поливать посевы с самолета.

— Не годится, братишка. Почему ж вы тогда так боитесь дождей? Нет, условимся, что доказано: вода, упавшая сверху, — это гибель для сыр-дарьинских посевов.

— А трубы если?— спросила Айбарша не особенно смело.

— Сколько же их понадобится — труб?

— Ну, за этим дело не станет. Железа-то у нас хватит. Проложить под всеми посевными участками трубы, да и качать по ним воду.

— Так,— с удовольствием протянул Байжан, смотря на фантазирующую Айбаршу.— Все учла, одного не продумала. Как же землю-то пахать, если она вся в трубах?

— Айым,— засмеялся Даулет,— ты с Байжаном не спорь. Он умнее нас обоих. Пусть говорит один.

— Ну, что же, послушаем,— согласилась Айбарша.

— Итак, для обработки трех с половиной миллиона гектаров нужно увеличить количество рабочих рук по меньшей мере в пять раз.

— Откуда же они возьмутся?— спросила Айбарша.

— Возьмутся-то откуда? — Байжан подмигнул Даулету.— А ты что ж, не учитываешь естественный прирост? Через десять лет население Сыр-Дарьинской долины удвоится. Такой закон природы.

— Правильно,— с видимым удовольствием подтвердил Даулет,— закон природы.

— Но, затруднение-то вот в чем,— продолжал Байжан.— Конечно, такого прироста рождаемости, какой нужен для освоения всего пространства, отвоеванного у пустыни, население Сыр-Дарьинской долины к нужному сроку не даст — это раз; во-вторых, если бы даже и дало к моменту пуска всех плотин, то дети, родившиеся в этой пятилетке, еще не рабочая сила — это два.

— Что же тогда делать? — спросила Айбарша.

— Значит, вопрос должен решаться переселением.

— Ага,— обиженно сказала Айбарша.— Вот что. Вы перетащите к нам всех своих родичей. А вы спросите нас сначала — пустим ли мы их!

— Ах, не пустите! Ну, об этом мы с вами и говорить не будем.

— Почему же так?

— А потому, что, прежде всего, мы имеем такое же право на Сыр-Дарью, как и вы. Наши праотцы жили здесь вместе с вашими предками, только «джут» да калмыки заставили их бросить родные места и переселиться в Арка. А было это, сестренка, в 1723 году, в год Великого переселения. Так что ничего не попишешь—наша река.

— Ой, так ли это? — спросила Айбарша.— Откуда вы это знаете?

— А вот откуда: у нас имеются слова, смысл которых у нас неизвестен даже старикам. А здесь их понимают и даже дети. Значит, мы их принесли от вас.

— Зря вы затеяли этот спор,— вмешался Даулет.— Ты, Айбарша, землю нашу не жалей. Милости просим всех. Каждому у нас места хватит. Переселяйте хоть завтра своих сородичей, агай. И кончим на этом. Согласны?

— Я-то согласен, да вот сестрица что-то возражает, — засмеялся Байжан.

— Да,— продолжал Байжан,— вот, например, у нас, желая обругать или оскорбить кого-нибудь, говорят: «кортык неме», в особенности так честят низкорослых. А что это за ругательство, никто и не знает. А оказывается, «кортык» — по-вашему ишачонок. У нас ишаков нет. Вот и смысл слова исчез, а осталось одно намерение — оскорбить. Но ведь слово это откуда-то пришло к нам? Наши отцы знали, что говорили, когда так ругали кого-то. Дальше. Вот родится ребенок рахитом: с большим животом и тоненькими ножками. Про него скажут: ну это не работник, у него пузо, как кабак, а ножки, как палки. А что такое кабак? У нас никто и не знает, но праотцы-то наши все-таки выращивали эту тыкву и они-то понимали, на что похож живот рахитика.

— А разве,— спросила Айбарша,— всякое слово что-нибудь да значит?

— А как же? Что такое язык, слово, понятие? Человек называл вещь после того, как сталкивался с ней. Не может быть слова, не прикрывающего собой какого-либо конкретного действия, столкновения человека с предметом. Почему встречаются в языке мертвые слова? Назначение предмета, то есть действенная функция слова, забыта, а коли так, то и само слово — пустой звук, одно условное обозначение.

— Вы, кажется, все на свете знаете, агай! — сказал Даулет.

— А знать обязан каждый из нас! Главный наш недостаток в том и состоит, что мы мало, очень мало еще знаем, хотя все мы взрослые, уважаемые люди.

— Это вы про меня? — обиделся Даулет.

— Ну, что вы, — взмахнул рукой Байжан. — Про себя скорее! Кто же знает все? В том-то и беда, что знания наши в тысячу раз меньше нашего незнания.

— Ну, это вы уж скромничаете,— сказала Айбарша.

— Да нет, не скромничаю. Вот, думал я, окончу институт, поеду в Сыр-Дарью и буду учить людей уму-разуму. Окончил, приехал, вижу — самому нужно у людей разума попросить.

— Очень интересно вы сказали про мертвые слова, — задумчиво улыбнулся Даулет.— Ну-ка, ну-ка, какие еще у вас такие слова имеются?

— Ну вот, когда у нас хотят обидеть кого-нибудь, то говорят: «Ты для меня меньше, чем шопак». Что такое «шопак»? Никто не знает, а все обижаются. Оказывается: шопак это высаженные семена дыни. Они настолько легковесны, что разлетаются от самого слабого дуновения. И это только тут я узнал все это. Дальше, когда человек сильно хочет пить, ему говорят: «что ты толкана наелся, что ли»? Что такое «толкан»? Оказывается, у вас так называют просяную муку на манер русского толокна.

— Вот интересно, — засмеялись оба собеседника Байжана.

—Человек худеет, про него говорят бессмысленно, но с явным сожалением: «Эх, плох же его ускын». А у вас в стране поливного хозяйства всякий мальчишка знает, что «ускын» это та толстая деревянная ось, на которой укреплено колесо чигиря. Интересно?

— Интересно,— сказала Айбарша.— Только нет, не всякий мальчишка это знает. Это слово и я в первый раз слышу.

— Тем лучше. Чигирь выходит из употребления, поэтому и понятия, относящиеся к нему, отмирают. На смену чигиря идет канал. Смотрите, исчез предмет и все понятия, относящиеся к нему, превратились в пустой набор звуков. Видите, какое гибкое, подвижное орудие наш язык.

Видимо долго беседовали бы наши друзья под высокой насыпью, если бы вдруг не раздался пронзительный свист «адырна»[1]

— Батюшки, уже рассвет, — воскликнул Байжан.

— А вы только что заметили, — засмеялась Айбарша.

— За хорошей беседой незаметно ночь пролетает. Но, главное, отдохнул я отлично.

— А вы так и не спали сегодня?

— Нет, конечно! Сейчас не до сна.

— Так идите к нам. Мы вас устроим на отдых.

— Вот так он и пошел к тебе, — засмеялся Даулет. — Пока он не доберется до жены, он глаз не сомкнет.

— Хватит, хватит смеяться, — сказал Байжан, вставая. — Вот поженитесь и с вами случится то же.

---

[1] Род свирели.

Конь Байжана стоял неподвижно, будто дремал. Но как только прозвучал сигнал «адырна», как он вскинул голову и зашевелил ушами.

—Так поедете, агай? — спросил Даулет и тоже поднялся с песка.

— Да, пора!

— Постойте, я приведу вам лошадь, — сказала Айбарша, — по нашему обычаю гостя провожает девушка.

Она помогла Байжану сесть в седло.

— Спасибо, сестренка, — сказал Байжан и пришпорил лошадь.

Глава восьмая

СОМ, ПРОГЛОТИВШИЙ ЧЕЛОВЕКА

ЦЕНТРОМ района было озеро «Кабанды».

Когда-то берега его утопали в густейших зарослях камыша, кругом зеленели высокие, сочные поймы. Озеро называлось «Кабанды» потому, что тростники его кишели когда-то кабанами.

Много лет назад здесь спасался от джута какой-то знатный феодал. И так ему это место понравилось, что он остался здесь и после джута. Озеро находилось недалеко от Сыр-Дарьи, и ежегодно река, выходя из берегов, докатывалась до его ложа, наполняя его свежей водой.

Одна сторона озера была низкая, пологая — она служила отличным водопоем. Здесь и разбил свои юрты бай. Постепенно его зимовка стала обрастать домами и другими зимовками. Приходили сюда новые люди и тоже строились. Местечко превратилось в большой аул, а при советской власти — и в районный центр.

Городок быстро рос, в нем появились школа, больница, здания советских учреждений и вот он стал уже обозначаться на картах довольно заметной точкой. И вдруг беда — Сыр-Дарья изменила свое русло, обошла озеро, и вместо него появилось сначала ржавое болото, потом высохло и оно. Вырыли колодцы, стали качать воду, но для нужд городка ее все-таки нехватало.

Что было делать? Провести воду из Сыр-Дарьи трудно, да, пожалуй, и бесполезно. Стали поговаривать о переводе районного центра в другое место, более удобное.

— А где оно, это более удобное место?

Говорили, говорили, да так ни до чего и не договорились.

Потом, спустя несколько лет, инженерными расчетами было доказано, что канал имени Сталина бесперебойно будет снабжаться водой из Сыр-Дарьинской магистрали, и районные власти приняли решение о переводе райцентра в устье будущего канала.

С этим решением согласились в области, в Алма-Ата и отпустили специальные ассигнования на строительство районного центра. Была создана комиссия под председательством Рахмета Дюсембина.

Здания строились с таким расчетом, чтобы к сроку открытия трассы здесь возник новый городок. В центре его разбили парк, а в нем и около него разместили здания районных учреждений.

Каждый домик был окружен фруктовым садом и поэтому весь городок называли Алмалык, то есть «Яблочный».

Дом, в котором Байжан и Гюльнар принимали гостей, был таким новым, что его не успели даже покрыть крышей и оштукатурить.

Как только гости немного отдохнули и огляделись, Гюльнар сказала Айбарше, что баня готова, что она проводит ее туда. Айбарша сейчас же поднялась.

Она давно мечтала о бане именно с речной водой. Колодезная вода жестка и солена, мыло в ней не пенится, волосы в ней не моются, а только путаются, а у Айбарши были такие длинные, толстые, ниже поясницы, косы, что неделю их не помоешь и так они сваляются, что их потом даже и не расчешешь.

К тому времени, когда Гюльнар и Айбарша вернулись из бани, Даулет и Байжан уже успели придти из кино и приготовить им чай.

Посидели, поговорили и решили идти в клуб. Сегодня там ставилась опера «Кыз-Жибек». Главную роль исполняла народная артистка Союза — Куляш Байсеитова. То был выездной спектакль.

Друзья решили: посмотрят они спектакль, поужинают и отправятся к Сырбаю в Тарангулсай. Там гото-

вилась вечеринка, и им позвонили, что молодежь уже собралась и ждет их.

Тарангулсай — высохшее русло большого арыка. Был выкопан этот арык еще сотни лет тому назад, потом его забросили. По обеим сторонам арыка лежат тысячи гектаров удобной и когда-то плодороднейшей пахотной земли. Теперь жара и засуха превратили эти земли в камень. Оплодотворить их должен будущий канал.

Канал и сай пересекаются возле Туйемоинских песков. Там по высохшему руслу у сая и должна была пролечь трасса строительства. Таков был первоначальный вариант.

Но Анатолий Кондратьевич после осмотра местности выставил встречный проект. Его исследования показали, что старый план не учитывает многого. Русло старого канала проходило по низменности, ложе реки было выше и поэтому вода из реки в канал не шла. Следовательно, писал Анатолий Кондратьевич, нужно было вырыть другой приток и вести его от одного из наиболее крутых изгибов Сыр-Дарьи, то есть начать копать еще верст за десять от устья основной магистрали.

Старый проект предусматривал постройку плотины и как раз на месте пересечения двух каналов. А это, конечно, помешало бы работам по прокладке нового канала и расчистке старого.

Прокладку нового запроектированного Анатолием Кондратьевичем арыка поручили Сырбаю.

Произошло это так.

Секретарь райкома подробно рассказал старику о плане строительства и о решении перевести районный центр к самому устью канала. Сказал он и о том, что в будущем небольшой районный городок превратится в большой и культурный центр на берегу огромной водной магистрали.

Дойдя до этого места, Рахмет вдруг сказал:

— Агай, я хочу сделать вам одно предложение.

— Да, да, дорогой...

— Скажите, ваш колхоз называется Тар-Тогай - узкий лес.

— Сам знаешь,— хмуро ответил Сырбай.— Плохое название, да верное.

—В названии этом не все плохо. «Тогай» хорошее

слово, вот только «тар» — плохое. Что такое за «узкий» колхоз? Но ничего не попишешь, название верное. Для одного-то бая хватало земли, а для целого колхоза ее маловато. Я слышал, хотите вы переселиться куда-то в более удобное место. Правда?

— Правда, дорогой. Вот ожидаем, как кончится строительство, мы и выберем место, где нам лучше поселиться.

— А хотите, я сейчас укажу вам это место?

— Укажи, коль знаешь.

— Ты ведь слыхал, что мы хотим провести воду в Тарангулсай.

— Слыхал, конечно.

— А то, что по сторонам этого арыка имеются тысячи гектар пахотной земли, знаете?

— Знаем и это.

— А то, что мы должны строить запруду на пересечении двух каналов, тоже знаете?

— Тоже знаем.

— Хорошо! Но вот беда: старый сай проложен так, что вода по нему не пойдет. Значит, нужно искать новое место, а оно вот где... Знаешь ты, Бакабас?

— Ну, как не знать! Я всегда думал — хорошо бы вести арык с Бакабаса. На старом месте русло низкое, вода не идет, канал высох, а в Бакабасе и берег удобный для подачи воды и течение быстрое. Значит, напор большой. Воду, как ветром, погонит. Далеко только рыть придется, не справимся, пожалуй...

— Это для одного человека далеко, а для мира десять верст прокопать — один раз кетменем взмахнуть.

— Спасибо за доброе слово, сынок! От всего народа спасибо тебе. Это ты правильно надумал.

— И что получается: проведем мы теперь воду из Бакабаса, построим запруду на новом месте и будет тогда старый сай полон доверху.

— Да, коли будет так сделано, он никогда не высохнет.

— Вот теперь и скажи: если я предложу перевести ваш колхоз именно на это место — на берег старого сая, — подойдет вам это место или нет?

Старик подумал немного.

— Что и говорить, сай — самое подходящее место.

— Но ведь сай-то большой. Где вы будете селиться?

Старик опять подумал.

— Да лучше всего в самом устье, там, где Дарья с каналом сходится. Что там ни говори, а арык он всегда арык.

— Вот оно в чем дело! Хоть островок ваш и узок и мал, да лес на нем, а Бакабас широк, да кругом степь голая. Вот вам и не нравится, что он лыс и пуст. Не так ли?

Сырбай слегка пожал плечами.

— Нам бы вода была, а от воды у нас и лес пойдет.

— Вот это верно, — похвалил его Рахмет.

— Значит, так и порешили. Как пойдет вода по саю, так и колхоз перенесем. Верно?

— Конечно. А что же еще тянуть? Чем скорее, тем лучше.

— Хорошо! И вот что я еще думаю: как переселитесь на новое место, так и колхозу нужно иное название дать.

— Давно у нас об этом народ толкует: мир наш велик и широк, а колхоз Тар — узкий. Как же так? Стыдно нам в таком колхозе жить.

— И что же вы придумали?

— Да пока еще ничего.

— А я предложу вам одно название.

— Ну, ну, какое же?

— А вот какое: Кен-Тогай (широкий лес).

Старик помолчал, подумал.

— Верно ты придумал,— сказал он наконец.— Что ж, посоветуемся с миром, авось и ему понравится. Кен-Тогай, Кен-Тогай, — хорошее название.

На том и порешили.

— И еще одно,— сказал Рахмет.— Начальник строительства Байжан все равно, что ваш сын. И я договорился с ним и с Анатолием Кондратьевичем, что пуск воды поручается вам. Хорошо?

Сырбай согласился.

Работа кипела. Даже сами строители не рассчитывали на такие быстрые темпы. Рукав арыка был узок, а экскаваторы работали день и ночь.

Сырбай сразу показал себя: как только сделался производителем работ, он сейчас же переменил название местности. Уже не «Жабья голова» — (Бакабас) стал называться его участок, а «Кен-Тогай». И это

новое название так понравилось всем, что скоро и самый арык стали называть таким именем.

Вслед за этим Сырбай стал уговаривать колхозников, чтобы они и колхоз перенесли туда же. Он первый и пример показал: очертил лопатой кусок степи и с гордостью сказал:

— Вот мой дом.

И хотя, кроме бурьяна и растрескавшейся сухой земли, ничего пока не было, люди поверили ему: это его дом.

Сырбай не зевал. Натаскал глины, камышиту, быстро поставил небольшой домик и переселился в него. А где бы тут еще и фруктовый сад разбить,— думал он. И так как слово у старика с делом не расходилось, то еще и место не успел он облюбовать, как из Кзыл-Ординского питомника уже пришли на его имя саженцы фруктовых и декоративных деревьев. Выращивала их его жена — Тарбия; самому Сырбаю было не до того. Но как он радовался, когда в саду зазеленели листья, треснули почки и появились первые, еще робкие цветы.

...На 1 мая 1941 года было назначено открытие канала. С каким нетерпением ждали этого дня строители!..

Весна настала ранняя и знойная. Колодцы и «корыта», вырытые на отдаленных участках трассы, сколько бы их ни было, все равно не могли удовлетворить всех строителей. Около воды всегда была толчея. Зато вот теперь воды хватит на всех.

Пуск первого сооружения будущей магистрали предполагалось ознаменовать большим тоем. По мысли строителей, на этот той должны были собраться представители всех бригад, все стахановцы строительства, все отличники его.

Программа тоя намечалась обширной. Значились в ней и скачки, и традиционная борьба, и козлодрание, и умыкание девушек, и, наконец, финал всего — большие конные ристалища.

За несколько дней до этого тоя Сырбай вдруг неожиданно объявил:

— Вот что, товарищи, радоваться-то радуйтесь, а как только вода пойдет, смотрите в оба.

— А что такое? — спросили его.

— А вот что: сай этот весь зарос кустарником да

бурьяном, а в бурьяне дикие звери да змеи. Столько этих змеиных гнезд, столько гнезд, что если в солнечный день посмотреть, то вся трава кипит, словно муравейник. Везде гнезда, норы, логова. Вот и сообразите, что будет, когда польется вода... И звери побегут, и змеи полезут, тут нужно не зевать — надо обложить змеиные гнезда сухим бурьяном, и как только начнут они лезть — поджечь. Иначе будет беда — всех перекусают гады. А как одна змея загорится, так и все змеи за ней в огонь бросятся! Таков уж их змеиный обычай — все за одну гибнут — ни одна не уцелеет. Охотники тоже помнить должны о своем ремесле. Коней заседлывайте, собак кормите, ловчих птиц снаряжайте, оружие готовьте. Всем — и собакам, и людям — добыча будет.

Байжан, Даулет, Айбарша и Гюльнар собрались посмотреть на это невиданное зрелище. Оседлали коней, захватили ружья и поехали.

Сырбай хлопотал с утра: козлов резал, угощение готовил. Ведь два праздника сразу отмечалось в этот день: открытие шлюза и свадьба Гюльнар и Байжана (старик непременно хотел устроить ее второй раз в ауле).

Много потрудились в этот день женщины с ребятами — они обыскали весь старый сай и где был змеиный лаз, обложили его сухим бурьяном. Были установлены и постоянные дежурства — ждали только сигнала, чтобы поджечь бурьян.

Пуск воды — дело нелегкое, особенно, если принять во внимание длину арыка.

У головной части сооружения было несколько недорытых земляных участков. На них Сырбай обращал особое внимание. Дело в том, что сыр-дарьинская глина — почва совсем особого рода. Это настолько мертвая минеральная масса, что сквозь нее не прорастают даже корни. Чернозема в ней нет ни грамма, влаги тоже нет. Подержи ее в руках — она пылью разлетится.

Понятно поэтому, что выдержать бешеный напор воды она не может — обвалится, рухнет, и если зазеваться, горе землекопам, работающим здесь. А так как случаи такой гибели не столь уже редки, народная мудрость рекомендует привязывать рабочих канатом за пояс. Если рабочий рухнет в воду, его сейчас же вытащат.

Так поступил и Сырбай.

Время пуска совпало с половодьем реки. Освобожденная вода понеслась с такой огромной силой, что деревья, выросшие в глубине сая, были выломлены с корнями.

Дойдя до пересечения каналов, вода остановилась. Как ни силен был поток, он все-таки не мог разрушить массивную земляную преграду, ставшую на его пути. Тогда около десятка землекопов, самых сильных и быстрых, согласными ударами кетменей разрушили преграду и открыли доступ воде.

С грохотом ринулась она по новому руслу.

Поток размывал берега, поднимал со дна и нес огромные глыбы, разрушал насыпи, крушил, вырывал и катил в сердитой пене деревья.

И вот случилось так, что канаты, которыми привязаны были за пояс рабочие, почему-то ослабли. Несколько кетменщиков свалились в воду.

— Натягивай, натягивай арканы! — закричал Сырбай, который в эту страшную минуту не потерял самообладания. — Люди тонут! . .

С десяток рук вцепилось в канаты, и погибающие появились на поверхности рыжих волн. Сначала не досчитались двух. Решили: либо вода унесла, либо обвалом задавило.

Нашли уже их позже, через несколько минут. Гюльнар долго пришлось провозиться с ними, прежде чем они пришли в себя. А когда, наконец, они задышали и Гюльнар подняла голову, возле нее никого не было — ни Айбарши, ни Байжана, ни Даулета.

— Куда же они девались? — спросила она недоуменно.

— А вон пыль в степи курится...— ответили ей.

Она посмотрела туда, куда ей указывали. Там действительно курилась пыль. То всадники скакали по дороге, настегивая своих коней.

Они торопились. Им нужно было опередить поток. Там ждала их богатая добыча.

Однако все вышло не так, как думал Сырбай. Выбежало всего несколько лисиц и зайцев. Вот и все звери.

Зато змей было много. Как только вода хлынула в сай, они стали выползать в степь, но дорогу им преградил огонь. Они шипели на него, раздували шею, злоб-

но извивались и рушились, рушились на него целыми десятками. Пламя их охватывало сразу, они горели с треском, как мокрая лучина.

Насмотревшись на пожар, всадники вернулись к устью арыка. Здесь было зрелище интересное и даже необычайное. Вынырнул из Сыр-Дарьи и поплыл по арыку огромный сом.

Боже, что за суматоха поднялась на берегу! Люди кричали, прыгали, били в ладоши.

— Сом, сом,— орали ребятишки.

— Батюшки, да какой же он огромный,— ахали женщины.

— Поди-ка, поймай его! — сожалели мужчины.

— Да, дастся он тебе, как же...

Сырбай вдруг сорвался и побежал вслед за сомом. Он плыл степенно, не торопясь. Было видно, как он то пошевеливал хвостом, то поворачивал плоскую, змеиную голову и щетинился, шевеля усами.

Сырбай не спускал с него глаз. У него с сомом были свои счета. Когда-то у Сырбая воспитывался племянник — сын умершего брата. Мальчика звали Ерали. Было ему лет семь-восемь. Сырбай в нем души не чаял.

И вот однажды пришли с реки товарищи Ерали и сказали: «Твоего племянника рыба съела». Старик сначала думал, что ребята врут с перепугу, но нет... точно так и оказалось. Ребята рассказали историю гибели Ерали так подробно, что сомневаться было невозможно. Мальчика действительно проглотил сом.

С тех пор Сырбай возненавидел всю сомовую породу — он бы уничтожил их всех, но легкое ли дело поймать сома. За всю свою долгую жизнь Сырбаю они попадались дважды.

Убив их, он первым делом интересовался желудком. Однако находил в них Сырбай только сгнившие утиные и гусиные косточки да рыбьи головы.

С тех пор Сырбай мечтал поймать сома-людоеда. Сейчас он смотрел на плывущего сома и думал: «Вот такой, пожалуй, и моим мальчиком не подавился бы». Он решил не упустить чудовище и обдумывал, как это сделать. Дело в том, что, проплыв два-три километра, сом обязательно упрется в досчатую запруду и, значит, повернет обратно. Тогда можно будет и убить его.

В руках Сырбая был багор с крючками и железны-

ми шипами — специальное орудие для боя крупной рыбы. На багре этом был насажен живой сазан. Сом бросается на приманку, глотает сазана и попадается на крючок.

Боже мой, как волновались люди на берегу.

— А ну как не проглотит... — сомневался один.

— Вся музыка тогда пропала... — говорил другой.

— А если из ружья? — спрашивал третий.

— Что он, лисица, что ли? Тут невод нужен!

— Нет, этот дядя серьезный. Для него невод твой, что паутинка.

Так говорили на берегу, сомневаясь и все-таки надеясь. А сом, между тем, уже повернул обратно, подплыл к сазану и проглотил его. Сом был глупой, неопытной рыбой, но сазанов на своем веку он поел изрядно. Сом всегда чувствовал приятное тепло внутри, когда сазан проходил в его желудок. Но сейчас, когда он глотал, в горло его впилось что-то жесткое, острое и страшно болезненное. Это было совершенно новое, никогда не испытанное им ощущение, и он сначала совершенно растерялся, а потом изо всей силы стал дергаться. Однако боль не проходила. Сом обезумел, вода вокруг него кипела.

Сырбай тоже не зевал. По его команде один конец каната опустили в воду, другой подтянули к берегу и начали вытягивать. Первая часть операции прошла легко. Сом дал себя подтащить к берегу. Но только морда его показалась над водой, как он стал так извиваться, так бить хвостом, что пришлось привести двух верблюдов и только тогда еле-еле выволокли его на берег.

Он лежал на траве огромный, черный и совершенно бессильный. После первых же прыжков и судорожных конвульсий, он задохнулся и только, когда пинали его ногой, слабо и вяло шевелил хвостом, открывал и закрывал огромный рот.

— Что же теперь делать с ним? — спросил кто-то.

— Утащим домой да выгоним на пастбище, авось к зиме молочка даст, — зло огрызнулся Сырбай, свирепо глядя на чудовище. — А ну-ка, отойди прочь!

Он наклонился, вынув нож — широкий, длинный острый, как бритва. Пинком перевернул сома брюхом кверху и сильным движением раскроил его с головы до хвоста.

Нож прошел через чрево чудища, как раскаленная игла через масло.

Все смотрели на это молча. Смотрели, склонясь с лошадей, и трое всадников: Байжан, Даулет и Айбарша.

— А ну, — приказал Сырбай, — кто посмелее, пошарьте в его брюхе.

Один из кетменщиков засучил рукава, встал на колени, сунул руку в прорез и выбросил на траву, как мокрую тряпку, грязный, скользкий ком. Сырбай сейчас же разрезал его. В коме оказались кости птиц, рыбья чешуя и много всякой иной дряни. Но кетменщик все шарил и шарил. И вдруг рука его уперлась во что-то твердое.

— Нога,— сказал он испуганно и отскочил. Отшатнулись и все остальные. Только Гюльнар наклонилась над грязным комком.

Скоро груда бесформенных остатков лежала на берегу: клочья одежды, кости ног, подметки башмаков — вот и все, что осталось от маленького человека.

— Вот какие звери водятся в Сыр-Дарье, — сказал Байжан, слезая с коня. — Сколько сомов ни водится в реке, каждый из них старается проглотить человека. Но самый страшный зверь — это река! Не счесть, сколько людей проглотила она. Сегодня мы вытащили сома и распороли ему живот, — видите, какой бессильный и покорный лежит он на траве. А завтра и река эта, такая же покорная и бессильная, ляжет у ваших ног и ни ее сомы, ни она сама больше не унесет ни одной человеческой жизни, — об этом постараемся мы, большевики, а ведь это чего-то стоит, товарищи. Не правда ли?

— Правда... — закричала толпа.

— Правда, — подтвердил Сырбай.

Глава девятая

СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ !!!

ИЗ ВСЕХ кружков, организованных на строительстве, чаще всего Даулет посещал кружок русского языка и литературы.

До сих пор русский язык он знал плохо. Родился он в Сыр-Дарьинской долине, где до недавнего времени русские поселки встречались почти так же редко, как и люди, знающие этот язык. Колхоз же, в котором вырос Даулет, вообще стоял на отшибе и, кроме нескольких человек, что имели связь с городом, по-русски там никто не говорил. Не знал его и Даулет.

Вмешалась Айбарша. Заканчивая школу, она вынесла из нее порядочные знания русского языка. Говорила совсем хорошо, писала, правда, с ошибками, но с небольшими. А чем дальше, тем все лучше.

К этому периоду и относится знакомство Айбарши с Даулетом.

Они вдвоем уходили в степь, на берег Дарьи, и тут уже никто не мог помешать длинным разговорам и объяснениям. По крайней мере, так в простоте душевной думал Даулет. И все-таки помешали.

Даулет давно заметил: говорит, говорит он Айбарше о своей любви, объясняется, объясняется, а девушка сидит, кивает головой и только изредка утвердительно хмыкает.

Тогда Даулет вдруг возьмет ее за руку и спросит:

— Айым?

Она вздрогнет и вскинет голову.

— Да, да! Что ты говоришь?

Даулет возмущенно хлопает себя по коленям.

— Я ей добрых полчаса толкую, а она сидит и только головой кивает. Да ты оглохла, что ли?

Он так серьезно сердился, что однажды Айбарша созналась.

— Ты извини меня, Даукеш, но сегодня я тебя слушала плохо.

— Почему?

— Да вот видишь, книгу читала.

— Книгу читала! Ты книгу читай глазами, а меня слушай ушами.

Айбарша засмеялась.

— Какой ты! Читают книгу не ушами и глазами, а всем своим существом, всей душой, а душа, — она не терпит распыления. Вот читаю книгу и слышу голос автора. А голос у него звонкий, свежий, громкий.

Даулет совсем тогда обиделся.

— Что за слова такие говорит тебе этот бездельник,

что они заглушают мои слова — слова любви? Что может быть светлее таких слов. Говори сейчас же!

Айбарша только руками развела.

— Вот посмотри, — сказала она и подняла толстый том, — семьсот шестьдесят страниц. В каждой странице сорок пять строк. В строке десять слов. А ну-ка, помножь семьсот шестьдесят на сорок пять, а полученный результат еще раз на десять — сколько же это получится?

— Не знаю,— сознался Даулет, совершенно сбитый с толку таким поворотом.

— Давай высчитаем.

Она вынула из кармана карандаш и блокнот. Минуту молча считала, потом победоносно объявила:

— Триста сорок две тысячи! Вот сколько хороших слов сказал мне автор.

— Ой, как много...

— Много?... —Айбарша насмешливо прищурилась.— А ты сколько слов нажужжал сегодня мне в уши?

— Кто ж это скажет?

— А я вот скажу... Ты слышал когда-нибудь про стенографию?

— Не только слышал, но и видел, но что из этого?

— А вот что: стенографистки говорят, что при медленной речи человек произносит тридцать слов в минуту, при речи быстрой и порывистой — семьдесят пять, а то и сто. Теперь считай. Вышли мы из дома в одиннадцать часов, сейчас три, значит, четыре часа ты говоришь не переставая. А произносишь, ты, конечно, уже не тридцать слов в минуту, а все сто. Ты ведь и говоришь-то не по-человечески. Глотаешь середину слова, спешишь, коверкаешь окончания. Итак, сколько же ты сказал слов за эти четыре часа?

Даулет был так смущен и обижен, что даже покраснел.

— Итак, — она снова вынула записную книжку, — сказал мне ты, мой друг, сегодня двадцать четыре тысячи слов.

— Да не может быть!

— Ну ладно, — сжалилась Айбарша, — скину уж тебе четырнадцать тысяч слов. Пусть остается за тобой ровно десять тысяч. Но и этого, кажется, достаточно.

— Ещё как достаточно! — горько усмехнулся Даулет, совершенно убитый цифрами.

— Стой, но это еще не все. Уж больше года, как ты уводишь меня в степь и говоришь, говоришь, говоришь... Теперь считай, в день ты произносил десять тысяч слов, в месяц — триста тысяч, собери и издай все твои разговоры и вот к концу месяца получится такая же книжка, что у меня в руках.

— Да я бы рад издать,— усмехнулся Даулет, опять уже думая о своем, очень ему привычном и никогда не выходящем из головы.— Да вот ведь сочинителям, я слышал, большие деньги платят за их роман. А кто же мне заплатит за мой?

— Высоко забираешь, мальчик. Сначала закончи его, а потом и деньги требуй.

— Ага, — обрадовался Даулет. — Я же тебе давно говорю, давай кончать роман.

Айбарша нахмурилась: о чем ни заговоришь с Даулетом, он все сводит на свое.

— Так вот, — продолжала она, — ты спрашивал, что я за книгу читаю? Я бы и рада тебе ответить, да что толку? Ведь русскую литературу ты знаешь совсем плохо, а много ли романов написано на казахском языке?

— Полагаю, что не очень,— замялся Даулет.

— А я полагаю, что очень мало, мало. Всего с десяток. А один Толстой написал сто томов. А ты прибавь к нему еще Тургенева, Достоевского, Чехова, Горького — сколько это томов получится? А сколько книг переведено на русский с западноевропейских языков. Ну-ка, сосчитай.....

— А ты все перечитала? — с завистью спросил Даулет.

— Нет, конечно! Я больше всего читаю романы, но ведь русская литература не только состоит из романов... А ты вот и романов читать не можешь. А еще за мной руки тянешь. Как я буду жить с неучем?

— Ну, а что ж тут поделаешь? — вздохнул Даулет просто и искренне.— В ауле русских нету, учиться я не смог, вот так и вышел недоучкой.

И все-таки этот разговор Даулет не забыл. Он накупил самоучителей, словарей и весь ушел в изучение чужого языка. Потом он стал посылать на русском языке

письма Айбарше, хотя они и жили в одном колхозе. Вот одно из его писем.

«Айым!

Это письмо от Кзыл-Кум пишу я. Я здаровой. Зима хароший Скатина жирной.

Айым. Я тебя таскаваю. Ты русский язык учи сказал мене. Я здиалал. Мой слова. Ты когда здиалаешь.

Ты да я живом, как единолишник — когда живом как колхоз?

Тебя тцалует Даукеш».

Справедливости ради надо заметить, что Даулет честно усомнился, поймет ли Айбарша что-нибудь, и он на всякий случай приложил к этому письму объяснительную записку. Вот она:

«Айым, я наш уговор помню. И, как видишь, изучением русского языка занимаюсь старательно, только, что за толк от этих уроков, если нет по близости знающего человека. Слов я выучил много, связать же их не могу. Вот и ты видишь, что получается. Я даже не уверен, поймешь ли ты это мое русское письмо. Ну, поймешь, не поймешь, а, наверное, повеселишься вдоволь.

На всякий случай вот перевод: «Пишу я тебе, моя дорогая, из песков Кзыл-Кумов; сам я здоров и все у меня благополучно. Но если бы ты только знала, как я истосковался по тебе! Айым, любимая, ты велела мне изучать русский язык. Я дал тебе слово и, видишь, исполняю его. Ну, а ты когда выполнишь слово? Пока каждый из нас существует сам по себе и наши знания идут вразброд так же, как и наши жизни. Не пора ли нам объединить и то и другое?

Целую тебя твой Даукеш».

Айбарша поступила как придирчивая учительница. Она подчеркнула все ошибки письма, поправила их и послала обратно.

Второе письмо пришло от Даулета тоже с ошибками, но их было уже меньше. Третье письмо и совсем уже можно было читать свободно.

Даулет первым поднял вопрос об организации на строительстве кружков русского языка и литературы. Они были организованы на всех строительных участках и разбиты, смотря по знаниям учащихся, на несколько ступеней.

Даулет к тому времени настолько напрактиковался, что поступил в кружок высшей квалификации, в тот самый, конечно, которым руководила Айбарша.

Перед началом первого занятия Айбарша произнесла речь.

— Товарищи! Кружок объединяет рабочих и служащих нашего строительства, уже довольно свободно владеющих русским языком. Цель наших занятий — сделать их безошибочно грамотными. А это, товарищи, трудно, ибо русский язык имеет детально разработанную грамматику, в нем много отклонений и особенностей, свойственных только ему. Поэтому вот что я предлагаю кружковцам: отныне на работе, а тем более в кружке мы должны говорить только по-русски. Принимается мое условие?

— Так-то оно так! — согласились многие.— Да где слов нам столько набрать? Все-таки не родной ведь язык.

— Ничего, — сказала Айбарша. — Будем думать, прежде чем составить фразу. А и ошибемся, так беда небольшая.

На этом и договорились.

* * *

Земляные работы, начатые в августе 1940 года, продолжались до октября. Дальше работать было уже бесполезно. Замерз грунт, и кетмень не брал его.

Перед окончанием работ Даулет созвал кустовые совещания секретарей комсомольских ячеек и поставил на обсуждение один вопрос, давно волнующий его.

— Вот что, товарищи, — сказал он, — строительный сезон окончен. Но все-таки две-три тысячи человек должны остаться здесь и на зиму. И я предлагаю: пусть и комсомольцы будут в числе этих двух-трех тысяч.

Предложение Даулета встретило горячий отклик.

Зимняя работа началась, и набралось ее столько, что хоть отбавляй. Во-первых, нужно было возвести на трассе канала что-то около ста шлюзов — больших и малых. Во-вторых, надо было и переселенцам помочь устроиться на новых местах. Ведь и город и колхоз переселялись в устье Кен-Тогай.

Но чего не сделаешь с такими ребятами! Сколько бы работы ни было, ее выполняли раньше срока.

На стройке бойко работали литературные кружки. Уже порядочно кружковцев совсем свободно говорили и даже писали по-русски.

Даулет и писал и говорил едва ли не лучше всех!

Не забывали работники канала и теоретические предметы. Изучением диалектического и исторического материализма ведал инженер Байжан; изучением истории партии — секретарь райкома Рахмет; кружок же русской литературы попрежнему вела Айбарша.

О, она была завзятой «писательницей», как ее почтительно, хотя и шутливо, звали кружковцы. Еще в школе она увлекалась чтением романов. Больше всего любила она Льва Николаевича Толстого. Когда заходила речь о нем, она часто повторяла слова Ленина: «В мире ему равного нет».

— Какие образы он создает! Как точно, экономно и ясно пишет,—объясняла она своим ученикам.—Смотрите, ведь более двух тысяч страниц занимает его огромная эпопея, и ведь в ней не отыщется ни одного лишнего слова, ни одного пустого эпитета. Все они нужны, неповторимы и всегда на своих местах. Ибо они-то и создают образы, совершенно особые, толстовские образы.

— Кто не знает Толстого, — говорила она в другой раз, — тот, конечно, не может считаться грамотным человеком. Но разве русская литература это только Толстой? Толстой только один из семьи гигантов. Он первый из равных. Мы начнем с Державина и Крылова, затем перейдем к Грибоедову и Пушкину. После них пойдут Лермонтов, Гоголь, Некрасов; ознакомимся с трудами Герцена; с критическими статьями Белинского, Чернышевского и Добролюбова; занятия закончим Толстым и Чеховым. Тогда на осень 1941 года останется у нас одна советская литература.

Так и сделали.

В июне 1941 года кружковцы открыли первый том собрания сочинения Толстого.

— С чего же начнем? — спросила Айбарша.

— С романов, конечно, — ответили ей.

— А осилим ли?

— Товарищи, — вмешался Даулет. — Есть такая хорошая поговорка: «Коль уже падать, так с верблюда». Так вот, давайте уж начнем с романов, хотя бы...

— С «Войны и мира», — подсказала Айбарша.

— Что ж, прочитать-то мы его, пожалуй, прочтем, — усомнился кто-то, — а вот поймем ли?!

— Ничего, — поддержал кто-то Айбаршу. — Есть пословица: «Бил я бога сколько смог, от побоев умер бог». И Толстого осилим.

— Ой ли? — продолжал сомневаться тот же кружковец.

За Айбаршу вступились.

— Начинать с «Войны и мира» очень правильно, — горячо заговорил один кружковец. — Вот когда я учился в десятилетке, комсомольская организация обязала нас ознакомиться с русскими классиками по списку, и первым значился в нем «Война и мир». Посмотрел я — четыре огромных тома — 2000 страниц. Я и теперь-то не особенно силен по-русски, ну а тогда и совсем плавал. Однако, что поделаешь? Надо! Вот я и начал читать. И подумайте: только что прочел первые сто страниц, как с головой ушел в роман. И вот ведь что странно, сейчас я знаю значение около семидесяти пяти процентов всех русских слов, а тогда, наоборот, — я знал только двадцать пять процентов русских слов и ничего не понимал в остальных семидесяти пяти. И тем не менее вот утверждаю: до меня доходила каждая фраза, каждая сцена романа. И так я увлекся, что одолел все четыре тома за месяц.

Так как на всем строительстве имелся только один экземпляр романа Толстого и принадлежал он Айбарше, то решили читать коллективно, а непонятные места выписывать в отдельные тетрадочки и обсуждать особо. Обсуждать же весь роман в целом решили после окончания читки.

Однако только что кончили читать первый том, как уже начались бесконечные споры.

Дело в том, что книгу читал вслух агроном райземотдела Калакай Артыков. Собственно говоря на строительстве ему делать было нечего, и он вообще не показывался бы на трассе, если бы не одно обстоятельство: Калакай был влюблен в Айбаршу.

Он искал ее общества, ухаживал за ней, старался быть замеченным. Но это были жалкие и бесплодные усилия. Он уж как-то пытался свести с ней знакомство

через третьих лиц и получил резкий отпор. После этого ему следовало бы уйти, но он уйти не мог. И был так жалок и бессилен в своих неуклюжих попытках этот взрослый, уважаемый человек, что даже Даулет, наконец, пожалел его.

— Что ты его гонишь, как собаку?— говорил он Айбарше.— Хочет видеть тебя. Что ж... за посмотр денег у нас не берут. Пускай смотрит. Кому от этого вред?

Но Айбарша почти ненавидела своего докучливого ухажора. Уж слишком различны они были. Взять хоть бы то, что Калакай окончил сельскохозяйственный институт, по-русски говорил хорошо, но художественной литературой интересовался мало. Он был человек точных знаний и органически не любил все расплывчатое, необязательное.

— А что тут понимать? — говорил он про автора романа или поэмы.— Надумает, что ему в голову придет, на бумагу переложит и, пожалуйста,—читайте да деньги платите. Ох, какие вруны они все! Пишут, пишут, а что они пишут, и сам чорт не разберет.

Он и в самом деле не верил ничему из написанного. Когда при нем хвалили такое-то произведение, такую-то книгу, он брал эту книгу, внимательно прочитывал несколько первых страниц, потом внимание его слабело, он уже не читал, а только бегло листал, а потом и листать переставал, просто забрасывал книгу куда-нибудь подальше. То ли дело монография по вопросам органической химии или годовой комплект журнала «Почвоведение» — вот это чтение.

Что же после этого ему было делать в литературном кружке? Но сила привязанности к нелюбившей его девушке была настолько велика, что именно в этот кружок он и записался чуть ли не первым.

Узнав об этом, Айбарша вспыхнула и сказала что-то резкое. Вмешался Даулет.

— Раз он тебе не мешает, пусть ходит и делает, что ему хочется.

Вот Калакай и стал ходить на занятия. Но это ему обошлось не дешево. Знали его как парня дельного, практичного, суховатого и вдруг узнали его как безнадежно влюбленного. Это вызывало самые колкие шутки и намеки.

— Ага,— злорадствовали товарищи,— теперь убедил-

ся, что это за любовь и какая она бывает! Ведь на тебя, небось, и смотреть не хотят, а ты таскаешься, как ишак.

Калакай молчал. Как было сознаться, что он и безнадежность своих усилий понимал и остановиться уже не мог.

Калакай знал русский язык не хуже, чем казахский. Он был детдомовцем, а они все бойко говорили по-русски. Поэтому он и русские книги мог читать вслух быстро и без акцента. Его беглое чтение и правильность произношения слов были скоро оценены по заслугам. Ему предоставили читать Толстого постоянно и вне всякой очереди. И он читал его громко, ясно и четко. Ведь это был его путь к сердцу Айбарши.

21 июня 1941 года чтение затянулось. Все слушали с большим вниманием, и когда Калакай прочитал: «Князь Андрей в числе других безнадежно раненых был сдан на попечение жителей» — и закрыл книжку, в комнате наступило молчание. Захваченные событиями, изложенными в романе, слушатели долго молчали.

Первым прервал молчание сам Калакай.

— Ну, хватит, товарищи! Расходиться пора! Что же, умирать и нам из-за того, что этот князь умер?

— Да он не умер,— ответили ему.— Вот дойдем до второго тома и он возвратится домой.

— Как же так?

Рассказчик открыл было рот.

— Ну, нет, так не годится,— вдруг решительно встала Айбарша.— Никаких пересказов, товарищи. Читать так читать. Давайте решим: будем расходиться или посидим еще немного? О прочитанном поговорим?

Решили поделиться впечатлениями.

— Кто первый? — спросила Айбарша.

После довольно длительного и смущенного молчания, поднял руку один из кружковцев — Естай. Все обернулись к нему. Он был невысокого роста, но крепок, плотен, плечист и даже довольно интересен, хотя у него и не было одного глаза. Был он участником финской войны, и грудь его украшали два ордена. В армии он был политруком роты, и это его приучило к большой самодисциплине.

Приехав на строительство, он так и вцепился в учебу. Не было кружковца активнее его, но о чем бы он

ни говорил, чтобы ни спрашивал, все сводилось у него к войне. Вот почему и наступило веселое оживление, как только он поднял руку.

— Товарищи, товарищи,— прикрикнула Айбарша.— Сначала послушаем, а потом будем смеяться. Говори, Естай...

Но только Естай открыл рот и сказал что-то, как засмеялись опять. Добродушный Естай обиделся по-настоящему.

— Ну, и смейтесь одни, а я ухожу,— и он решительно встал с места.

В это время вошел Байжан. Естай сейчас же послушно опустился на прежнее место.

Байжан остановился около двери, оглядывая кружковцев.

— Здравствуйте, товарищи. Что так поздно засиживаетесь? — спросил он.

— Да вот,— сказала Айбарша,— только что закончили первый том «Войны и мира».

— Ага, значит сейчас обмениваетесь мнениями... Что ж, это интересно. Почему же молчите тогда? Товарищ Естай, вы слово взяли?

— Я хотел сказать,— начал Естай очень нерешительно. Он боялся, что как только заговорит, опять начнут смеяться.— Вот Андрей Волконский попадает в плен к французам, а французский император Наполеон велит своему придворному вылечить его. Как же это так?

— А потому это так, что это был не кто-нибудь, а Наполеон,— ответил кружковец Бегимбет.— Наполеон был умницей, а умный человек зря зла не сделает.

— Удобная философия... Откуда только ты ее набрался? — презрительно заметил Естай.— А как, по-твоему? — вдруг спросил Естай. — Маннергейм умный или дурак?

— Вот еще спросил! — пожал плечами Бегимбет.— Был бы дурак, так не управлял бы целым государством. Да к чему тебе это?

— А вот к чему! Знаешь ли ты, что он делал с нашими пленными!

— Еще бы не знать. Ты об этом все уши нам прожужжал.

— Отвечай, отвечай, когда спрашиваю... Отвечай, знаешь?

— Знаю, знаю, на то он и Маннергейм. Он ненавидит наших людей и потому старался уничтожить их, сколько только мог. Хватит с тебя?

Нет, нехватит. Слушай дальше. В семидесятом году, после седанского разгрома, когда немцы захватили более ста тысяч пленных французов во главе с императором Наполеоном III...

— Эй, эй, товарищи, вы уж бог знает куда залезли, — крикнул кто-то из кружковцев.— Начали с литературы, а кончаете каким-то третьим Наполеоном.

Естай, словно не слыша, повернулся к Бегимбету.

— Так вот, этого самого императора Наполеона III вызвал Бисмарк в Берлин и устроил ему парадный прием. Знаешь ты это?

— Знаю,— с разбегу ответил Бегимбет. Все сразу поняли: именно этого-то он и не знает.

— Теперь я спрошу тебя: участвовал ли Бисмарк в разгроме Парижской коммуны и массовых расстрелах или нет?

— Участвовал! — наугад ответил Бегимбет.

— И причина этого лежит... ну, в чем она лежит? Говори! Говори!

— Да я уже сказал тебе об этом. Что ты лезешь?

Назревала ссора. Естай сжал кулаки.

— Стойте, стойте,— сказала Айбарша.— Это что еще такое? Говорите спокойно или прекратите разговор вообще.

— Да, пора кончать базар,—поддакнул Калакай.— У нас не политчас. Бисмарк да Маннергейм, а ведь мы о «Войне и мире» говорим. Давайте либо о романе говорить, либо пойдем спать.

Вмешался и Байжан.

— Естай, ты что все-таки хотел сказать?

— А вот что, Байжан-ага. Но прежде разрешите спросить вас прямо: будет война или нет?

Наступила тишина.

— Нашел что спросить! — пробурчал кто-то.

— Каркай, каркай! — огрызнулись из другого угла, — накликай беду на свою голову!

— От нее, товарищи дорогие, не убежишь, — вздохнул Естай.— Ведь каждый из нас думает об этом, а спросить боится... А вот я спросил. Байжан-агай, так что вы скажете?

Байжан ответил не сразу. Он знал, что война неизбежна и даже понимал, с кем именно она начнется. Но не говорить же об этом здесь.

— Видите, вся Европа уже охвачена огнем. Пылают Азия и Африка. Вполне возможно, что это пламя перекинется и на наш дом. И тогда тяжесть войны выносить на своих плечах придется, конечно, нам — людям молодого поколения. Но об этом я буду беседовать на занятиях своего кружка. А сейчас я гость и только слушаю других.

— Нет, нет, говорите,— заторопил его Бегимбет (он боялся, как бы его снова не начали спрашивать о Бисмарке и Наполеоне).— Есть пословица: «Когда приходит рулевой, так уходи с весла долой». Вы рулевой и только вы сумеете ответить на вопрос Естая. Не так ли, товарищи?

Все взгляды были устремлены на Байжана.

— Ну, что ж, могу сказать я только одно: пока мы еще ни с кем не воюем,— начал он.

— Пока! — крякнул кто-то в углу.

— И не бойтесь, канал-то мы успеем закончить,— успокоил Байжан.

— Вот оно что! — догадался кто-то. — Значит, она на носу...

— С Англией, что ли? — спросил тот же голос.

— Что?

— Воевать-то, говорю, с Англией?

— С Германией,— ответил кто-то другой.

— А договор как же? — спросили с несмелой надеждой.

— Договор договором, а воевать придется. Вон ведь пишут газеты; сосредоточивает она войска у нашей границы... Даром что ли она это делает?..

Начался беспорядочный, нескончаемый, нелепый спор. Только и слышалось: «Англия», «Германия». Никто не слушал друг друга. Каждый отвечал на вопросы, которые никем не были заданы. Словом, всяк «погнал своего верблюда вскачь», как говорит пословица. И, вдруг, перекрывая шум, раздался из угла голос Акпана — участника финской кампании.

— Эй, прекратите шум!

Пока все кричали да спорили, он стоял около стенного репродуктора и слушал.

Было уже светло.

— Что ты кричишь? — обернулись к нему.

— Молчите, сейчас он повторит еще раз, — крикнул Акпан.

Все замолкли и над головой их пронесся металлический голос диктора.

— Слушайте, слушайте... Сегодня в 8 часов утра будет передаваться важное правительственное сообщение...

— Ну, вот это самое и есть,— зловеще сказал Естай, вставая.— Война...

На него зашикали и закричали. Но снова раздался тот же сухой и трескучий голос.

— Вот увидите,—сказал Естай и зло сжал кулаки. — Война! Война с Германией...

На этот раз ему никто не ответил. Каждый, опустив голову, думал о своем.

Глава десятая

„В ТОТ ДЕНЬ"

В ПРЕДЫДУЩИХ главах нашего романа мы познакомили Гюльнар с Байжаном, заставили их влюбиться друг в друга, поженили их и перешли к другим героям повествования.

Читатель, который слово «герой» понимает прямолинейно — раз герой, значит он—центр, значит и весь рассказ про него одного должен быть, может на нас посетовать.

— Дорогой писатель,— скажет нам такой читатель,— я все-таки не вполне понимаю ваши замыслы. Из-за чего же огород было вам городить, если под конец действие сползло на описание каких-то случайных лиц, второстепенных героев, событий мелочных и малозначащих?

Вряд ли могли бы мы полно ответить на этот вопрос, если бы на жизненном пути Байжан и Гюльнар не встало страшное препятствие — война. Не было бы ее и романа, пожалуй, не было бы, ибо роман—это почти всегда коллизия, конфликт, трагедия, а если в нашем романе

только свободная, счастливая любовь, хорошая, крепкая семья, здоровые нормальные люди, то где же здесь возникнуть «роману» в классическом смысле этого слова?

Но вернемся все-таки к нашим героям.

Через десять месяцев после брака у Гюльнар родился сын. В честь новорожденного была устроена пирушка — шильдекан, как называют это торжество казахи.

Начали думать да рядить, как назвать новорожденного.

— Пусть будет наш мальчик славным на весь мир,— сказал один.— Предлагаю назвать его Искандером. Так на Востоке звали Александра Македонского.

— Не годится,— возразили ему,— царь он всегда царь. Назовем мальчика Маратом. Хорошее имя...

— Хорошее-то хорошее...— вмешался третий,— да уж больно много среди казахов появилось Маратов. Что ни мальчик, то Марат... В Кзыл-Орде половина юношей — Мараты. Уж на что мы захолустный район, а пять-шесть Маратов и у нас найдется. Я вот что предложу: самую высокую горную вершину казахи называют Аскар. Так зовут и крупнейшего поэта, родившегося в нашей области — Аскар Токмагамбетов. Лучше этого имени, по-моему, не придумаешь.

Зашумели снова.

— А, по-моему, давайте мать спросим. Может быть, у ней есть какое-нибудь свое имя?— заметила одна из женщин.

Гюльнар поднялась со своего места.

— Я вот что хочу сказать,— произнесла она негромко.— Большое спасибо всем, кто хочет счастья нашему ребенку, ибо назвать красиво—это и есть пожелать счастья. Но ведь вот беда — если я приму предложение одного, другой обязательно обидится. А у меня имеется свое имя. Я хотела бы назвать своего сына Бахытжан.

Так и назвали ребенка Бахытжан — счастье души.

Итак, родился сын, он еще крепче привязал супругов друг к другу. Налицо счастливая советская семья.

Но где же, однако, здесь роман?

Перед самыми родами к Гюльнар пришла жена Сырбая, Тарбия.

— Вот, дорогая,— сказала она еще на пороге.— Ребенок-то у тебя первый, ты и обращаться с ним не уме-

ешь... Меня мой старик и послал к тебе. «Вези, говорит, Гюльнар, к нам, все-таки за ней глаз будет...»

Гюльнар к старикам не поехала — к ее услугам была районная больница. Но с этого дня Тарбия осталась в ее доме и сразу же начала нужные приготовления. Сильное материнское чувство было у этой стареющей женщины; опытнее ее няньку трудно было себе и представить. Она умела и покормить ребенка и занять его так, чтобы он не плакал. Она совершенно избавила Гюльнар от всякой неприятной возни и волнений. А той только этого и надо было.

Так под присмотром этой опытной, старой женщины родился и вырос сын Байжана — Бахытжан.

Но разве все это роман? Читатели могут мне сказать:

— Хорошо, товарищ писатель! Пусть будет по-вашему: это роман, но не мешаете ли вы жанры? Не идиллию ли вы предлагаете мне в самом деле? Ни в работе Байжана и Гюльнар, ни в любви их, ни в рождении их ребенка нет ничего подлинно романтического. И вы их называете героями вашего романа? Так неужели всякая встреча мужчины и женщины уже достаточна для написания романа?

Нет. Я думаю иначе... Романтика — это, конечно, не гладкая дорога, по которой идут рука об руку влюбленные; романтика — это борение двух воль, это встающие на пути и все время побеждаемые препятствия, это горе и радость, разлука и свидание. Правда, преграды у нас особенные; во всяком случае, это не политические, экономические или расовые барьеры. Конечно, ни цвет кожи, ни разность состояний не встанут на пути влюбленных, если эти влюбленные живут в нашей стране. Но где же тогда условия для зарождения романа, да еще любовного романа.

И на это я отвечу. Пусть ни политические, ни экономические, ни религиозные противоречия не стоят на пути влюбленных, но разве это все! А ревность, например? Неужели и ее надо скинуть со счетов? Скажем, два парня любят одну девушку. Но девушка любит только одного из них. Вот вам и почва для всевозможных психологических и бытовых коллизий. Захочет ли несчастливый отступиться от любимой? Не станет ли он мстить сопернику? А если станет, так чем это кончится? Господи, да

мало ли что может возникнуть из этой путаной ситуации.

Хорошо, скажет читатель, но тогда что же вас заставляет отойти от этой, вами же намеченной схемы? Два основных героя вашего романа полюбили друг друга чуть ли не с первого взгляда. Любовь их — легкая, свободная. Родители не только не мешают, наоборот, содействуют браку. Герои могут свободно жениться и, действительно, женятся... Так какие же это герои романа, этакие счастливые, спокойные, уравновешенные люди? О чем здесь читать? Мало ли счастливцев на свете?

Я бы, пожалуй, и затруднился удовлетворить законные сомнения читателя в романтичности моих героев, если бы на их молодые головы, как и на головы людей всего Советского Союза, не обрушилась Великая Отечественная война. Нормальное течение их жизни было нарушено.

Нарушилась и линия моего рассказа.

...В клубе на занятии кружка было очень тихо. Все сидели молчаливые, задумчивые и встревоженные; вопросов было много, но каждый боялся говорить.

Прозвучала сирена подошедшей машины.

— Пора, товарищи! — бодро сказал Байжан и встал. — Вот уже и солнце взошло. Остальное прослушаем на участках.

Кружковцы стали выходить на улицу. Байжан вышел последним. Он оперся о крыло машины и стал молча смотреть вдоль трассы. Надо бы было заглянуть к землекопам и посмотреть, как спорится работа у них, но... Вспомнив о радио, он решил, что лучше всего съездить в райком и узнать там, в чем дело.

Добравшись до Алмалыка, он прежде всего забежал домой узнать о здоровье сына. Детей он любил страстно, а в своем ребенке души не чаял. Уедет он бывало по делам куда-нибудь, и вот уже через несколько часов чувствует, что ему не по себе, что все валится из рук. Тогда он торопится вернуться домой. Если сын не спит, он возьмет его и начинает играть с ним; если же спит — подойдет, наклонится над коляской, полюбуется и уйдет на цыпочках.

Когда Байжан возвращался поздно, он обыкновенно стучал в окно комнаты Анатолия Кондратьевича. Старик спал чутко, по-птичьи. Достаточно было прикоснуться

согнутым пальцем к стеклу, как он вскакивал и, набросив старенький халат, трусил открывать дверь.

Сегодня было иначе. Машина не успела остановиться, как выскочила на порог Тарбия. Она была одета, да и лицо у нее было незаспанным, стало быть, она и не ложилась.

«Слушали радио», решил Байжан и вылез из машины.

— Апа, — сказал он, захлопывая дверцу, — что вы так рано?

— Да вот не спится что-то, — ответила Тарбия.

«Знает!» — подумал Байжан и пошел к двери.

Только вошел он в кабинет, как зазвонил телефон. Байжан быстро поглядел на стену: в соседней комнате спал сын. «Как бы не разбудить». Он заслонил ладонью слуховую трубку.

Звонил Рахмет.

— Ты радио слышал? — спросил он без дальних слов.

— Да.

— Ну и что же?

Байжан хотел ответить, но в это время скрипнула дверь. Из разных комнат вошли Анатолий Кондратьевич и Гюльнар. На руках жены был Бахытжан.

«Значит, слышали, тоже тревожатся», — вновь подумал Байжан.

— Агай, — сказал он в трубку, — где вы сейчас находитесь?

— В райкоме.

— Еду к вам.

Бахытжан вдруг протянул руки к телефонной трубке и заулыбался. Был он здоровым мальчиком с толстыми ручками и ножками как бы перетянутыми тонкой ниточкой. Сейчас он весь тянулся к отцу и улыбался.

Байжан был встревожен. Он понимал, что если мать сейчас принесла сына в кабинет, то это не спроста.

Так оно и было. Смутное предчувствие владело Гюльнар.

Обычно в этом доме засыпали поздно — ведь мужчины возвращались только к утру. Женщины, ожидая их, проводили ночи за длинными беседами; рассказывали часто они друг другу и сказки.

Каких только сказок не знала Тарбия! «Тысячу и од-

ну ночь» она выучила, например, чуть ли не наизусть. А рассказчица она была замечательная. И еще одно сближало их: обе любили чай.

С вечера ставился пузатый никелированный самовар. Он был так потерт и смят, что во многих местах выглядел просто желтым. Самовар этот принадлежал еще ее матери. То был хороший, надежный самовар! Не успевали женщины перекинуться несколькими словами, как он уже закипал.

Тогда на кухне накрывался стол, ставилась посредине его широкая ваза, в которую накладывали горкой пастилу, садились за стол. Пили душистый чай со сливками, ели пастилу.

Вечером памятного дня, уложив спать Бахытжана, Тарбия также поставила самовар, заварила чайник и начала рассказывать какую-то хитрую сказку. Гюльнар сидела, опустив голову, и молчала. Тарбия сразу поняла: у нее что-то на сердце.

— Гюличка, да что с тобой?—спросила она тревожно.

Гюльнар подняла глаза.

— А, что такое, апа?

— Не нравишься ты мне сегодня. С чего это ты такая? Съела что-нибудь нехорошее?

— Нет, апа, просто что-то на сердце тревожно...

Посидели. Помолчали.

— Апа, я пойду лягу,— сказала вдруг Гюльнар.— Попробую уснуть.

— Иди, милая, иди. Приляг и все пройдет.

Гюльнар ушла.

Тарбия посидела еще немного, а потом поднялась и тоже пошла к себе. Очевидно, беспокойство Гюльнар передалось и ей. Она попробовала заснуть и не могла. Тогда она встала и пошла к Гюльнар.

Та одетой лежала поверх одеяла, держала в руках какую-то книжку, но глаза ее смотрели в потолок.

— Ну, как, милая?— тихо спросила Тарбия.

Гюльнар попробовала улыбнуться.

— Ничего, ничего,— ответила она.

«Ничего-то, ничего,— подумала Тарбия,—а вот не спишь все-таки. Значит, что-то не так».

Еще помолчали.

— А ты что не спишь, апа?

— Да вот пришла у тебя Бахытжана взять. А ты поспи лучше.

За окном послышался конский топот.

— Отец!— сказала Гюльнар и встала.

Так и есть: приехал Анатолий Кондратьевич и сразу же прошел к себе.

Тарбия начала возиться с ребенком. Сменила ему пеленки, положила в коляску и повезла в свою комнату.

Уже засыпая над коляской, она услышала, как скрипнула дверь.

Зашла Гюльнар.

— Что тебе, милая? — спросила Тарбия, поднимая тяжелую голову.

Гюльнар села на край ее постели.

— Да вот все не усну. Сердце что-то томится. Так стучит, так стучит, будто кто в пустой комнате ходит.

— О господи! — прошептала Тарбия и быстро спросила, не болит ли что у Гюльнар.

Та молча покачала головой.

— Господи, да что ж это такое? — воскликнула тогда Тарбия уже совсем тревожно. Гюльнар опять промолчала.

Так и тянулась эта мучительная ночь без сна и покоя.

Бархатные шторы висели на окнах комнаты, и тревожный полумрак царил в ней все время. Женщины так и не заметили, как наступило утро. Гюльнар посмотрела было на часы, но стрелки показывали что-то совершенно несуразное (их забыли завести). Она встала и пошла.

— Куда это ты? — окликнула Тарбия.

Гюльнар не успела ей ответить, как из репродуктора отчетливый голос диктора передал: — Слушайте, слушайте...

Прямая и неподвижная, с расширенными зрачками, Гюльнар стояла и слушала.

— Сегодня в 8 часов по московскому времени будет передаваться важное правительственное сообщение...

Радио замолчало и через полминуты повторило снова.

— В 8 часов... правительственное сообщение...

Гюльнар выключила радио и вернулась к Тарбии.

— В восемь часов будет важное правительственное сообщение, — сказала она ей. Тарбия махнула рукой.

— Мало ли что там они говорят, — сказала она равнодушно, — на то оно и поставлено, чтобы говорить.

Зашумела подъехавшая машина, и Тарбия встала, чтобы отворить дверь.

Наверное, приехал расстроенный, — подумала Гюльнар о Байжане. — Ведь он слышал радио...

Каждая женщина уверена, что как бы ни был расстроен муж, ему сразу легче, если он увидит ребенка. Вот Гюльнар и понесла к Байжану сына.

Когда она вошла, Байжан уже разговаривал по телефону. Ребенок заулыбался ему и протянул обе руки. Этого было достаточно, чтобы Байжан, на секунду забыв обо всем, тоже протянул к нему руки. Бахытжан болтал ножками. Байжан осторожно взял сына и поцеловал в нос.

В это время снова зазвонил телефон.

— Вот опять беспокою тебя,—сказал Рахмет.—Слушай...

— Да, да, Рахмет-ага, я слушаю.

— Быстро приезжай в райком.

— Хорошо, — сказал Байжан. Молча оделся и тут же вышел.

В кабинете первого секретаря райкома уже собрался народ. Человек десять сидели или стояли около стен, слушая Рахмета. Байжан кивнул им головой и опустился на единственный свободный стул около двери.

— Товарищ Байжан, — сказал Рахмет, — ты особенно не рассаживайся. Только что звонили из обкома: за нами выслан самолет... Летим в Джусалы, а оттуда сейчас же в Кзыл-Орду.

— Зачем?

— Там и узнаем. По телефону говорить об этом было неудобно, не хотел, чтобы ты всполошил всех домашних.

Когда все пошли к дверям, Байжан возвратился, как будто забыл что-то, подошел к телефону, взял трубку, но только подержал ее, а говорить не стал. Опять пошел к двери, но не выдержал и снова возвратился к столу.

Вызвал квартиру — ответа не последовало. Снова вызвал и снова никто не ответил.

— Абонент к телефону не подходит, — сообщила телефонистка.

— Как так?—крикнул Байжан.—Позвоните еще раз...

— Не отвечают, — повторила телефонистка и замолкла.

Байжан вышел из комнаты. Члены райкома уже стоя-

ли на крыльце, следя за самолетом, который кружил над посадочной площадкой.

Самолет здесь не был редкостью. Здесь проходила почтовая авиалиния, и каждый день самолеты снижались, чтобы забрать почту. Кроме того, постоянно работало шесть санитарных самолетов.

Сыр-Дарья, разливаясь в половодье, образовывала здесь сначала озеро, которое стояло с весны до средины лета, а потом, когда оно высыхало, — обширный луг, заросший до полной непроходимости тростником и болотными травами. Это было поистине проклятое место.

Только заходило солнце, как вся мелкая летучая нечисть — малярийные комары, микроскопическая мошкара — целые тучи ее — поднимались из зарослей и летели в аул, на пастбища. Люди спасались только дымом. Они окуривали комнаты, поля, сады. Но разве спасешь себя и свою скотину от нашествия такого врага! Скот худел, люди болели.

Казахи любят говорить: «На Дарье тысяча бед — от одной у нас житья нет». Если же спросить, что эта за беда, то старики ответят: на полях столько комаров, мошкары, муравьев и змей, что после захода солнца лучше и не выходи в поле... На берегу же Дарьи их в тысячу раз больше.

С этой тысячеголовой бедой жители Сыр-Дарьинской долины борются так: ранней весной поджигают сухие камыши и тогда вся еще не успевшая окрылиться «беда» сгорает. Но ведь горит только камыш, выросший в сухом месте. Тот же, что растет в воде, и вовсе не горит. Следовательно, не может и огонь помочь беде жителей.

Но вот летучие отряды Осоавиахима пришли в эти места. Звено из шести самолетов, избравшее своей базой Алмалык, целый месяц обрабатывало окрестность. Сперва подожгли камыши, затем осмотрели места пожарища и там, где осталась зелень, обработали землю ядом. И мошкара исчезла. Стало возможным на ночь не закрывать окна; скотина быстро оправилась, коровы стали тучнеть, давать больше молока.

— Через два года мошкары и совсем не будет, — хвалились работники санотряда.

Затем они произвели еще более тяжелую и кропотли-

вую работу: продезинфицировали жилища колхозников, обработали каждую дыру и щель. Домашние паразиты также исчезли.

— Мы так и всю тысячу бед ваших ликвидируем, — шутили работники отряда.

Самолет поэтому не был редкостью в Алмалыке. Только дети еще обращали внимание на регулярный отлет и прилет красивых серебристых птиц. Но сейчас у каждого дома собрались люди. Запрокинув головы, они следили за самолетом.

Сообщение всколыхнуло весь аул. Радио слышали все. Ложась спать, колхозники включали репродуктор. После двенадцати часов радио смолкало и снова начинало говорить только на заре. Это значило — надо вставать, собираться на работу.

Сегодня радио оповестило всех о важном правительственном сообщении. И сразу все встревожились.

— Это не к добру...

Все оставшиеся дома — старики, дети, нетрудоспособные женщины, — как только послышался гул самолета, выбежали на улицу и, задрав голову, следили за его кругами.

Вышел со своей семьей и Анатолий Кондратьевич.

Самолет опустился на большой площади против райкома. Толпа райкомовцев вышла из здания и направилась к самолету. Среди них был и Байжан.

Гюльнар обернулась к Анатолию Кондратьевичу и хотела что-то сказать вполголоса, но голос ее дрогнул, и она, неожиданно для себя, крикнула:

— Папа!

Анатолий Кондратьевич оглянулся.

Лицо дочери было белым и страшным своей неподвижностью. Только губы нервно вздрагивали. Анатолий Кондратьевич подошел и взял ее за руку.

— Милая, что такое? — спросил он нежно и тревожно.

— Папа, — повторила она. — Кажется, и Жан улетает?

— Нет, не может быть! — растерялся близорукий Анатолий Кондратьевич.

— Он там! Вон он идет! — крикнула Гюльнар и быстро пошла к самолету. Она бы и побежала, если бы прилично было ей, доктору, бежать, как девчонке, на виду

у всех. Она так спешила, что задохнулась на полдороге, остановилась и стала смотреть.

Гул самолета усилился, от него вдруг отделилось облако пыли. Люди шарахнулись в разные стороны.

Улетает, подумала Гюльнар и схватилась за сердце, почувствовав, что оно готово выскочить.

Самолет сорвался и, как журавль, готовый к полету, побежал качаясь по полю. Скоро он уже летел, набирая высоту.

Гюльнар оглянулась. Люди стояли стеной неподвижно и безмолвно.

Глава одиннадцатая

ЧАСЫ РАЗЛУКИ

КОГДА Байжана спрашивали, почему он так растерялся, когда его назначили начальником строительства, он только пожимал плечами.

— Я и сам не могу теперь понять, почему... просто по глупости. С студенческой скамьи и вдруг такой масштаб работы...

Строительство уже подходило к концу и ни разу не пришлось ему пожалеть о своем назначении.

— Да, — говорил он медленно и задумчиво, — боялся трудностей. А их и не оказалось. Была бы нехватка рабочих рук, нехватка материалов, инструментов, средств, тогда пришлось бы изворачиваться... Но ведь у нас и того, и другого, и третьего было вдосталь.

— Сейчас, когда я гляжу на строительство, мне представляется огромный завод, где все действующие силы согласованы. Я на таких заводах бывал и помню, с каким почти религиозным чувством я смотрел на огромные турбины и станки, каждое движение которых совпадало и предопределяло работу друг друга. Движение одного колеса сейчас же сказывалось на тысяче других. Вот точно так же и нам удалось достигнуть этой строжайшей согласованности.

— И еще одно поразило меня на этих больших московских заводах. Бывало я знал, что в таком-то цеху ра-

ботает столько-то тысяч человек. А я хожу по этому цеху и не вижу эти тысячи. Только потом, когда приглядишься, то замечаешь людей. Оказывается, что машины так подавляют ваше внимание, что вы не смотрите на людей, не замечаете их. Совсем другое на строительстве. Там сразу бросаются в глаза именно живые люди. Скажем, в таком-то большом заводе беспрерывно вводится в действие сорок тысяч механизмов. На канале же вместо этих механизмов и агрегатов работают сорок тысяч человек. Но согласованность их работы такова, что кажется пущен в действие один огромный механизм с сорока тысячами деталей.

— А экскаваторы? Они ведь есть у нас? Да, есть. Но чтобы поднять всю работу, таких экскаваторов нужно не менее трехсот. Беда даже не в этом. Все равно одними экскаваторами канал не прорыть. Ложе канала гораздо уже, чем расстояние между его краями. Кроме того, стенки канала не должны быть слишком отвесными, иначе бешеный напор потока подмоет и обвалит их. Если же они будут вырыты под углом, разрушительное действие воды будет смягчено. Но именно так и не умеет рыть экскаватор. Далее. Уже на двух-трехметровой глубине грунтовые воды превращают землю в болотистую топь, — экскаватор в такой почве работать не может. Таким образом, основное — работа вручную.

— Мы используем только двадцать экскаваторов для прокладки профиля канала и то на глубине не свыше трех метров. А это только начальная стадия работы. За экскаватором идут землекопы, которые и заканчивают все. Теперь считайте: мы должны вынуть по плану десять миллионов кубометров, за раз кетменщик выбрасывает не более пяти килограммов земли. Значит, сколько же миллиардов раз должен был бы опуститься один кетмень, чтобы вырыть канал? Говорят: «каждый по шапке земли принесет — горы вырастут». Это правильно. Два сезона мы работали на трассе канала, и знаете сколько миллионов кубометров уже вырыто? Шесть. В это трудно поверить, но это так. Значит, до уборки хлебов мы справимся и с остальными четырьмя миллионами...

— Да, сознаюсь, струсил я здорово. Такая уйма работы, такие цифры. Как со всем этим справлюсь? Но только начали строить, как мой страх как рукой сняло. Я

увидел, какие энергичные, дисциплинированные люди находятся в моем распоряжении. Все задания выполняются точно. Работают самозабвенно. Так работают, как будто праздник справляют. И я чувствовал себя, как дома, как просто председательствующим на этом празднике. Это чувство и до сих пор не покидает меня. Иногда я думаю: а что же будет, когда работа закончится и разойдется вся эта армия? Ведь я с тоски тогда умру... Затоскую...

В это-то высокое настроение Байжана и вклинилась страшная весть — война...

На аэродроме секретаря райкома и Байжана встретила машина обкома.

В кабинете первого секретаря шло заседание бюро. Говорил первый секретарь. Когда они вошли, он кивнул им головой на свободные стулья и продолжал говорить.

Речь шла о состоянии полива и прополки хлебов. Секретарь говорил долго, а Байжан слушал его и соображал. Если это в самом деле заседание бюро, то когда же начали это заседание? Неужели со вчерашнего дня они сидят здесь! Не может быть, чтобы они собрались сегодня.

Наконец, секретарь огласил список членов бюро, командируемых в различные районы области, и подошел к Рахмету и Байжану. Поздоровались.

— Ну, что у вас хорошего? — бодро спросил секретарь.

— Пока все хорошо, — ответил Рахмет.

— Отлично. А как... — и он задал сразу с десяток вопросов о посевах, о выгонах, о строительстве канала, о людях.

Вопросы секретаря были короткими, и Байжан понял, что и отвечать следует так же — коротко, ясно.

Бюро обкома заседало с утра.

Дня за два до этого секретарь выехал в обычную служебную поездку — посмотреть пастбища скотоводческих колхозов по долине реки Сары-Су. Секретарь был доволен поездкой. Пастбища были хорошими, привольными, скот, как нарочно, попадался все откормленный, здоровый.

На обратном пути секретарь заехал к большим озерам Аяк-Куль и Тель-Куль. Он знал — здесь всегда была

хорошая охота. И на этот раз он скоро набил порядочно дичи, даже чуть не подстрелил огромного кабана. Секретарь так увлекся охотой, что не заметил, как солнце опустилось за камыши и сразу стало прохладно.

Надо было возвращаться домой, но чтобы добраться до дому, следовало проделать еще верст полтораста.

Дорога проходила пустыней — ровной, однообразной и совершенно безлюдной: ни барханов, ни песчаных дюн, ни оврагов. Так и называлось это мертвое место «Дайралыктын такыры», то есть Дарийская голая степь. Дорога, еле заметная и днем, сейчас совсем терялась в темноте. И секретарь спросил шофера:

— А не заблудишься?

— Заблужусь? — переспросил он. — Да мне, если желаете знать, что по центральной улице машину гнать, что по этой пустыне. Мне глаза завяжи, я и то дом найду.

— Ну, ну, — успокоился секретарь. — Такому герою и книги в руки.

Шофер и верно чувствовал себя героем. Пока секретарь лазил по камышам да стрелял уток, он сидел перед таганком. Ощипал и выпотрошил жирного осеннего гуся, прополоскал его хорошенько, положил в котелок и начал варить обед. Гусь варился долго, а шофер тем временем все отхлебывал и отхлебывал из своей дорожной фляги, которую перед отъездом из Кзыл-Орды он наполнил водкой.

Шофер был опытный и тертый, пьянел не скоро, поэтому секретарь не сразу заметил, в чем дело. А тот между тем уже ходил вокруг машины, залезал под кузов и деловито говорил:

— По такой дороге, да если я вас дотемна домой не доставлю, так у меня права надо отобрать. Мне глаза завяжи, я и то машину в гараж приведу.

Шофер недавно женился и ему не терпелось добраться до дому. Кроме того, охота сегодня была удачной. Несколько уток да пара гусей и на его долю придется. И он уже воображал: придет домой, небрежно вывалит на пол перед женой свою добычу и скажет:

— Чорт знает, что за охота сегодня! Только промок до костей. Да и хозяин еще половину выпросил: дай,

да дай! Что ж, я такой, что отказать никому не могу, — на, бери, мне не жалко!

Молодая жена, конечно, ахнет, а он, потирая поясницу, пройдет в комнату и скажет:

— Эх, чаю бы сейчас горячего...

Между тем, секретарь забрался в машину и сказал:

— Ну, веди машину, а я хочу уснуть,— и улегся на своем пальто в кузове.

Шофер твердой рукой вел машину. Он развил такую скорость, что она гудела. «Через час буду дома»,— вяло подумал он, зевая.

Через минуту — другую он поглядел на секретаря: тот спал. «Через час и дома», — снова сонно подумал шофер и закрыл глаза.

Секретарь пробудился от сильного толчка: машина буксовала в глубоких песках. Было уже совсем темно. Шофер дышал ровно, успокоенно. Перепрыгнув к рулю, секретарь остановил машину и стал трясти спавшего.

Тот сначала мычал, а потом резко оттолкнул руку секретаря и сел, не понимая, что же случилось.

— Эх, — сказал секретарь с тяжелой укоризной, — довез ты меня дотемна!

Шофер молчал.

— Хорошо, что еще в овраг не вывалил меня, — сказал секретарь.

Шофер вскочил на ноги.

— Лучше бы мне сквозь землю провалиться, — быстро сказал он. — Лучше бы у меня голова с плеч, чем...

— Ладно, ладно, — сказал секретарь, успокаиваясь. — Скажи, где мы?

И только сказал он это, как в разрыве облаков выплыла луна и осветила пустыню. Шофер стал осматриваться.

— Вон там, — сказал он уверенно, — Кумшовы, то есть песчаный холм, а вот левее от нее — Адыркызтас — девичья гора — значит, и от дороги недалеко. Сейчас выедем! Я эти места как свои пять пальцев знаю. Через час и дома.

— Нет уж, дудки! — сказал секретарь. — Хватит с

меня на сегодня. Ложись, спи! Голова у меня только одна.

Секретарь опять быстро уснул, а шофер все ворочался и никак не мог успокоиться.

Подумать: какой он хороший шофер был! Выговоров никогда не получал, дело свое знал, даже и водку-то пил только в компании. Никто никогда его и пьяным не видел... И нужно же было ему уснуть на полном ходу...

В город они въехали рано утром.

Машина еще и остановиться не успела у квартиры секретаря, как жена уже вышла ему навстречу. Она одета и очень бледна.

— Все у нас благополучно? — с тревогой спросил он.

Она кивнула молча головой и протянула ему руку. «Нет, дома что-то неладно», — решил секретарь.

Когда они вошли в переднюю, жена включила радио. Так секретарь узнал о новости, которая к тому времени уже облетела весь город.

Скоро он был в обкоме. Прочитав шифровку, он сразу же распорядился, чтобы послали самолет за Рахметом и Байжаном.

— Так вот что, товарищи, — сказал он, задержав их после заседания бюро. — Скоро будет правительственное сообщение — война с Германией. Я вызвал вас для того, чтобы вы не допустили паники на строительстве. Наоборот, мы должны еще теснее сплотить народ вокруг партии и правительства. Все силы и средства теперь должны быть собраны и брошены на врага. Будем же бить его и пулей и хлебом. Только так теперь мы и должны рассматривать наше строительство. Канал нам теперь еще более необходим, чем когда-либо. Ведь после окончания его посевная площадь нашей области сразу увеличится на восемьдесят процентов, а хлеб — это такое оружие, без которого победить врага невозможно. И второе, вся молодежь, что находится сейчас на строительстве, будет мобилизована. Конечно, услышав о войне, кое-кто может потянуться домой. Этого не должно быть.

Рахмет и Байжан сразу же после беседы в обкоме вылетели обратно в Алмалык.

Шли дни, темпы работы не только не снижались, но и возрастали.

Все чувствовали, что обязательно будет выступать товарищ Сталин и ждали со дня на день. И вот день этот наступил.

Люди собрались на площади перед микрофоном. Стояла напряженная тишина.

Байжану бросились в глаза фигуры Даулета и Айбарши с кетменями в руках. Они стояли как всегда друг около друга неподвижные, рослые, внешне спокойные.

Между тем Айбарша волновалась, особенно с момента правительственного сообщения. Она все пристальнее и пристальнее вглядывалась в Даулета, как бы желая прочесть его мысли. Ведь его заберут в армию, думала она, сегодня или завтра, но обязательно заберут. Понимает ли он это? Даулет был спокоен, молчалив, и она ничего не могла понять.

И вот раздались первые слова сталинской речи:

— Товарищи, — сказал вождь...

Айбарша посмотрела на Даулета. Полузакрыв глаза и засунув руки в карманы пиджака, он стоял и слушал:

— Граждане, — сказал Сталин...

Айбарша снова взглянула на Даулета. Он стоял неподвижный и спокойный.

— Братья и сестры,—услышала она, и еще раз посмотрела на Даулета—лицо его теперь вдруг исказилось судорогой, четко дрожали каменные линии скул.

В Кзыл-Орде в жаркие летние дни вдруг налетает на город смерч. Загудит ветер, закрутится, словно срывая с планеты ее верхний покров, встанет высокий пыльный столб и в ясный солнечный день наступают тонкие рассветные сумерки. Тогда поворачивайся спиной к ветру и плотнее зажимай лицо, глаза и уши — иначе пропадешь. Этот смерч и вспомнила Айбарша, когда взглянула в искаженное лицо Даулета.

— Бойцы нашей армии и флота, — произнес далее родной Сталин, и Айбарша теперь не смела взглянуть на Даулета.

— К вам обращаю мои слова, друзья мои, — пронеслось над толпой, и Айбарша услышала странный звук, будто камень трется о камень. Она обернулась. Лицо

Даулета было запрокинуто, скулы напряжены. Крупные капли слез ползли по его лицу.

Она и сама плакала, но все-таки тихо сказала: «Даукеш»...

Тот только поднял и опустил бровь — «Молчи!» Он уже пришел в себя. Опять стоял спокойно и прямо.

Так они и дослушали речь Сталина.

— Понятно? — спросил Даулет Айбаршу, когда они возвращались на свой участок.

— Понятно, — ответила Айбарша

— А что именно ты поняла?

Она только плечами пожала.

— Странный вопрос, Даукеш... Как же не понять товарища Сталина. Он всегда говорит так ясно, что...

— Не о том я тебя спрашиваю... Вот мы уйдем на войну, а кто останется тут?

— Ах, вот ты о чем? — улыбнулась Айбарша. — Мы поедем на войну, а работу кончайте вы — вот что хочешь сказать ты? Так?

— Так-то так, но кто ж это «мы» — позвольте вас спросить?

— Мы — женщины, девушки, молодежь. Не так ли?

— Так, так... — похвалил Даулет.

— Не все, конечно, поедут на фронт. Кое-кого и забронируют, — сказала Айбарша, словно вскользь.

— Кого же это? — спросил Даулет.

— Кто очень нужен производству, того и забронируют.

— Хотел бы я посмотреть на такого человека, — зло ощерился Даулет.

— А вот ты и есть такой человек, — решила наконец Айбарша. — Байжан, отправляясь в Кзыл-Орду, сказал, что он запросил броню и на тебя.

Даулет даже остановился.

— Броню! А меня об этом вы спрашивали? — заговорил он гневно и быстро. — А если я не соглашусь? Мои товарищи на фронт уйдут, а я тут останусь тачки возить...

Она ничего не ответила, только глаза опустила.

Несколько шагов они прошли молча.

— Айым,— вдруг сказал Даулет голосом неожиданно ласковым и нежным.

— Что, мой Даукеш!—также откликнулась Айбарша.

— Я хочу с тобой поговорить...

Айбарша вдруг заплакала.

— Ой, что же это такое? — как-то даже испуганно, очень тихо спросил Даулет и протянул к ней руки. Она резко оттолкнула его, отошла, села на земляную насыпь, нагнула голову и закрыла пылающее лицо обеими ладонями.

Даулет обнял ее. Она была неподвижной, но он чувствовал глубокую внутреннюю дрожь, струящуюся через ее тело.

— Ну, ну, Айбарша,— сказал он.— Ну разве можно так? Ах, боже мой, да не плачь ты!.. Ну, хватит, хватит! Слышишь, Айым, хватит!

Она вдруг обхватила его обеими руками и уже зарыдала так, что ее тело затряслось в его руках.

— Ой-бой,— сказал шутливо Даулет, чувствуя себя сильным и взрослым.— Я-то думал, такая мужественная, стойкая, а она хнычет, как пятиклассница... Ай, не хорошо... Ну, ну... Успокойся... Вот будешь провожать на фронт, тогда поплачешь еще...

Айбарша отняла ладони от пылающего лица и тихо, но твердо сказала:

— И я поеду...

Даулет вздрогнул. Он знал: когда заберет что-нибудь Айбарша в голову, ничем не выколотишь.

— Да, поеду, обязательно поеду! — и встала, вынула из кармана рабочих брюк платок и, отвернувшись, стала вытирать глаза.

Даулет выждал немного и взял ее под руку.

— Айым,— сказал он.

— Что Даукеш? — спросила Айбарша уже спокойно.

— Ты слышала, Сталин сказал: «Мы победим».

Она опять кивнула головой.

— Так вот я тебе хочу сказать одно слово.

— Ну, ну...

— Война есть война. А эта война, кажется, будет особенно страшной...

Он замолчал, задумался. Несколько шагов прошли молча.

— Ну, дальше? — спросила Айбарша.

Даулета было запрокинуто, скулы напряжены. Крупные капли слез ползли по его лицу.

Она и сама плакала, но все-таки тихо сказала: «Даукеш»...

Тот только поднял и опустил бровь — «Молчи!» Он уже пришел в себя. Опять стоял спокойно и прямо.

Так они и дослушали речь Сталина.

— Понятно? — спросил Даулет Айбаршу, когда они возвращались на свой участок.

— Понятно, — ответила Айбарша

— А что именно ты поняла?

Она только плечами пожала.

— Странный вопрос, Даукеш... Как же не понять товарища Сталина. Он всегда говорит так ясно, что...

— Не о том я тебя спрашиваю... Вот мы уйдем на войну, а кто останется тут?

— Ах, вот ты о чем? — улыбнулась Айбарша. — Мы поедем на войну, а работу кончайте вы — вот что хочешь сказать ты? Так?

— Так-то так, но кто ж это «мы» — позвольте вас спросить?

— Мы — женщины, девушки, молодежь. Не так ли?

— Так, так... — похвалил Даулет.

— Не все, конечно, поедут на фронт. Кое-кого и забронируют, — сказала Айбарша, словно вскользь.

— Кого же это? — спросил Даулет.

— Кто очень нужен производству, того и забронируют.

— Хотел бы я посмотреть на такого человека, — зло ощерился Даулет.

— А вот ты и есть такой человек, — решила наконец Айбарша. — Байжан, отправляясь в Кзыл-Орду, сказал, что он запросил броню и на тебя.

Даулет даже остановился.

— Броню! А меня об этом вы спрашивали? — заговорил он гневно и быстро. — А если я не соглашусь? Мои товарищи на фронт уйдут, а я тут останусь тачки возить...

Она ничего не ответила, только глаза опустила.

Несколько шагов они прошли молча.

— Айым,— вдруг сказал Даулет голосом неожиданно ласковым и нежным.

— Что, мой Даукеш!—также откликнулась Айбарша.

— Я хочу с тобой поговорить...

Айбарша вдруг заплакала.

— Ой, что же это такое? — как-то даже испуганно, очень тихо спросил Даулет и протянул к ней руки. Она резко оттолкнула его, отошла, села на земляную насыпь, нагнула голову и закрыла пылающее лицо обеими ладонями.

Даулет обнял ее. Она была неподвижной, но он чувствовал глубокую внутреннюю дрожь, струящуюся через ее тело.

— Ну, ну, Айбарша,— сказал он.— Ну разве можно так? Ах, боже мой, да не плачь ты!.. Ну, хватит, хватит! Слышишь, Айым, хватит!

Она вдруг обхватила его обеими руками и уже зарыдала так, что ее тело затряслось в его руках.

— Ой-бой,— сказал шутливо Даулет, чувствуя себя сильным и взрослым.— Я-то думал, такая мужественная, стойкая, а она хнычет, как пятиклассница... Ай, не хорошо... Ну, ну... Успокойся... Вот будешь провожать на фронт, тогда поплачешь еще...

Айбарша отняла ладони от пылающего лица и тихо, но твердо сказала:

— И я поеду...

Даулет вздрогнул. Он знал: когда заберет что-нибудь Айбарша в голову, ничем не выколотишь.

— Да, поеду, обязательно поеду! — и встала, вынула из кармана рабочих брюк платок и, отвернувшись, стала вытирать глаза.

Даулет выждал немного и взял ее под руку.

— Айым,— сказал он.

— Что Даукеш? — спросила Айбарша уже спокойно.

— Ты слышала, Сталин сказал: «Мы победим».

Она опять кивнула головой.

— Так вот я тебе хочу сказать одно слово.

— Ну, ну...

— Война есть война. А эта война, кажется, будет особенно страшной...

Он замолчал, задумался. Несколько шагов прошли молча.

— Ну, дальше? — спросила Айбарша.

— Да, особенно страшной... Но каждый, кто идет на фронт, должен сказать себе: я вернусь обратно.

— Это правда,— сказала Айбарша.

— Значит, я буду биться на смерть для того, чтобы жить. Так вот, я хочу поставить тебе одно условие.

— С каких это пор ты со мной стал так говорить,— хмуро спросила она.

— Просьба, просьба, Айым. Не так я выразился: не условие, а просьба.

Она посмотрела ему в лицо и ей вдруг стало жалко его. То нежелание, злое напряжение, которое делало ее твердой и несговорчивой, сразу спало, она ослабла и должна была закусить губу, чтобы снова не заплакать. Но это были бы уже иные слезы, теплые, расслабляющие.

— Стыдно сказать, дорогая, а я верю в предчувствие. Вот кажется мне, что вернусь я с войны живым и даже невредимым. Ничего со мной не сделается...

— Да, да,— подхватила Айбарша,— бывают такие предчувствия. Я слышала, что они никогда не обманывают.— Ничего она, конечно, не слышала. Просто говорила так, чтобы успокоить Даулета.

— Ну, вот, видишь, — обрадовался Даулет и заговорил задумчиво и мечтательно, как будто перед ним встала какая-то чудесная картина.

— Так вот, разгромим мы врага. Через год, много через два, возвращаюсь я домой... Известил вас телеграммой — выхожу из вагона, а на перроне все мои близкие и друзья: ты, отец, матушка, дедушка Анатолий, Байжан, Гюльнар и остальные. Обнялись, поцеловались, похлопали друг друга по плечам, идем разговариваем... И вдруг я спрашиваю:

— Ну, а канал как? Закончили, наконец? И тогда кто-нибудь из вас ответит мне:

— Даулет, или Даукеш, канал мы давно построили. Вот придешь, сам увидишь все.

— Ну, ладно. Покажите мне ваш канал... Сели в машину. И вот еду я и не знаю, то ли наяву, то ли во сне я: широкая дорога, прямая, гладкая, как скатерть. А по обеим сторонам деревья, деревья... Все молодые тополя. Кончается дорога и вот оно, рисовое поле... Растет рис высокий-высокий — человеку по грудь. Колос тяжелый,

полный отражается в золотой воде. Смотрю я вдаль, где же оно кончается, это поле? Не видно конца ему: везде золотая вода, а над ней эти тяжелые колосья. Ну, тогда ты обнимешь меня за плечи и скажешь: ну, что, Даукеш, насмотрелся? Поедем дальше? Поедем, говорю, дальше. Показывай мне все свое хозяйство... Несется наша машина, гудит, и вот с разбегу влетает она во фруктовый сад... Я толкаю шофера — стой, говорю, дай осмотреться. Стоим мы под толстой изогнутой яблоней, а вокруг — и груши, и урюк, и персики, и инжир, и всякие другие плоды. Ты стоишь около меня и вдруг слышу: начинаешь мурлыкать старую узбекскую песенку:

Базара площадь широка,
Покупай мне жемчуга,
Ценней и лучше дара нет,
Чем полный фруктами пакет...

А я подхватываю уже по-казахски:

Плоды спустились с высоты,
Не тронем их — ни я, ни ты,
Рот, словно мак, и бровь дугой,
Уеду я, и ты со мной...»

Поем мы, а машина несется дальше. Вот из-за фруктовых деревьев показываются дома. Я спрашиваю: — Что это такое? А ты отвечаешь: — Это наш аул. Стой, стой, говорю я. Наш аул был на пустом месте. А ты отвечаешь: Было оно когда-то пустое, а теперь здесь сады.

Вот остановился автомобиль. Смотрю — дом стоит на холме — не дом, а дворец целый... Крыша железная, в зеленый цвет окрашена, ворота крепкие, дубовые. Подоконники резные, кудрявые, как кружева. Кругом тополя... Чей это дом? — спрашиваю. Ты говоришь: Наш... Наш, говорю. Так пока я воевал, ты... И хватаю я тебя вот так.

Даулет сделал свирепое лицо, схватил Айбаршу и стал целовать ее пылающее лицо.

— Постой, постой, — сказала Айбарша, смеясь и отбиваясь, — ведь дома-то еще нет.

— А знаешь, как пел Балуан Шолак? «Солнце ты мое, ты моя любовь.

Улыбнешься ты, а я вскину бровь...».

Ты улыбнулась, и вся моя душа радуется... Айым, вот так давай и договоримся. Я буду на фронте бить врага, а ты сделаешь все, чтобы моя фантазия осуществилась. Условимся на этом, ладно?

Он как бы мельком многозначительно взглянул на Айбаршу. Она смутилась. Скажи она — да, значит, надо остаться здесь. А она ведь только что заявила ему о том, что тоже уедет на фронт. Скажи — нет, но ведь желание Даулета, это и ее желание.

— Ну? — спросил Даулет.— Что же ты ждешь? Если ты согласна, давай руку.

Айбарша протянула ему руку. Даулет одной рукой сдавил ее пальцы, а другой обхватил за талию и прижал к себе. На этот раз Айбарша первая его поцеловала.

Так они заключили второй договор.

Глава двенадцатая

„НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА"

МНОГО разных людей на свете и всякому человеку своя особая цена.

Про одного скажут «мужчина», другого же назовут «мужем». Язык и народное сознание очень четко и ясно разделяют эти два, хоть и родственные, но все-таки достаточно разнородные понятия. Вот один — недостатками он не выделяется, достоинствами тоже не блещет — это просто мужчина. А вот другой человек крепкой воли и характера, большого сердца и еще больших стремлений, это не мужчина уже, то — муж.

«Мужчина мужчине — рознь», говорят в степях. И больше всего ценится в мужчине суровая выносливость, стойкость и решительность.

Сырбай всю жизнь считал себя настоящим мужчиной. Никогда и никто не видел, чтобы он вешал голову и, конечно, никто не мог похвастаться, что он заметил когда-либо его скупые, стариковские слезы. Не изменил он себе и в час разлуки с Даулетом.

В этот день и час он даже превзошел себя, словно закостенев в жестокой мужской жалости. И только в последние часы, когда сын стал собираться в дорогу, силы

отказали. Чувствуя, что вот-вот на глазах появятся слезы, он сурово нахмурил брови и очень спокойно сказал:

— Ну, сынок, кажется, тебе пора! Давай-ка простимся.

Даулет удивленно обернулся к отцу. А тот продолжал тем же спокойным, ровным и мертвым голосом.

— Сегодня у нас все на хлебоуборке и меня, верно, давно ждут.

— Подождут, не каплет над ними, — сердито сказал кто-то, по-настоящему раздраженный бесчувственностью старика. — Ведь не каждый день отправляется сын в армию.

— Нет, я уж и так запоздал,—угрюмо ответил старик.

Бурно заплакала Тарбия. Она уже охрипла от слез и причитаний, а теперь совершенно убитая жестокостью мужа, бросилась к своему пасынку и обхватила его плечи.

— За-по-здал! Ты уже запоздал! — зло прокричала она.

Мачеха души не чаяла в своем пасынке, и Сырбай отлично знал это, но сейчас он сказал грубовато, успокоительно.

— Ну, ну, чего раздулась, как пустой пузырь. Сын едет воевать, а ты ему на голову беду накликаешь. Замолчи!

Старик знал свою жену. Хотя говорил он сурово, но эти слова были единственно нужными сейчас. Услышав то, что она беду накликает, Тарбия замолкла. Тогда Сырбай добавил еще:

— Беда-то еще за горами, а она ревет, как над покойником.

Тарбия вздрогнула. Она плакала от горечи разлуки, от тоски по любимому, от сознания наступающего одиночества. Теперь же ей представилось и то другое, страшное, о чем она старалась не думать.

А Сырбай неумолимо продолжал:

— Ты подумала хоть, куда идет твой сын, и может ли он не итти туда? Нет? Ну и молчи, и не зови беду. Дай-ка лучше свое материнское благословение. А то надулась, как голубь. Благослови его на прощанье и проводи с легким сердцем.

Он сердито посмотрел на гостей. Со всех сторон зашумели.

— Молодец старик!

— Вот это разговор!

— Хорошо говорит! Правильное говорит!

Сырбай расстегнул пояс, добротный, широкий, еще отцовский. Некогда он сверкал серебряными бляшками, теперь же бляшки почернели и пояс померк. Со всех сторон на хитром поясе этом висели петельки, приспособленные для ножей, крючки для пороховых мешочков и для кисета с дробью, торчали кремневые секачи и многое другое, потребное в степях и на охоте. С этим поясом Сырбай не расставался всю жизнь и теперь, когда он взялся за пряжку, собравшиеся решили: «Снимает жупан никуда, значит, не поедет, дома остается».

Сырбай снял ремень, надел его себе на шею и сказал:

— Ну, сынок, помолимся! — и поднял сложенные вместе ладони.

Потом склонил голову, зажмурился, побыл так с минуту и только тогда заговорил.

— Сын мой, в старину говорили уезжающему: «Да пошлет тебе легкий путь и удачу святой Кыдыр». А я тебе еще вот что скажу: помни, что говорили деды наши про мор и недород. «Пусть сорок лет продлится он, умрет лишь тот, кто обречен». Да будет же Сталин сопутствовать тебе в ратном пути! А где он — там и удача! Ну, а теперь...

Сырбай встал и начал подпоясываться.

— Я ухожу, а ты следуй за мной, — сказал он. — Помни, что говорят старики: «Странник, запомни ты слово мое: в дороге находиться — счастье твое».

— Все тебе не так, — сказала сердито Тарбия. — Спешишь, так поезжай, а Даулета чего гонишь?

— А ты, мать, его не держи. Раз надо ему ехать, пусть едет. Я его провожать не могу, мне на уборку пора. Слышала ты, что Сталин сказал? Без хлеба и победы не будет. Так что за польза, если я поеду плакать с ним еще десять верст? Нет. Я лучше ему врага помогу бить. Вот это отцовская помощь.

И все поняли: как решил старик, так оно и будет.

Мобилизованные должны были собраться около кирпичного сарая, в котором до лучшего времени теперь

разместился колхозный клуб. Около него уже собралась толпа.

Было шумно и весело. Кто-то пел, в нескольких местах играли на гармошках Сырбай нахмурился. Шум, громкая музыка, песни — все это было не для него

— Рано, рано веселятся, — говорил он в таких случаях, сдвигая свои густые, дремучие брови. — Война не гулянка. На войну идешь — жизнью идешь жертвовать. Помни это! Вот придут наши молодцы с победой — тогда повеселимся. А пока не до веселья — пока работать надо!

— А ты снохе это посоветуй. Она всему заводчица, — указывали ему. Он только руками разводил.

— Она и слушать не хочет, — говорил он горестно. — С чего прыгает, чему она радуется, никак не пойму!

— А ты в узде ее держи! Покрикивай!—советовали ему. — Ишь, распустил как!

— Единственная она у родителей, вот и взыграла, как жеребенок! Ладно, детей народит, остепенится. Я толк в людях понимаю. Она девушка хоть куда. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить.

Хорошо было сказать это об Айбарше в мирное время, а сейчас война... Любимый уходит на фронт, а она все не уймется. Сырбай косился, но говорить ничего не говорил. Однако, сегодня он уже не мог отделаться своей обычной мыслью: «Может быть, в комсомоле у них так полагается»... Сейчас он с горечью думал: «А не ошибся ли я в ней? Какая же она умница, если ведет себя так легкомысленно? Ветреная девчонка».

Айбарша взглянула в лицо старика и поняла его настроение. У ней самой сердце разрывалось на сто частей. В минуты откровенности она так и говорила: «Случится что с Даулетом, тогда и я не жилица на этом свете. Когда его нет около меня, я ни о чем и думать не хочу. Все мне постыло. Люди веселятся, а мне на них и смотреть не хочется».

Но все-таки ни безнадежности, ни даже большого горя не было в ее душе. Она почему-то твердо была убеждена, что Даулет вернется. Это чувство было настолько сильным, она так верила в него, что только и речи было у ней: «Вот вы увидите, каким он приедет сюда!».

Однажды она сказала об этом и своей матери Даметкен. «Что же,— ответила та, веря всему, что взбре-

дет на ум дочери,— если душа спокойна, то и бояться нечего. Сердце — вещун, оно всегда правду скажет».

В момент проводов Даулета Айбарши, однако, не стало. Она знала, что все родственники Даулета и даже мать ее Даметкен будут плакать и причитать.

Что же оставалось тогда делать ей-то. Разве хорошо, чтобы ее слезы увидела улица? Она сказала об этом Даулету и тот серьезно подтвердил: нет, плакать нельзя, никак нельзя плакать.Она ведь к тому же не простая девушка, а секретарь комсомольской организации.

Вот почему Айбарша, как только вдали появился жених, нырнула в толпу и скрылась в ней.

— Что это она? — спросил кто-то.

— Потому и убегает, что плакать не хочет,—объяснил поведение Айбарши другой голос.

Большинство собравшихся смотрело все-таки не на Айбаршу, а на толпу, что стояла возле дома Сырбая. Они видели, как кто-то вышел из дома, сел на верблюда и поехал. Но поехал не в сторону провожающих, не в сторону станции, а в сторону колхозных посевов. Это был Сырбай.

— Как же так? Что он, и сына не хочет проводить? — с недоумением спрашивали друг друга собравшиеся.

— Таков уж характер,— объяснил кто-то, пожимая плечами,— ничего с ним не поделаешь.

Сырбай направился в Тор-Тугай. «О боже,— молился он,— не дай мне только плакать по мертвому». В экстазе скорби он не чувствовал ничего. Бросив повод, он целиком положился на верблюдицу. Она была старой, опытной, шла ровно и только иногда повертывала свою лебединую шею и огромными черными глазами поглядывала на верблюжонка, который никак не поспевал за почти саженными шагами матери.

Только добравшись до Тор-Тугая, Сырбай пришел в себя. Здесь он встретил множество знакомых. Большая толпа их стояла около школы. Это все еще не могли разойтись провожающие.

Сырбай повернул верблюда к школе. Надо было бы заехать к родственнику, такому же старику, как и он сам, но то были такие знакомые места, что Сырбай не решился их увидеть сейчас. Все здесь было связано с памятью сына. А ему надо было быть твердым, как камень.

Когда он подъехал к школе и спрыгнул наземь, кто-

то в толпе вдруг всхлипнул. Старик оскалился и сжал кулаки.

— Не сметь плакать! — зарычал он на толпу.— Сами зовете на свою голову беду. Вот и я только что проводил своего сына, а разве он хуже твоего или твоего? А я не плачу. Лучше помолитесь, и да будут счастливы наши дети и в дороге и в бою!

В толпе зашумели.

— Да уж известно, что слезы к добру не приведут,— сказал кто-то.— Старик прав: раз слезы, значит и беда.

Сырбай обратил внимание на то, что многие, кто стоял здесь, должны были быть на уборке.

— Почему ты не в поле? — спросил он одного.— Работать нужно, а ты что делаешь?

Все сразу загалдели.

— Выходит, нам и сыновей проводить нельзя.

— Ему до наших детей и дела нет... Небось, его сын дороже всех...

Сырбай рассердился по-настоящему.

— Разве есть у нас «дешевые люди»? — крикнул он. А что Сталин сказал о человеке? Самый ценный капитал — это человек. Каждому дорог свой сын, но что делать-то? Ты не убьешь, тебя убьют. Вот и отрываем от сердца своих детей, шлем их на врага...

— Правда! Истинная правда! — поддержали его из толпы.

— А чем надо бить врага? Знаете ли вы, что сказал Сталин об этом? — спросил Сырбай.

— Знаем,— ответили ему.

— А что сказал он об обязанностях колхозников — тоже знаете? — снова спросил Сырбай.

— И это знаем! — ответили ему из толпы.

— Так стоите чего? Кто жалеет своих детей выполняйте приказ Сталина! Ну-ка, за мной на уборку!

Сырбай стегнул своего верблюда. За ним тронулись все.

Берег Сыр-Дарьи. Обыкновенно здесь ходил паром, но сейчас его не было. На берегу валялся оборванный канат. И Сырбай понял: река разлилась и унесла паром; канат не выдержал напора и лопнул, как шнурок.

«Видно придется перебираться вплавь,», — подумал Сырбай. Это не особенно озадачило его,— ведь он был с верблюдом, а и в самое сильное половодье это животное легко переплывает любую реку. Оно ложится на бок

и как бы ни бушевала река верблюд всегда выйдет на другом берегу, прямо против того места, с которого началась переправа.

Сырбай слез с верблюда, подозвал верблюжонка и сперва заставил мать накормить его. После этого он стал осторожно спускать верблюда в реку, но верблюжонок пятился, ревел, а мать глядела на него и тоже не входила в воду. Как ни кричал на нее Сырбай, как ни махал кнутом, верблюдица не двигалась. Тогда Сырбай догадался: снял сапоги, засучил портки, засунул полы халата за пояс, взял детеныша на руки и вошел в воду. Тогда и верблюдица послушно пошла за ним. Сырбай шел высоко поднимая верблюжонка.

В этом месте берега Сыр-Дарьи обрываются очень круто. Верблюдица уже лежала на боку и плыла, а Сырбай все еще возился с верблюжонком. Потом он нацелился, гикнул и прыгнул на круп животного.

Так-то оно лучше,— сказал он верблюжонку — ничего, поплывешь. Ты умеешь, только не знаешь этого.

Действительно, верблюжонок, который сначала упирался всеми четырьмя ногами и ревел, теперь вдруг посмотрел на мать, лег так же, как и она, на правый бок, и поплыл, сильно загребая воду ногами.

Сырбай отпустил повод. Бояться было нечего. Теперь верблюжонок только и старался, чтобы не отстать. Верблюдица же то и дело поднимала голову и смотрела на детеныша.

— Вон как любит она его,— подумал Сырбай, и сейчас же вспомнил: «Ее-то ребенок с нею рядом, а вот мой где?»

Скоро они доплыли до мели. Как только верблюдица коснулась дна, она громко крикнула «аф!» и встала. До берега было еще не менее пятидесяти шагов, но вода здесь доходила Сырбаю только до колен. Верблюжонок стоял теперь в воде по самую шею и отряхивался. То ли течение было все-таки сильным, то ли голова у верблюжонка закружилась, но вдруг он зашатался и стал падать. Сырбай схватил повод, подтянул верблюжонка к себе и взял его на руки.

Так они и выбрались на берег. Был он отлогим, песчаным, когда-то здесь росли целые заросли саксаула, но теперь они сильно поредели. Уж который год приходили сюда за топливом.

Сырбай прошел версты три и остановился: у самого края дороги, на большом кургане, росло огромное и древнее дерево — саксаул.

Про курган говорили, что он насыпан над могилой святого, а про дерево, что его когда-то посадил и вырастил этот же святой. Как было связать эти два противоречивые обстоятельства, не знал никто. Но дерево росло, крепло и теперь даже пара самых сильных верблюдов вряд ли могла стянуть с места его ствол, — приди кому в голову святотатственная мысль срубить саксаул на топливо.

Говорят, что саксаул растет до ста пятидесяти лет. Сколько лет было этому кусту — никто не знал. Сырбай помнит, что в то время, когда он был мальчиком, лет шестьдесят тому назад, дерево казалось ему таким же огромным, как и сейчас.

Какого святого похоронили в этой могиле, когда жил этот святой, когда он умер — об этом не знал никто. Говорили, что погиб он в какой-то битве, но какая это была битва, с кем и почему в нее вмешался святой — этого тоже никто не знал.

Несмотря на это, курган чтили и на старое одинокое дерево никто не покушался. Никто не покушался и на ласточкино гнездо, прилепившееся в могучих ветвях саксаула. Проедет мимо могилы старик, слезет с лошади, встанет на колени и прочтет молитву; пройдет молодой — шапку скинет.

Сырбай отпустил верблюда, сел на камень и быстро забормотал «Кул-куалда». То была единственная молитва, которую он помнил. Был он человеком благочестивым, но молитву эту читал с пятого на десятое. Отдельные слова он произносил шиворот-навыворот, а другие — вовсе пропускал и получалось у него что-то длинное, непонятное, без начала и конца, но зато торжественное и звучное.

Научил его этой молитве какой-то благочестивый, но тоже неграмотный человек, который сам не понимал ни слова из того, что он читал. Видимо это-то и нравилось им обоим.

Сырбай бормотал свою молитву по всем священным правилам ислама: вскидывал кверху свою седую голову и закрывал глаза. Хотел зажмуриться он и сейчас, но... в ветках, показалось ему, что-то задвигалось. Он прис-

мотрелся, и первое, что ему в голову пришло,— змея! Дело в том, что излюбленная добыча степных гадин — птичьи яйца, а иногда сама зазевавшаяся птичка. Сырбай не знал твари более хитрой и пакостной, чем змея.

Он часто видел, как эта тварь забирается в гнезда и уничтожает птичьи яйца. Большие высасывает, маленькие заглатывает целиком. Видел он и то, как, найдя гнезда жаворонков, воробьев и перепелок, змея поедала еще неоперившихся птенцов.

Говорили, что только с ласточкой она не может справиться и вот почему: в Сыр-Дарьинской долине живет странное, ни на что не похожее насекомое с неуклюжими длинными лапами, кончающимися крючками, с жесткими надкрыльями, похожими на надкрылья саранчи, с длинной и нелепой головой и сильными челюстями. «Таут»—зовут это маленькое чудовище сырь-дарьинские казахи. «Богомол» — называют его ученые.

Это нелепое, сетчатокрылое, словно нарочно выросшее в саксаульнике и похожее на него, чудовище обладает, по поверьям сыр-дарьинских казахов, одной замечательной особенностью: оно уничтожает змей. Говорят: как только змея приблизится к богомолу, насекомое прыгает и выцарапывает гадине глаза. Достаточно будто бы одного прикосновения крючкастой, длинной и неуклюжей лапы богомола, чтобы глаз змеи вытек, а змея издохла.

Ласточки заключили союз с богомолом. В каждом ласточкином гнезде находится богомол, а чтобы он не убежал, ласточка приарканивает его к стенкам гнезда тонким лошадиным волосом. Она заботится о богомоле, кормит его так же, как своих птенцов. Когда же птенцы начинают летать, ласточка отпускает на волю и их и богомола.

Сырбай успел прочитать только: «кул-куалда акат, Алда самат, алем жалайт, алем жулайт» как почувствовал, что дальше молиться не может. Он встал, с трудом забрался на курган и начал разглядывать ветви дерева. И первое, что бросилось ему в глаза, была действительно огромная, черная змея, вся в пятнах и металлических подтеках. Она взбиралась по стволу дерева к гнезду.

Сырбай огляделся. Нет ни палки, ни камня, ничего, чем можно было бы сбить гадину.

А в гнезде уже царило смятение. Два птенца взма-

хивали неоперившимися крыльями, широко раскрывали клювы, карабкались на край гнезда и жалобно пищали.

«Если саксаул, что растет на могиле святого,— святой, то и ласточка, гнездящаяся в этом святом саксауле, тоже святая»,— решил Сырбай и схватил змею за хвост. Но то была на редкость сильная и упорная гадина, и он вспомнил: как-то при нем вытаскивали змею из норы. Змея упиралась, ее тянули, она упиралась, и вдруг смельчак полетел на землю — в руках у него остался хвост, голова змеи уползла в нору. Как бы и тут не случилось того же.

Вдруг что-то быстрое промелькнуло в воздухе. Он вздрогнул и выпустил змею. Она исчезла в ветвях.

В это время с криком пронеслась мимо него ласточка. Голова змеи уже показалась над гнездом. Пронзительно, на высокой ноте запищали птенцы.

— О создатель, о боже, спаси их! — сказал Сырбай. И только что он произнес эти слова, как змея слетела с веток, как перерубленная. Сырбай тотчас же наступил сапогом ей на голову. Хвост змеи судорожно обвился вокруг его сапога.

— Шипи, шипи!—зло сказал Сырбай.—Все равно конец тебе пришел. — Он хотел уже раздавить ей череп, как вдруг подумал: «Отчего же, однако, она упала?» Подняв сапог, он увидел: на месте глаз змеи зияют две кровавые, сочащиеся дырочки. «Ага, это «Таут» и так ударил кованым каблуком, что череп гадины только хрустнул.

Он постоял, посмотрел под ноги на распростертое тело змеи, посмотрел вверх на гнездо, где меж двух птенцов гордо восседала победительница, и улыбнулся ясно, хорошо, широко.

С детства он питал огромную любовь ко всему живому. Всю природу воспринимал он как одно живое существо. Все твари — малые и большие,— думал он,—вся эта мошкара, все мельчайшие муравьи — все, все заботится и защищает свое потомство. Вот уже на что подлое существо змея, а посмотрите-ка на ее гнездо. Лежит она, свернувшись клубком, а детеныши в средине. Значит, все живое хочет продолжать жить в потомстве.

Старик невольно вспомнил своего Даулета. Где он сейчас и что с ним?

Сырбай стоял перед священным холмом, смотрел на куст саксаула и по лицу его текли слезы.

Таким его и застали колхозники.

— Что вы тут делаете? — спросили его.

Сырбай ничего не ответил. Он подошел к верблюдице, что щипала травку жантик, взял ее за повод и пошел. Он ни с кем не разговаривал.

Так он дошел до поля. И только тут, когда он увидел посевы, ему стало легче. На память ему пришли правдивые слова первого секретаря райкома:

— Слушайте, аксакал,— сказал он ему накануне проводов Даулета.— Вы человек бывалый, так не раскисайте же сами, да и других учите мужеству. Я знаю, тяжело вам, очень тяжело. Но что поделаешь? Подумайте—не мы отправляем вашего сына, его призвала Родина. Он, помимо нашей воли, ушел на фронт. Так пожелайте же ему от полного сердца удачи и победы.

Колхозники толпились вокруг Сырбая и почти у каждого было горе совсем такое же, как и у него. Люди стояли, осунувшиеся, с опухшими лицами.

Сырбай стиснул кулаки:

— Работать, работать! — прикрикнул он громко и бодро. — Берите с меня пример! Много ли я плачу о своем единственном сыне? Пожелаем же нашим детям доброго здоровья и благополучного возвращения. Что же можно сделать еще? В детстве рассказывали мне сказку: злодеи схватили одного благочестивого человека и бросили его в костер. А в это время пролетали над костром сорока и ласточка. Сорока — ей всюду дело — стала подбрасывать солому, а ласточка подлетит к реке, зачерпнет крыльями воду и заливает ею костер. Вот так, товарищи, и мы должны поступать, как эта ласточка. Если мы не затушим костер, всех нас пожрет огонь. Ну, а теперь... — и он пошел к своей полосе.

— И все он, окаянный, агитирует! Все ему больше всех нужно,— пробурчал кто-то.

— Сам говорит, а на сердце, небось, кошки скребут. Какой сознательный! Посмотрим, на сколько этого твоего сознания хватит.

Сознания у Сырбая хватило надолго. И недели шли и месяцы уходили, а старик все не сдавался. Только под тяжестью нового горя он начал невольно сдавать.

Горе это состояло в том, что колхоз «Кен-Тогай» по-

лучил урожай ниже обычного. И добро бы воды нехватило, а то просто люди не постарались.

Почва в Сыр-Дарьинской области особая — лессовая, с большой примесью поваренной соли. Если на этой земле два-три года подряд будет сеяться поливная культура, соль, растворенная водой, выступит на поверхность, превратит землю в солончак и тогда один рис на ней и выращивать, ибо рис до половины растет в воде, а вода, потребная ему, опресняет почву.

Конечно, если бы только так было бы всегда, то лучшей для Сыр-Дарьинской долины культуры, чем рис, и не придумаешь. Но в том-то и беда, что, во-первых, на заболоченных местах быстро вырастают мощные камыши и глушат рисовые посевы, во-вторых, земля может превратиться в болото и пахать тогда ее уже невозможно. Поэтому Сырбай часто говорил:

— Надо урожайность поднимать, а не заболачивать зря всю землю. Поменьше, да получше. Уход нужно улучшать, чтобы урожай снимать настоящий, а не за количеством гектаров гнаться. Подумаешь: сотни гектаров засеял рисом и сколько с каждого ты собрал? Нам зря землю переводить никак не приходится.

Колхозники слушали и согласно кивали головой. Они знали — Сырбай зря не болтает.

Но председатель колхоза Масакпай только махал на него рукой.

— Чего вы слушаете!—пренебрежительно говорил он. — Порет он невесть что. Другие увеличивают посевную площадь риса, а мы сокращать ее должны? Весь район так делает, а мы ему наперекор пойдем? Что же, нас за это по головке погладят?

Масакпай в председателях ходил недавно, но с первого же дня он стал расширять посевные площади риса. В 1941 году он довел посевы его до 220 гектаров, а это составляло почти шестьдесят процентов всего земельного фонда колхоза.

Рис теперь главное, — думал он, вспоминая плачевный опыт своего предшественника. Тот был снят с работы и репрессирован как вредитель. Может быть, потому,— думал председатель,— что посевная площадь колхоза составляла тогда триста гектаров, а под рисом только двадцать один. Это соотношение председатель колхоза помнил крепко. Поэтому он стал исправлять

положение. В следующую же весну засеяли рисом уже семьдесят гектаров. Он и больше бы посеял, да семян не достал. Рис уродился хорошо, с гектара сняли двести сорок пудов.

— А в следующем году,— хвалился Масакпай,— я двести га посею. Посмотрим, что тогда люди скажут.

Сырбай молчал. Нового председателя он стеснялся и побаивался. Да и Масакпай был прав в том, что все колхозы увеличивают рисовые плантации, а он один агитирует против. Как бы не влетело ему за это.

На следующую весну Сырбай все-таки не выдержал и на собрании стал горячо возражать против заболачивания колхозных полей. Колхозники поддержали его, но не все и не особенно смело. Когда Масакпай застучал по столу кулаком, все притихли.

— Я тебе вот что скажу, старик,— сказал Масакпай тихо и раздельно,— ты не в свое дело нос не суй. Знаешь, где теперь бывший председатель колхоза? Вот и помалкивай! А то поеду в район и заявлю: совсем жизни нет, перебрасывайте меня куда угодно, а я с этим старым вредителем работать не буду.

И настоял на своем: не семьдесят, а двести га засеял колхоз рисом.

Масакпаю повезло, земля и на этот раз не подвела: собрали с гектара по сто пудов.

— Ага, видишь,— хвастался Масакпай.— Это как, по-твоему? Сто пудов — это тебе не игрушки.

— Вот я посмотрю, что ты через три года запоешь,— угрюмо ответил Сырбай.— Все наши поля камышом зарастут.

Масакпай только обидно фыркнул.

— Ах, старик, старик, камыша он испугался! Да если всякой травки бояться, так и жить на свете не надо. Ладно, не вешай, дед, головы, как-нибудь одолеем.

— Одолей,— ответил коротко Сырбай, кончая разговор,— тогда и поговорим.

В 1941 году, уже после проводов Даулета, Сырбай вместе с председателем обходил рисовые поля. Теперь и Масакпай видел — вышло так, как предсказывал старик. Сильный и цепкий камыш заглушил посевы; камыша выросло куда больше, чем риса. Хорошо, если удастся собрать пять-шесть центнеров зерна с гектара.

Когда он сказал об этом председателю, Масакпай так и окрысился.

— А ты чего ожидал? — набросился он на Сырбая. — Выпалывали, как бог на душу положит, поливали — тоже. Как начали канал рыть, так все словно с ума сошли: никто ничего не хочет слушать, одни мальчики и работали! Вот взять хоть тебя. Сознательный будто человек, а где ты целое лето околачивался? На канале же?

Сырбаю пришлось замолчать. Действительно, целое лето он провел на строительстве. Он и дальше остался бы, но на период уборки работы на канале прекратились. Рабочие были распущены по колхозам для участия в уборочной кампании.

Урожай риса в самом деле был плох, и Сырбай выходил из себя. Ведь надо же придумать такое сочетание: война, отсутствие рабочих рук и скверный, чахоточный урожай.

— А мы и в будущем году соберем такой же урожай,— сказал Масакпай.— Видишь, какая у нас истощенная земля! А до конца строительства канала, ох, как еще далеко!

— Почему так? — спросил Сырбай.

— А потому, что людей нет, — язвительно ответил Масакпай и крепко выругался.— Что мы с тобой, что ли, будем его прорывать? Нет? Ну и молчи.

— Ничего, ничего,— сказал Сырбай,— я пробыл на трассе целое лето. Я вижу, как работают люди. И уверен: не придется нам сеять на голом месте, будет у нас поливная земля.

Масакпай только плечами пожал. Ввязываться в этот разговор ему не хотелось.

Теперь у Сырбая появилась еще одна забота. Если уж урожай плох, так надо хоть собрать его целиком. А тут тоже могут быть всякие случайности.

Время от времени над долиной реки вдруг проносятся горячие и стремительные ветры. «Багровые вихри» называют их здесь. Пронесется такой вихрь и осыплются все колосья. В прошлом году хотели собрать двадцать центнеров, а налетел ветер и пяти не собрали.

Сырбай помнил об этом и ни днем ни ночью не давал отдыха своей бригаде. Но работа все равно что-то не спорилась.

— Да и чего тут ждать,— говорил он огорченно.— Сколько у меня работников настоящих? Десять человек, а остальных хоть и не считай. Вот и попробуй справься!

Чтобы справиться, он и ночевал на поле. Приезжали из аула, сообщали, что его жена не может себе места найти, тоскует по сыну, хозяйство разваливается. Он только рукой махнул.

— А я-то чем помогу?

Однажды из аула прискакал нарочный.

— Телеграмма от Даулета! — крикнул он еще с коня. Потом отдышался и пояснил:

— Сегодня должен Даулет проехать мимо нашего аула. Направляется он в Москву из Ташкента. Айбарша поехала встречать. Ей он телеграмму прислал. Узнала об этом ваша жена и послала меня к вам. Пусть все бросит и едет.

Немедленно загалдели все, каждый предлагал свое. Кто-то догадался, что, наверное, Даулет не один проедет, что с ним, видимо, немало и односельчан. Эта мысль так понравилась всем, что многие стали собираться в путь вместе с Сырбаем.

И вдруг старик крикнул:

— А ну, помолчите! Никто не тронется с места...

Все обомлели — уж слишком неожидан был такой поворот.

— Хорошо,— продолжал кричать Сырбай.— Бросим мы поле, поедем встречать, поплачем да похныкаем, а польза какая? Сами расстроимся и детей своих в слезы вгоним.

— А такая польза, — сказал один старик,—что надо понятие иметь. Что у нас в груди — сердце или свинцовая болванка? Каждому свое дитя дорого.

— Ну, ладно, посмотришь ты на него, а дальше что?

— А дальше что? А дальше что? — совсем рассердился старик. — Борода-то, как у козла, а мелешь несуразное. Да как же мне своего-то сына не повидать?

— Ну и посмотришь,— упорно повторил Сырбай,— а что от этого изменится? Только раскиснешь и все! А вот если ты поработаешь хорошенько, да соберешь рис, да пошлем мы его на фронт, твоему же сыну, тогда многое изменится. Небо хмурится, вот-вот ветер поднимется. И так ничего не уродилось, а тогда и того не будет.

Так и не пустил никого Сырбай.

Люди разошлись по местам и каждый в сердцах хорошенько ругнул бригадира.

— Этого не проймешь. Он, как тот древний куст саксаула, что на могиле растет, — ни чувства в нем, ни понятия.

— С ума он спятил от старости, вот что.

— Жестокий старик!

Кто-то вдруг сказал:

—Он не жестокий, товарищи, он настоящий...— и, не находя подходящего слова, замялся, посмотрел на товарищей и только потом закончил:

— Он настоящий мужчина.

Глава тринадцатая

САМАЯ ДОРОГАЯ МАТЬ

БАЙЖАН подал в обком партии заявление с просьбой разрешить ему выехать на фронт. Скоро и его самого вызвал секретарь обкома.

Произошел долгий и неприятный разговор. Сначала Байжану казалось, что все будет в порядке, ибо свое желание он мотивировал, нужно сказать очень веско и убедительно. А первый довод был, по его мнению, и вообще неопровержим.

Его жена, писал он, врач — военнообязанная, следовательно, через день-другой ее, конечно, призовут в армию и тогда выйдет: жена на фронте, а муж в тылу. Не говоря уже о всем прочем, разве это не оскорбляет его чисто мужское достоинство?

Второй довод: он молодой, сильный, смелый, коммунист, призывного возраста. К чему оставлять такого со стариками, малолетками и старухами. И, кроме того, разве он один специалист-мелиоратор? Разве Анатолий Кондратьевич не может вполне заменить его на трассе? Ого! Как его заменит! Пусть обком поступит так, как он просит, и никому не придется раскаиваться.

Примерно то же он повторил и устно, когда первый

секретарь обкома положил его заявление на стол и сказал:

— Все это так, но объясни, пожалуйста, по-человечески, в чем дело?

Пришлось снова повторять все те доводы, что были изложены в заявлении.

— Так, — сказал секретарь.—Ну, а почему ты прячешь в карман еще один довод? Выкладывай и его.

— Я все сказал,— с недоумением пожал плечами Байжан.

— Все? А я скажу, что ты думаешь. На строительстве народу осталось мало. Вместо запланированных сорока тысяч едва-едва наберется пятнадцать. Да и народ уже не тот — все старики да малолетки. А вдруг, думаешь ты, я засыплюсь с ними. Что тогда будет? Отказываться от работы неудобно — война — так лучше на фронт удрать. Не так ли?

— Совсем не так,— возмущенно поднялся с места Байжан.— Я хочу жизнью жертвовать, а вы подыскиваете какие-то низменные мотивы.

— Да, низменные! Именно низменные! — повысил голос секретарь,— только не я их тебе подыскиваю, а ты сам за них спрятался, милый. Нет, заявление твое я не принимаю и... Либо ты берешь его назад, либо ты, действительно, поедешь на фронт, но без партийного билета. Он останется здесь на столе.

— Выходит, что желание уйти на фронт — преступление?

— Нет, из этого выходит, что твое желание,— секретарь особенно подчеркнул это слово,— именно твое желание уйти со строительства — это преступление. И ты знаешь, как я обосную твое исключение в проекте решения бюро. Вот слушай-ка.— И он продекламировал четко и ясно, как будто и впрямь читал протокол.

«Начальник строительства канала имени Сталина Байжан Бекбосынов, бросив строительство, ушел на фронт. Такой поступок Бекбосынова не может рассматриваться иначе, как акт саботажа и трусости перед трудностями военного времени. Байжана Бекбосынова из партии исключить». Вот и все. И полетишь ты, как миленький, без партбилета.

— Может быть, вы меня и в военный трибунал передадите? — раздраженно прервал его Байжан.

вот из партии выгоним и именно с такой формулировкой, как говорю: трус и саботажник. Попробуй-ка потом, восстановись!

— Да вы меня не запугаете! — крикнул Байжан, разозлившись.— Этим вы ничего не возьмете. Не маленький!

— А коль не маленький, так пойми, что я тебя не запугиваю, а просто предупреждаю.

Байжан сидел, дыша тяжело и порывисто. Потом он провел языком по пересохшим губам и глубоко вздохнул. Тем временем секретарь встал, подошел и положил ему руку на плечо.

— Это один разговор,—сказал он,—так сказать, официальный. Я даю тебе официальный ответ на твое официальное, правда, глупое заявление. Только ты на меня не обижайся. Я был бы на твоем месте и ты бы со мной говорил так. Не дело ты задумал. На фронт мы пошлем каждого, а чтоб найти инженера на твое место — надо год искать. Ты что ж думаешь: мы тебя так, с бухты-барахты, назначили начальником строительства? Нет, дорогой мой, потому и назначили, что доверяем. А где мы теперь, в военное время, заместителя подыщем? Ты скажешь: тяжело работать. Знаю, дорогой. Вот поэтому-то тебя и оставляем. Ты эту тяжесть вынесешь. Помни: нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Да, а ты подумал о том, что если ты с теми же средствами и с тем же минимальным количеством механизмов кончишь строительство в срок — какая слава тебя ожидает, а?

— Кончишь в срок! — крякнул Байжан.— В том-то вот и дело, что надо кончить в срок. А если не кончу.

— Не веришь? А вот я в тебя верю. Ничего, дорогой, не распускайся. Удесятерим наши усилия, ночей не будем спать, а все-таки я для тебя сделаю все, что в руках секретаря обкома. Договорились? Ну, и хорошо!

Секретарь подошел к столу и опять взял его заявление.

— На, возьми обратно! Теперь вот что: твой первый довод, конечно, должен был быть принят во внимание. Твоя жена врач и место ей около раненых.

— Ну вот видите! — уныло сказал Байжан.

— Вижу! И только одного я не вижу: какая нужда

ехать ей на фронт. В Кзыл-Орде организован эвакогоспиталь. Туда уже начали поступать раненые. Я вчера ездил, смотрел на их приемку. Эх, лучше бы не смотреть, пожалуй.— Лицо секретаря исказилось болью.

— Ну, так вот,—заговорил он опять успокаиваясь,— твоя жена останется здесь, место мы ей найдем.

На том и порешили.

Секретарь поднял со стола свежий номер «Правды».

— Статью «Казахский народ отвечает на призыв вождя» ты читал?

— Читал,— ответил Байжан.

— Если читал, то должен помнить: каждая область Казахстана делает свой вклад в дело победы — Караганда — уголь, Эмба — нефть, Чимкент и Балхаш — медь и свинец, северные области — шлют эшелоны с хлебом. Ну, а мы что?

— Мы тоже хлеб.

—А много у тебя хлеба. Сосчитай, выйдет, что всего-навсего под посевами у нас 80 000 гектаров. Это для фронта — капля в море. Я работал в Северном Казахстане и знаю: два района Северо-Казахстанской области дают больше зерна, чем все восемь районов Кзыл-Ординской. Теперь смотри: как только ты закончишь канал, посевная площадь увеличится сразу в три раза. Триста процентов урожая. Да так оно уже и было бы, если бы не эта война.

Он подошел к стене и рванул шнурок. Показалась карта рабочей трассы канала.

— Теперь смотри: магистраль протяженностью в двадцать пять километров. На ней уже заканчиваются все земляные работы. Начинаем ответвление Бармак. Кончим его, будем работать над левым рукавом. А огромные, плодороднейшие участки земли находятся именно здесь. К сожалению, нечего и думать, чтобы закончить все в военное время. Нам хотя бы в срок справиться с теми двумя ветками, — но с ними-то справиться необходимо. Все дело в правильном руководстве. Энергии у народа хватит, надо только уметь ее использовать.

Он подумал что-то и спросил:

— Кстати, как идет работа в бригаде комсорга?

Байжан пожал плечами.

— Она-то работает хорошо, да людей нет. Всего-навсего осталось у нее несколько тысяч. Из них половина инвалидов. С ними много не наработаешь. Нет, трещит, трещит строительство.

— Ага, — удовлетворенно сказал секретарь, — вот когда ты признался!

Байжан опустил голову.

— Ну, правильно я говорил?

— Правильно, — выдохнул из себя Байжан и кивнул головой.

— Правильно! — секретарь ударил ладонью по столу. — Я тебя понимаю. Тяжелое положение, очень тяжелое, неприятное и напряженное. Много нервов нужно затратить, чтобы добиться чего-нибудь реального. Ну что ж, и на это надо пойти... Помни одно, если мы закончим только начатое, то и в этом случае в будущем году засеем лишние шестьдесят тысяч гектаров. А разве это мало: лишних шестьдесят тысяч гектаров риса! А ты говоришь «уйду». Хорошо это, а?

Байжан молчал.

— «На войну уйду!». Да в том-то и дело, что ты понимаешь войну по-детски. Вот стрелять из винтовки — это война. Уехать на фронт — тоже война. А обеспечить фронт хлебом — это не война, это презренное штатское дело. Вот жена твоя поедет на линию огня, это тоже будет война, а коли здесь она будет ухаживать за ранеными, так это занятие для старых дев. Нет, дорогой, мы понимаем войну не так и в солдатики играть не будем. Если фронту нужно, чтобы ты работал в тылу, ты будешь здесь, а не там. Жену твою направим в эвакогоспиталь—пусть она возвращает бойцов на фронт. Ты же делай все, чтобы накормить их хлебом. Вот и весь мой разговор с тобой. Ты, наверное, устал? Оставайся у меня. Я тебе постелю на диване. Вечером в шахматы сыграем. У меня с лета банка малинового варенья стоит — имей это в виду.

Байжан был так раздосадован и пристыжен, что сразу же сел на машину и уехал.

Начиналось утро, когда Байжан подъехал к своему дому. Он зашел в полисадник. На разостланой кошме кто-то лежал, укрывшись с головой. Под головой у него была подушка от седла. Тускло поблескивало атласное

одеяло. Рядом стояли сапоги. По ним Байжан и узнал Анатолия Кондратьевича.

— Лег на дворе... Эх, чудит старик... Гюльнар что ли нет дома? — подумал он, вглядываясь в спящего.

Но Гюльнар на этот раз была дома. Анатолий Кондратьевич спал на дворе по причинам совершенно другим.

За последнее время старик не находил себе места. Нападение фашистских орд на его родину повергло его в бешеный гнев. События последующих месяцев поразили своим скорбным смыслом — армия отступала, а ведь он всегда верил в непобедимость русского оружия. Он так любил свою родину и великих людей ее, что не было у него любви, большей, чем эта.

— Вот тот велик, этот еще больше, — говорил он, когда заходил разговор о Западе. — Послушаешь, так весь свет полон великих людей. А я только одно имя скажу — Ленин! Попробуйте найти во всех ваших заграницах кого-нибудь хотя бы приблизительно равного ему... А Сталин! Кто, как не он создал в аграрной России такую огромную индустрию.

Заканчивал нередко так:

— И выходит: лучшего пути реконструкции страны, чем колхозы, нет. Западу это и во сне не снилось.

И еще одно запомнил он крепко: «Ни пяди своей земли не отдадим никому».

И вот — война! Фашистские полчища шли в глубь страны, а он присматривался к карте и думал: «ну, ничего, проклятая немчура! Идет вас много, а вот сколько вернется?».

Но немцы шли все дальше и дальше. Линия фронта ползла по карте на восток, отчуждая родные города, в которых Анатолий Кондратьевич и сам бывал когда-то. И уже новые мысли обуревали его.

«Что же это такое, что случилось с нашими?» — думал он мучительно.

— Поезжайте, поезжайте, дорогие мои, — напутствовал он молодежь, отъезжающую на фронт. — Знаю я, не найти мне больше таких богатырей, как вы. Трудно мне будет без вас, но что поделаешь? Вытянем как-нибудь. Вот выгоним врага, тогда... — и он махал рукой:

— Поезжайте, поезжайте...

Даже дочери своей он как-то сказал:

— А ты, милая, скоро поедешь?

— Куда, папа? — спросила она.

— Вот тебе раз! Туда, на фронт, милая. Зря что ли вам советская власть дала равноправие?

—Все смеешься, папа, — обиделась Гюльнар и отошла.

А немцы шли все дальше и дальше. Уже призывали в армию и пожилых, уже несколько женщин отправились на фронт.

Гюльнар, скрываясь ото всех, послала рапорт в военный округ.

В заключение она писала: «Итак, прошу вас — мобилизуйте меня в обычном порядке. Мне было бы очень неприятно, если бы об этом письме до вашего вызова узнал мой муж, который в силу своей работы главного инженера должен остаться на строительстве».

Вскоре после этого она, прогуливаясь с мужем по берегу реки, рассказала ему о своем намерении. Ей хотелось знать, к чему она должна быть готова.

Как она и думала, Байжан стал возражать горячо и резонно. А под конец сказал так:

— Хорошо, тогда и я уйду на фронт.

— А канал?

—Его другие достроят.

Они так заспорили, что чуть не поругались. Собственно говоря, весь их разговор состоял из выкриков:

— Я уеду, — кричала Гюльнар.

—Я тоже не останусь, — отвечал Байжан.

— Ну и хорошо, — согласилась вгорячах Гюльнар.

— Отлично, — отрезал Байжан, направляясь домой.

Вот тогда-то Байжан решил отправиться в область, чтобы выяснить возможности отправки его на фронт. Он уже упаковывался, когда к нему зашла Гюльнар. В кармане ее жакета лежал вызов военного округа.

— Ты скоро вернешься? — спросила она.

Байжан ничего не ответил.

— Скоро, да? — уже нежно спросила Гюльнар.

— Увидим, — буркнул Байжан. Он был растроган, но боялся показать это.

— А я тебе говорю — приезжай скорее! — приказала ему Гюльнар.

Когда Гюльнар, проводив мужа, вернулась с вокзала, дом был пуст, как и несколько дней тому назад. Анатолий Кондратьевич теперь бывал здесь только наездами, Тарбия же вообще уехала к себе. Но раньше Гюльнар не замечала этого, а вот сейчас это так бросилось в глаза, что просто задохнулась. Вспомнила о сыне — он находился у Тарбии.

Гюльнар была настолько любящей матерью, что даже соседки удивлялись — сама еще полуребенок, а так лелеет, так холит свое дитя... Прежде чем окончательно решить ехать на фронт, она долго думала о сыне. На кого оставить Бахытжана? На мужа? Но и он может уйти на фронт. Разве Тарбии доверить? Да, это самое лучшее.

Не откладывая дела в долгий ящик — вызов мог прийти каждый день, — она взяла Бахытжана, уехала к Сырбаю и через несколько дней вернулась уже одна.

— А сын где? — спрашивали ее после возвращения.

— Оставила у апай, — коротко отвечала Гюльнар. Если расспросы продолжали, она объясняла:

— Тетя Тарбия затосковала после отъезда сына на фронт. Вот я и отвезла ей своего мальчика.

Есть у казахов такая поговорка: «Одна мать родная, другая назывная». Тарбия по своей природе была матерью родной для всех. Она так любила детей, что не различала: свой ли, чужой ли ребенок у нее на руках. Все дети были хороши для нее.

Когда Тарбия вошла в дом Сырбая, Даулет был уже большим мальчиком. А вот за время совместной жизни она ни разу не дала ему почувствовать, что его родная мать давно уже умерла, а с ним живет мачеха — чужой человек. И Даулет полюбил ее, как мать.

Понятно, поэтому, как остро переживала Тарбия отсутствие своего любимого пасынка. И чем больше она тосковала по Даулету, тем сильнее привязывалась к Бахытжану. И все-таки, когда Гюльнар предложила оставить своего ребенка у нее, Тарбия просто отказалась — это так ошеломило ее.

— Как же можно, — говорила она растерянно, — у матери отнять сына? Нет, нет!

Что поделаешь? Пришлось объяснить ей все.

— Не меньше твоего я люблю своего маленького

Нет, не меньше! — тихо говорила Гюльнар, а слезы так и текли по ее лицу. — Но надо ехать. Родина зовет. Ведь, как ты не сдерживала Даулета, как ни плакала, он и слушать тебя не стал — уехал... Говорят: «Родина — мать», ну, а когда враги нападают на мать, кто же усидит дома и не вступится за нее? Конечно, — продолжала она после небольшой паузы, — слаб человек! И если бы не вы, может быть, я и осталась бы. Но на великое счастье мое — вы тут, тетя Тарбия. Чего же желать мне еще? Значит, что бы там ни случилось, за своего сына я спокойна.

Долго еще сидели две женщины, обнявшись. Плакали, утешали друг друга, а когда настало утро, простилась Гюльнар и приехала домой одна.

Потянулись мучительные дни. Гюльнар заставляла себя забывать о своем мальчике, но чем больше она гнала эту мысль, тем настойчивее она к ней возвращалась. К тому же Байжан, не понимая ничего, требовал возвращения сына. Приходилось убеждать его.

— Как тебе не стыдно, — говорила она, — быть таким эгоистом? Посмотри, как опустел дом Сырбая после отъезда Даулета. Правда, и отцу моему тяжело, но около него хоть ты. А ведь там пустые, мертвые стены. Пусть хоть немного забудутся старики. И ты не возражай, пожалуйста! Мне мой ребенок еще ближе, чем тебе, но я молчу...

Конечно, объяснения ее не были особенно убедительными — Гюльнар и сама понимала это, — но ничего иного придумать она не могла.

В спальне на стене висела фотография Бахытжана. Гюльнар сначала все ходила и посматривала на нее, а потом вдруг сняла фотографию и спрятала ее в сундук. Она чувствовала — еще немного и она не выдержит.

Байжан уехал в Кзыл-Орду. Проводив его до вокзала, Гюльнар стала собирать свои вещи, укладывать их в чемодан. И опять попалась ей карточка сына. Фотография была хорошей. Лежит в детской деревянной кроватке пухлый мальчишка, под головой у него подушка с пышно вышитой наволочкой — рукоделие самой Гюльнар. У мальчишки пухлые как будто перетянутые ниточкой ножки и черные волосики. Перед мальчиком на тумбочке букет цветов, он тянется к ним, улыбается, хочет достать.

Гюльнар схватила фотографию и молча прижала к разгоряченному лицу, по которому крупными каплями текли слезы.

Словно в забытьи повторяла: «Хороший мой, мой маленький!» и вдруг ноги подкосились у нее и она тяжело рухнула на кровать.

Очнулась от шума шагов. Кто-то тяжело и медленно шел в ее комнату. Она быстро вскинула голову и хотела вскочить, но было уже поздно: вошел отец.

Гюльнар быстро протянула руку к изголовью, схватила полотенце и поднесла к лицу. Карточка Бахытжана упала на пол.

Анатолий Кондратьевич поднял ее, несколько секунд рассматривал ее, а потом спокойно спросил:

— Сильно тоскуешь?

Гюльнар только головой мотнула.

— Да, — продолжал Анатолий Кондратьевич, все еще рассматривая карточку, — есть у казахов одна присказка. Сын спрашивает: папа, что ты на меня все глядишь да целуешь, неужели я такой хороший? А отец отвечает: вот родится у тебя сынок, тогда сам узнаешь, какой ты был». Так-то, дочка. «И кобыла жеребенка любит», — говорят в степях.

Гюльнар молчала.

— И если ты, такая молодая, так привязалась к ребенку, то что же нам, старикам, делать, когда от нас уходят дети?

Гюльнар встала и оправила платье. Было что-то нехорошее в том, что она лежит в такую минуту перед отцом на кровати мужа.

Анатолий Кондратьевич осторожно положил фотографию на стол и вдруг спросил:

— Так, значит, едешь?

— Куда, папа? — И сейчас же подумала: «Господи, неужели знает?».

— Ну, ну! — сердито махнул на нее рукой отец, — чего там! Знаю: на войну идешь.

— Да что ты, папочка? — очень натурально удивилась Гюльнар.

— Не ври! — крикнул на нее Анатолий Кондратьевич и даже кулак сжал. — Все знаю! Все!

Гюльнар хотела спросить «что все?», а спросила:

— От кого же?

Анатолий Кондратьевич прошел к креслу, сел на него и только тогда ответил:

— Все равно от кого! Слышал и хватит. Значит, не ври! Не бойся, не расплачусь. Врага слезами не пробьешь, он их достаточно видел.

Он посидел, побарабанил пальцами и сказал куда-то в пространство.

— Да, а он все двигается, все двигается... Проклятый... Скоро уж и к Москве подойдет.

Гюльнар молчала. Молчал и старик. Оба долго молчали.

Вдруг старик резко вскинул голову.

— Да, препятствовать не стану, — сказал он. — Поезжай! Я бы сам пошел, если бы моложе был. Когда едешь?

— С первым ташкентским, — уныло ответила Гюльнар.

— Так быстро! Пожалуй, оно и лучше: слез меньше. Ты сейчас плакала, как баба, какой же ты солдат? На войне женское сердце и в грош не ценят.

— Что за разговор, папа! — недовольно поморщилась Гюльнар. — Женское ли, мужское ли у меня сердце, оно человеческое. Вот что важно.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Анатолий Кондратьевич. — Вот когда ты сына отдала, я подумал: в кого это ты такая жестокая уродилась? Теперь я понимаю, почему ты отдала мальчишку.

Гюльнар вскинула было голову.

— Хорошо, хорошо! — перебил ее Анатолий Кондратьевич. — Очень хорошо! Такой тебе и надо быть. Но смотри, не раскисни!

Гюльнар молчала.

Анатолий Кондратьевич подошел, положил ей руку на плечо и сказал:

— А что ты по мальчишке плачешь и карточку его целуешь, это не годится. Значит, сердце у тебя кровью сочится.

— Да я... — начала Гюльнар.

— Стой! Молчи! Такой тебе ехать нельзя. Уедешь — назад будешь оглядываться. Тебя замучает, что ты с сыном не простилась. Ты привези Бахытжана и послед-

ние дни побудь с ним. Понимаешь, по-матерински простись. Может, и не увидишь больше.

— Нет, нет, — ужаснулась Гюльнар и даже руками замахала. — Что вы, папа! Да я тогда...

— А я бы просил тебя меня слушаться! Раз говорю, значит, так надо. Я сейчас же пошлю за мальчишкой.—И он вышел, хлопнув дверью.

Когда он вернулся, комната была прибрана, фотография опять висела на стене. Гюльнар стояла перед ней молча и неподвижно. И улыбалась. Но, боже мой, что это была за улыбка!

— Так! — хмуро сказал Анатолий Кондратьевич. — За ребенком уже поехали.

Гюльнар смотрела на карточку, улыбалась и молчала.

— Я прилягу, отдохну, Галечка. Может быть, и старики приедут с Бахытжаном.

— Ты велел им передать обо всем? — спросила она.

— Нет. Я просто наказал, чтобы Тарбия приехала с Бахытжаном. На стол-то что подать у тебя есть?

Гюльнар молча кивнула головой.

Анатолий Кондратьевич ушел. Какие у него тяжелые, медленные шаги. Когда умерла ее мать, он так же вставал и ходил ночью по дому. Тогда она все время слышала его шаги то в коридоре, то около дверей своей комнаты и знала — он не заснет до утра.

«Бедный отец! — подумала она и спохватилась. — Не жалеть, не жалеть! Главное, не жалеть, — думала она отчаянно. — Отца жалеть, мужа жалеть, сына жалеть... Ведь так никогда и не уедешь. Раз решила уехать, значит, все. Значит, заставь себя молчать. Ни родных, ни себя. Раз решила уехать, значит — все!».

Она ходила по комнате бледная, прямая, высокая, и все повторяла вполголоса: «Не жалеть, не жалеть! Только никого не жалеть!».

Вечером приехала Тарбия. Ее первым словом был вопрос:

— А Байжан здоров?

Гюльнар молча кивнула головой. Тарбия ей не поверила — у нее было такое убитое лицо. Успокоил ее только Анатолий Кондратьевич.

— Все, все у нас в порядке, — заговорил он на ходу. — Все, все. Байжан уехал в Кзыл-Орду, завтра вернется.

Вечером, когда Анатолия Кондратьевича вызвали в райком, Гюльнар рассказала Тарбии обо всем.

— Солдатом, говоришь? — переспросила Тарбия и махнула рукой. — Оставь, милая! Какой из бабы солдат?

Гюльнар не слушала ее. Опустив голову, она сидела и перебирала бахрому скатерти. У нее был такой вид, что не понять ее нельзя было. И Тарбия поняла.

— Милая, — сказала она тихо, по-матерински, и пожала своей грубой, морщинистой рукой ее маленькую нежную ручку, привычную только к бинтам и перевязкам.

— Главное, папа, папа! — ответила Гюльнар на пожатие руки.

— Он говорит мне: «иди», а ведь это он отрывает кусок от собственного сердца. Лицо у него такое спокойное, но я этому не верю.

— А ты знаешь, что такое «кон?» — встрепенулась Тарбия. — Нет?! Я тебе расскажу. Стоит аул, год стоит, два стоит, все на одном месте стоит, и земля покрывается корой — такая толстая эта кора, что ее палкой не пробьешь. Вся она из навоза. И вдруг начинает этот «кон» гореть. Но только горит-то он странно — только снизу. Сверху земля, как земля, а внизу огонь, дым, пожар. Вот и отец твой такой же. У него сердце изнутри тлеет.

Слова Тарбии глубоко запали в сердце Гюльнар. Только теперь она по-настоящему увидела, сколько мужества и самообладания нужно было иметь ее отцу, чтобы ничем не выдать своего горя. И тут же подумала: «А чем я ему могу помочь? Вот рассказывают в сказках про ласточку, которая на крыльях таскала воду, чтобы затушить пожар родимой кровли. Так неужели я хуже ласточки? Не кровля, — вся страна моя горит, а я буду сидеть подле старика и глядеть ему в лицо?».

Анатолий Кондратьевич возвратился только к ужину. За столом рассказал о телеграмме, в которой сообщалось: «Эшелон детей отправлен, обеспечьте встречу, приемку, размещение».

— Значит, через два-три дня они приедут, — сказал Анатолий Кондратьевич. — Только сколько их, никто не знает. Создана комиссия — председатель Байжан, члены Айбарша и агроном райзо Калакай.

Байжана ждали до полночи, а он так и не вернулся. Когда Анатолий Кондратьевич ушел, Гюльнар позвала Тарбию к себе и сказала:

— Вы возьмете Бахытжана спать к себе.

— Что ты? — удивилась Тарбия. — Не будь уж такой жестокой. Бери своего маленького и спи с ним. Будет кричать, я проснусь — возьму, а пока пусть лежит у тебя. Пожалуй, я лягу в твоей комнате. Может, Байжан и не вернется.

С того самого дня, как Гюльнар окончательно решила вопрос о фронте, она стала приучать ребенка к искусственному питанию. Но сколько она не толковала Тарбии, как и чем нужно кормить маленького, та ничего не поняла. Все эти сложные рецепты были настолько ей чужды, что она даже не уяснила, чего же от нее хотят. Сначала она еще из деликатности слушала, а потом отрезала:

— Дорогая моя, говори — не говори, а я ничего в толк не возьму! Знаешь что: да будет воля аллаха! Придет смерть к мальчику — ничего не поделаешь — умрет, но тогда и я умру. А пока буду его кормить, как умею.

Поняв безнадежность дальнейших споров, Гюльнар устало сказала. — Ну, апа, делай, как знаешь. Жизнь и смерть моего ребенка на тебе.

Каждый день она посылала к Сырбаю гонцов и все справлялась, как же себя чувствует Бахытжан. Каждый раз Сырбай отвечал: «Ребенок здоров и весел, не только не похудел, даже поправился».

Она радовалась, но плохо верила этому. И вот теперь Бахытжан перед ней — этакий толстый, розовый, веселый мальчик.

— Чем же вы его кормили? — спросила Гюльнар, как только они поговорили обо всем самом важном.

— А ты знаешь, что такое балгаймак? — спросила в свою очередь Тарбия. — Не знаешь? Это сгущенные сливки и лучше всего, если они из козьего молока. Дать ему ложечку этих сливок, и он сыт целый день. А пить захочет, я его верблюжьим молоком напою.

— Верблюжьим? — даже испугалась Гюльнар.

— А что пугаешься? Питательнее верблюжьего молока и на свете нет. Только им и кормят грудного младенца. Занимают даже верблюдицу у людей, если своей нет,

Балгаймак и верблюжье молоко Тарбия захватила с собой и сюда. Бахытжан ел только его, а покушав, был целый день весел и оживлен. Ведь это почти концентрат. Так много ли его надо ребенку? — думала Гюльнар, засыпая с сыном.

За соседней стеной, в кабинете сидел Анатолий Кондратьевич, насвистывая что-то под нос. Он все не мог заснуть. Думал он, конечно, о Гюльнар.

Вот уж и дочери у него нет. Кто знает — вернется ли, ведь едет в самый огонь. А девушка она не такая, чтобы щадить себя. Наверное, будет рваться под самые пули.

Ему вдруг стало так душно, что он расстегнул ворот и, шатаясь, держась за стену, вышел во двор. Его тяжелые, неверные шаги услышала Тарбия, набросила на плечи халатик и тоже выскочила на улицу. Они встретились на крыльце и молча поглядели в лицо друг другу. Потом Тарбия взяла старика под руку и осторожно усадила на ступеньки.

А ему было все труднее и труднее дышать, ком слез подступал к горлу, — он только слабо мотал головой.

В эту ночь он заснул во дворе. Там его и застал Байжан.

Он постоял немного около старика и тихонько на цыпочках, чтобы не разбудить, поднялся на крыльцо. Здесь его встретила Тарбия.

— Вы когда приехали, апа? — удивленно спросил Байжан.

— Вчера вечером.

— Бахытжан здоров?

— Да, он здесь,—ответила Тарбия.—Спит в обнимку с матерью.

— Вот как?! — удивился Байжан и недоверчиво посмотрел на Тарбию.

— На то она и мать, — невпопад ответила Тарбия и вдруг спросила: — Спать-то ляжете?

— Да, на часик прилягу, — ответил он.

Он зашел в спальню, постоял, посмотрел на разметавшихся Гюльнар и Бахытжана. Потом осторожно подошел к тумбочке и поднял часы Гюльнар. В глаза бросился конверт, туго набитый бумагами. Там лежали все

ее документы — паспорт, диплом и главное — повестка военкомата.

Байжан почувствовал, как у него холодеет лицо. Он уже пожалел, что вскрыл конверт, лучше не знать бы этого! И тут же вспомнил: секретарь обкома взялся устроить Гюльнар в Кзыл-Ординский госпиталь. Значит, фронт отпадает, — подумал он. И уже спокойнее стал просматривать ее бумаги.

В это время проснулась Гюльнар. Она подняла голову и увидела — Байжан стоит и читает повестку из военкомата.

От резкого движения матери проснулся и Бахытжан. Он заулыбался, замахал ручками и что-то весело залепетал.

Байжан круто повернулся и уставился своим взглядом на жену и сына. Так они трое и смотрели друг на друга. Бахытжан приветливо махал ручками и болтал все быстрее, все оживленнее.

— Значит, — сказала Гюльнар,—не удалось мне уехать без тебя. Теперь узнал все. Ну что ж! — она взяла на руки сына и встала с постели.

— Ты сам говорил на собрании, что за родину нужно жертвовать всем, если она позовет тебя.. Вот она и позвала меня. Я еду сегодняшним поездом.

Байжан стоял сгорбившись и молчал. Говорить было уже не о чем.

Глава четырнадцатая

ЧУВСТВО РОДСТВА

В АВГУСТЕ обком партии и облисполком вынесли решение: все строительные работы временно приостановить, все силы переключить на уборку урожая. И строители разъехались по своим колхозам.

Айбарша тоже выехала уполномоченной райкома в один из отдаленных колхозов. Пробыла она там не особенно долго. Первым делом ее, после возвращения в город, было посещение дома Байжана.

Дом был пуст. Кроме работницы Матрены, в нем никто не жил. Байжан был в Алма-Ата, а Анатолий Кон-

дратьевич работал в Кзыл-Орде над проектом плотины. Так и осталась во всем доме одна домработница. Впрочем, назвать ее домработницей можно было только очень условно.

Матрена Яковлевна долго служила счетоводом в городской сберкассе, потом потеряла горячо любимого мужа, и это так потрясло ее, что она чуть не угодила в психиатрическую больницу.

Во всяком случае всякая умственная работа ей была категорически противопоказана. Ее давний знакомый — главный бухгалтер облводхоза сделал ей предложение: не согласится ли она взять на себя все его несложное хозяйство.

— Нас только двое, — говорил ей главбух.—Детей у нас нет, жена работает. Вот и приходится бросать дом на произвол судьбы. А вы одинокая. И если бы согласились помочь моей жене по хозяйству, она была бы благодарна вам.

Матрена Яковлевна согласилась.

Скоро она так сжилась с этой семьей, что стала как бы естественным членом ее. Но главбуха перебросили в Татарию, а Матрена родного города оставить не пожелала. Пришлось расстаться.

По рекомендации главбуха Матрена Яковлевна перешла к Анатолию Кондратьевичу. И тут она тоже пришлась ко двору.

Она вошла в опустевший дом как полная хозяйка и дом сразу ожил. Заблестели начищенные песком кастрюли, прояснились мутные радужные стекла, пол был всегда чисто вымыт и выметен, белье стиралось каждую неделю. Даже к нелюдимой Гюльнар Матрена сумела подойти легко и просто. Скоро девочка так привязалась к старухе, что порой при ней забывала даже про потерю матери.

Когда же девочка повзрослела и вышла замуж, Матрена долго колебалась — перейти ли ей к Гюльнар или остаться у старика Полевого. Но тут началось строительство и хозяева разъехались. Матрена вдруг сразу, нежданно-негаданно, очутилась одна в пустом доме.

Старуха скучала, худела и даже перестала готовить, да и кому готовить? Ей и куска хлеба было достаточно. Только одно утешало ее: у Гюльнар вот-вот должен был

появиться ребенок. И когда, по ее расчетам, это время подошло, она не выдержала, поехала к своей воспитаннице и навсегда осталась в ее доме. В детях она души не чаяла. Были когда-то у нее и свои дети, но они не выжили. И потому трудно ей было пройти мимо ребенка, чтобы не приласкать его. Теперь Бахытжан заменил ей все — и семью и детей.

Вдруг в дом вошла другая женщина — Тарбия, совсем ей чужая, — и поломала все. Возиться с младенцем стала она. Матрена молчала, но на соперницу смотрела косо.

«Ладно, — думала она про себя, — вот малютка подрастет, тогда и делать тебе тут будет нечего».

Тарбия тоже косилась на Матрену. Несмотря на свою уживчивость и мягкость, был в ее характере один заскок: она не доверяла иноверцу, звала его «кафыр», что значит «неверный», и сторонилась. В ее неприязни к Матрене сказывались не только ревность, но и недоверие правоверного мусульманина к христианину. Впрочем, обе женщины своих чувств ничем не выдавали и внешне жили мирно.

Началась война, и все пошло шиворот-навыворот. Гюльнар уехала на фронт, Бахытжана увезла к себе Тарбия. Байжан же и раньше дома никогда не засиживался. Оставался один Анатолий Кондратьевич, но и его скоро вызвали в Кзыл-Орду. И вот дом, полный жизни, веселого смеха и шума, вдруг сразу опустел. Матрена не знала, куда девать себя в его гулких и пустых комнатах. Она бы и совсем ушла, но не на кого бросить квартиру.

В таком настроении и застала ее Айбарша. Матрена как увидела ее, так и бросилась ей на шею, причитая и плача. Она считала, что по-деревенскому обычаю и той следовало бы вести себя так же. Но Айбарша сначала молча гладила ее по голове и приговаривала: «Ну, не надо! Не надо! Ничего, ничего!», а потом просто прикрикнула: «Ну, хватит!». Подняла ее тяжелую голову обеими руками и повторила еще более настойчиво. «Хватит! А то я больше и не приеду. Пришла утешить ее, а она словно не рада».

Матрена Яковлевна немного успокоилась. Они посидели, поговорили.

Собираясь в райком, Айбарша перед уходом попросила Матрену приготовить казахское жаркое — куардак.

— А мясо-то есть у вас? — поинтересовалась она.

— Есть, но копченое, для жаркого оно не годится.

— Ну, не беда, — решила Айбарша, — сварите суп, он скорее сварится, чем куардак, только спустите в него кульшатай*. А потом чаевничать будем!

Оттого ли, что Матрена смогла хорошо выплакаться, оттого ли, что дом ей с приездом Айбарши перестал казаться таким пустым, как раньше, Матрена успокоилась и деловито принялась готовить обед.

Как всегда бывает в Средней Азии, кроме зимней печи в доме, на дворе делается еще одна — летняя. С наступлением тепла, пища готовится на воздухе. Сейчас эта печка уже неделю стояла холодной. Затопив ее, Матрена с наслаждением смотрела на дым, что повалил из длинной, узкой, изогнутой трубы.

В райкоме Айбаршу ждала большая радость: ей передали телеграмму Даулета. Оказывается, он в Ташкенте и теперь едет на фронт. Надо встречать.

Айбарша спокойно положила телеграмму на стол, закрыла глаза и стала высчитывать: выходило, что Даулет должен проехать завтра на заре.

Когда Айбарша, радостная и возбужденная, собиралась уходить, к ней подошел с каким-то вопросом секретарь райкома. Она позвала его отобедать. Он согласился, но спросил: «А Калакая как же?» Калакай сидел тут же, слышал все, поэтому не позвать его было просто невозможно.

Все трое отправились к Байжану.

Матрена уже давно протопила печку, вынула вареное мясо из котла, чтобы оно не разварилось, и положила на большое белое блюдо. Сама же сидела на крылечке, дожидаясь Айбаршу. А вот и она. Но кто это с ней? Кого она ведет с собой? Матрена быстро встала, раздула огонь в печке, снова положила мясо в котел и спустила кульшатай.

Рахмет поздоровался с Матреной и шутливо спросил:

---

* Род лепешки из тонко раскатанного теста. В суп спускается целым куском.

— Ну, как бог грехи-то терпит? Не особенно скучаете, а?

— Слава богу, живу не скучаю!

Айбарша провела гостей в комнаты, а сама задержала Матрену и показала ей телеграмму из Ташкента.

— Ну, дай бог тебе всего хорошего, детка! — сказала обрадованная Матрена. — Пошли вам, боже, радостной встречи!

И вдруг спросила:

— А как же эта собака-то к тебе приблудилась?

— Про кого это вы? — удивилась Айбарша.

Матрена злобно кивнула на Калакая.

— Я, тетя, — спокойно ответила Айбарша,—сама все знаю. Вы за меня не беспокойтесь.

Матрена резко отвернулась и начала колдовать над котлом. Тесто уже разварилось и теперь кипело в янтарно-прозрачном жиру.

— А как, по-вашему, — спросила Айбарша, — надо сообщить старикам о приезде Даулета?

— А то как же? — удивилась Матрена. — Они, наверное, с тоски не знают, куда деваться. Сама к ним поедешь?

Айбарша только головой покачала.

— Нет, я из города ни на шаг. Сегодня прибывает детский эшелон, а райком включил меня в комиссию.

— А не помешает это вашей встрече?

— Нет.

Матрена подумала.

— И много детей?

— Кажется, много. Из самой Украины.

— Господи, боже мой! А сумеете всех разместить?

— Вот для этого и комиссия назначена. Дети голодные и больные. Если всех сразу поместить в общежитие, многие не выдержат. Поэтому особо слабых разместим по колхозникам.

— А возьмут?

— Почему же не возьмут? Говорим же мы: дружба народов. А когда, как не сейчас, показать народу эту дружбу?

— Это ты хорошо говоришь. Так ведь не у всех такое понятие. Кто так подумает, а кто и иначе.

— А вы как бы, например, подумали?

— Я-то, дочка, готова за эти слова в огонь и воду.

— Правда?

Матрена даже обиделась.

— Старенькая я, Анечка, чтобы врать. Пятый десяток доживаю.

— А коли так, то не обессудьте, что я распорядилась вами. В список я и вас включила.

— Вот как! — Матрена задумалась. — А подумала ли ты о том...

— Что дом чужой, хотите вы сказать? Ничего! В этом чужом доме вы человек свой, а дядю Байжана не бойтесь. Он еще вас и поблагодарит. Просто жалко мне вас стало: все вы одни и одни. Я и свою мать вспомнила. Она ведь тоже сейчас одна. Ее тоже некому утешить.

В глазах Айбарши навернулись слезы.

— Обед остынет, — вдруг торопливо сказала Матрена и отвернулась к котлу. — Гости-то, чай, давно заждались. Иди, стол накрывай.

— Еще одна к вам просьба, — продолжала Айбарша, когда они пошли по двору. — Я хочу, чтобы и моя мать взяла двух ребят. Поэтому прошу вас: съездите в наш аул и навестите ее, пусть она готовится...

Обе вдруг замолчали, увидев Калакая. Он стоял около двери, широко и любезно улыбаясь.

— Что же ты, милая моя? — начал он развязно. — Зазвала в гости, а сама скрылась куда-то. Мы ведь есть хотим.

Шутку его не приняли, а Матрена даже прикусила губу. Так молча женщины и вошли в дом.

А Калакай стоял и думал: «Ничего, ничего! Все пока идет, как должно. Вот Даулет уедет на фронт и оттуда не вернется. Значит, все дело во времени и в выдержке. А этого-то у меня хватит».

Все это время он вел себя с Айбаршой по-особому. Говорил с ней отнюдь не ласковее, чем со всеми, ничем не выдавал своих ни чувств, ни намерений. Даже с деловыми разговорами обращался не особенно часто. Сейчас в первый раз он рискнул выйти за границу служебных отношений. «Как бы не испортить все», — подумал он тревожно.

Когда Матрена и Айбарша входили в кухню, Рахмет вышел из спальни Гюльнар. Лицо у него было серьезное

и даже расстроенное. Очевидно, безлюдность комнат и на него подействовала угнетающе. Но он ничем не выдал своего волнения. Увидев женщин, несущих варево, он улыбнулся.

— Знаю, знаю! — сказал он, кивая на котел. — Это моя давнишняя. Я ее помню, еще когда она была саврасой кобылкой с поломанной ногой. Анатолий Кондратьевич три месяца ее откармливал кукурузой, чтобы она разжирела. Под конец она такой стала, что двигаться не могла. Теперь мы уже самое постное доедаем.

— Ну и здесь на четыре пальца сала, — великодушно утешил Матрену Калакай.

А Рахмет уже говорил о другом.

— Я зашел в спальню и подумал: ведь всего месяц тому назад веселее этого дома во всем городе не было. А эти две недели я даже боялся заходить сюда. Ужасно действует запустение. Но сегодня Айбарша говорит мне идемте к тете Матрене, у нее торжественный прием, она без вас и приходить не велела. Ну вот я и пришел.

— Спасибо вам,—поблагодарила и даже, по русскому обычаю, слегка поклонилась Матрена.

После обеда Матрена оседлала лошадь Айбарши и поскакала в колхоз сообщить о приезде Даулета.

Она слегка трусила: колхозники, приезжавшие в город, говорили, что Сырбай как саксаулина, ничем его не разогнуть. Да и о Тарбии сообщали разное. Сначала говорили, что она пожелтела, осунулась и умирает, а потом сообщали, что успокоилась, ибо к чему только не может привыкнуть человек! Сейчас Матрена слышала, что Сырбай уехал в поле и в доме осталась одна старуха.

Как-то она ее встретит? Это особенно тревожило ее. Думала она об этом то так, то этак. Раньше она меня хоть к ребенку ревновала, а теперь что ей надо? Ведь он у нее! — успокаивала она себя. Но другая мысль приходила ей в голову и она смущала ее куда больше. А что если после отъезда Байжана старуха забросила ребенка, и ходит он сейчас, как беспризорный — грязный и голодный. Что ей придется предпринять тогда? Как вырвать своего воспитанника? Пожалуй, придется пойти на скандал, просто отнять и увезти.

С Тарбией, между тем, происходило вот что.

Проводив Байжана и Гюльнар до вокзала, она сказала Айбарше:

— Вот что, дорогая, сейчас мне брать Бахытжана да уезжать с ним просто неудобно. Что будет со стариком-то? Придется пожить здесь, хотя бы до возвращения Байжана. Ты тоже останься денек-другой, надо успокоить старика.

Айбарша покачала головой.

— И рада бы, — печально ответила она, — да ведь у меня работа. Время беспокойное. У всех сердце не на месте. Нужен глаз, да глаз. Нет, я ни дня больше не могу здесь оставаться. А вы, конечно, поживите, дождитесь приезда Байжана.

Опасения Тарбии не оправдались. Анатолий Кондратьевич еще больше ушел в себя, побледнел, осунулся, но не сдал. Даже на работу он вышел в обычное время. Тогда и Тарбия уехала, захватив с собой Бахытжана. Она уже видела — старик выдержит. У казахов есть такая поговорка: «Дом с детьми — базар, дом без детей — мазар».

Действительно, на мазар, на пустую и одинокую казахскую могилу в степи стал походить дом Байжана. Зато хата Тарбии сразу ожила. Каждое движение ребенка, его милый лепет, ползанье по кроватке — все это вызывало у старухи восхищение, улыбку.

Вскоре в колхоз неожиданно приехала Айбарша. Она велела Даметкен зарезать козленка и позвать свою будущую свекровь — Тарбию.

Пир выдался на славу. Старухи так истосковались, что проговорили почти до ночи. В разгар их беседы Айбарша вдруг сказала Тарбии:

— А я недовольна ведь вами. Да, да, очень недовольна! — Она капризно надула губки.—Вы свое обещание забыли.

— Какое обещание, солнце мое? — встревожилась Тарбия.

— Вспомните, что Даукеш сказал вам на прощание? «Вернусь с фронта, спрошу вас только об одном — что с моим садиком, что с фруктовыми саженцами моими сталось? Их тридцать штук, поливайте и ходите за ними. Если хоть одно засохнет, буду я в обиде». Так говорил он?

— Так точно, Айым, — подтвердила Тарбия.

— А вот только он скрылся из глаз, как вы про все забыли, — продолжала Айбарша. — Со дня его отъезда даже ни разу не полили деревьев. Арык запустел, трава засохла. Что сыну скажете, когда он вернется?

После этого разговора Тарбия начисто выскребла арыки и каждый день в урочные часы пускала воду. Ухаживала она и за огородом Байжана.

Айбарша ходила за ней и приговаривала:

— Хорошенько, хорошенько смотрите. Вот кончится война, придет Даукеш, чем вы его угощать будете?

— Да, да,—кивала головой Тарбия.—Придет, придет наш Даулет. — И работала так, будто совсем забыла свою тоску.

Она бы может быть и потосковала бы и поплакала бы, да времени не было. То сад, то Бахытжан — за всем глаз и руки нужны, а не уследишь — беда. И хоть с фронта приходили тревожные вести, она помнила только то, что сказал ей Даулет на прощание: «Мама,—сказал он ей, — только надежду не теряй. Верь, и все будет хорошо».

И Тарбия верила. Бог знает, что случилось бы с ней, если бы она хоть на минуту утратила эту бодрую веру.

Матрена застала ее в огороде.

Была Матрена женщиной бывалой. Она хорошо знала старые казахские поговорки: «Хорошая честь, — коли добрая весть»; «На доброе слово и змея из норы выползает». Она и успокаивала себя тем, что такое хорошее известие принесет старухе именно она. «Скажу ей — проезжает Даулет, а куда и как он едет — этого я ей не скажу. Не знаю и все». Потом Матрена уже надумала и то, как ей себя вести: как только войдет, то сейчас же, прежде всего, потребует суюнши, — подарка за добрую весть.

Она стегнула коня и галопом проскакала в огород.

— Суюнши! Суюнши! — крикнула она с седла.

Тарбия вздрогнула и выпрямилась. Она сразу узнала Матрену.

— Суюнши! Суюнши! — еще раз повторила Матрена. — Что мне дашь в суюнши?

— Все, что хочешь бери! — быстро ответила Тарбия и глаза ее блеснули.

— Даулет едет! — сказала Матрена.

— Ой, откуда ты знаешь это? — крикнула Тарбия.

— Телеграмма пришла.

Старуха стояла с мотыгой, недоуменно и даже несколько беспокойно смотрела на Матрену. И вдруг взгляд ее упал на сивую кобылку и седло всадницы.

— Кто ж тебя послал сюда? — спросила она.

— Айбарша. Она велела сказать, чтобы вы бросали все и ехали на вокзал встречать сына. Вот я и прискакала.

— А сама-то она где?

— У Байжана осталась.

Тарбия только плечами пожимала. «Почему же Айбарша с таким известием не приехала сама?»—говорил ее взгляд. Это был вопрос резонный, но Матрена не дала ей додумать всего до конца.

— Она наказала, чтобы вы ехали быстрее, быстрее. К вечеру надо быть там.

Тарбия все еще стояла перед ней, опираясь на мотыгу.

— Наверное, посылают его куда-нибудь? — спросила она настойчиво и даже с некоторым нетерпением.

— Ой, что ты меня допрашиваешь? — сердито махнула на нее рукой Матрена. — Что я знаю? Сказала мне Айбарша: «скачи в колхоз, объяви Тарбии, что сын ее едет», и все. Я вскочила на коня и поскакала. Мне не терпелось вас порадовать. А вы, вместо того, чтоб поблагодарить, еще недовольны.

— Ну, извини, родная. — сразу смягчилась Тарбия. — Большое спасибо тебе! Не обижайся, уж больно я обрадовалась, все хочу в толк взять. Пойдем-ка в комнату.

Когда они вошли, Бахытжан, лежавший на торе, заулыбался и пополз к дверям. Тарбия одной рукой взяла его, прижала к себе, а другой подняла занавески. Сразу стало светло и солнечно.

Матрена взглянула на ребенка. Он сильно изменился: загорел, окреп, даже вырос немного. Теперь уж можно было ясно различить, что в нем от отца, что — от матери.

От отца был его короткий вздернутый носик, остроконечный подбородок. От матери Бахытжан унаследовал густые брови на широком круглом лбу и круглые черные глаза. Ротик ребенка был красивым, совершенно жен-

ским, но грудь обещала стать широкой и выпуклой — отцовской. Когда он заулыбался, на щеках его появились ямочки — точь-в-точь, как у Гюльнар. Они очень шли матери и она эту милую примету передала и своему сыну.

Матрена глядела на Бахытжана — ее так и подмывало взять его на руки. Тарбия заметила это и засмеялась.

— Смотри, он протягивает к тебе ручонки. Ага, признал родню, малыш, признал! Стосковался! Ну иди, иди же к ней! Она тебя любит.

Матрена взяла Бахытжана и засыпала его поцелуями. По щекам ее потекли слезы.

Потом они сидели, обнявшись, и говорили по душам.

— Ты извини, что я раньше косилась на тебя, — сказала Тарбия. — Ты хоть и неверная, «кафыр», — чужая, значит, по-нашему, но ты очень хороший человек. Вот смотрю я на тебя — у меня сын, у тебя никого. А сын уехал, — так Бахытжан остался. Ты же, как бездомная сиротинушка, — одна-одинешенька в пустом доме. Хорошо, что попала к таким людям, как Байжан да Галечка. Очень мне тебя жалко. Поверь мне, не вру.

— Спасибо, родная, — ответила Матрена. — И я грешна перед тобой. Что ж, мы с тобой в бога верим, а бог не велит коситься друг на друга из-за того, что ты да я родились от разных матерей. Ты сама подумай: Анатолий Кондратьевич «кафыр», твой муж правоверный. А ну-ка, разлучи их! Согласится ли Анатолий Кондратьевич променять Сырбая на русского? А возьми Бахытжана. Тут уж сам аллах не разберет—«кафыр» он или правоверный. Половина крови такой, половина другой. А тебе все равно. Предложи тебе заменить его чистокровным, небось не возьмешь чистокровного, а?

— Бог с тобой, что ты говоришь? — возмутилась Тарбия. — Не сменяю я моего мальчика на тысячу самых правоверных!

— Что мне, — продолжала Матрена, — нравится у коммунистов, так это то, что они всех людей — белых, черных, желтых — считают братьями. Вот это и есть настоящая человечность. А то — мусульманка, правоверная, «кафыр», христианин — разве это не чепуха все? Все люди, все человеки!

Тарбия была согласна, но еще молчала.

— Конечно, ерунда, — настойчиво повторила Матре-

на. — Выдумали эти перегородки, чтоб поссорить между собой людей, а люди поверили и ну считаться, а из-за чего и сами не знают. Вот я вижу, ребенок у тебя хорош! Ты за ним ходишь, как родная мать, кормишь, лелеешь. Что же, из-за чего мне ревновать его. Лишь бы он был жив. А я уж... — и вдруг заплакала.

— Ну, не плачь, не плачь, прости меня, старую дуру, — сказала Тарбия. — Мало ли что бывает между людьми по глупости. Давай-ка обнимемся лучше.

Они обнялись. Успокоенные, они стали говорить о делах, о встрече Даулета.

— Ведь вот тут что получается, — задумчиво рассуждала Тарбия.—И старик мой и мать Айбарши на уборке. В ауле и людей-то нет. Не знаю, кого послать за стариком. Пойду, попытаю, может, и найду кого-нибудь. А нам еще и покушать надо. Покушаем, да и отправимся.

Так и порешили. Тарбия нашла какого-то старика, дала ему лошадь и погнала за Сырбаем.

Они уже заканчивали чаепитие, когда вернулся посланник. Лицо у него было встревоженное и глупое.

— Что такое? — забеспокоилась Тарбия. — Что там со стариком?

— Никак не желает ехать. И сам не поехал и Даметкен там оставил.

— Голову бы лучше свою он там оставил, бессердечный! — сказала зло Тарбия.— Значит, колхозное зерно дороже собственного сына.

— А может тебе самой съездить? — несмело предложила Матрена.

— Нет, ничего с ним не поделаешь, с этакой саксаулиной бесчувственной. Коли растет она этакими петлями, тут ее сам шайтан не выправит. Одни поедем.

Тарбия доварила обед, но есть его уже никто не стал.

Матрена села на лошадь, а Тарбия захватила Бахытжана и взобралась на верблюда.

В Алмалык приехали вечером. Навстречу им из дома Байжана кто-то вышел.

— Кто это? — крикнула Матрена.

— Я, я, Матрена Яковлевна,— послышался из темноты спокойный голос Байжана.

Ребенок хныкал.

Байжан подбежал к верблюду, взял его за узду и начал дергать, чтобы он стал на колени. Но верблюд, не желая этого, выругался «аф» и плюнул прямо в лицо Байжану.

— Ох, чтоб ты сдох! — крикнул Байжан и схватился за лицо, потом так дернул верблюда, что тот сразу лег.

Только тогда Тарбия и передала ребенка Байжану. Он поцеловал его в обе щеки, пухлые и холодные от вечерней прохлады.

— Как съездил, дорогой? — спросила Тарбия, слезая.

— Спасибо. Хорошо. А старик твой как?

— Небось, не украдут моего старика, никому он такой не нужен,— грубовато ответила Тарбия. Байжан понял, что она сердится на него.

— Ну, а что пишет Гюльжан? — спросила Тарбия, называя Гюльнар обычным ласкательным именем.

— Да ничего,— уклончиво ответил Байжан.— Жива, здорова.

— Ой, здорова ли? — строго и подозрительно переспросила старуха.

— Здорова, как будто. В лазарете лежит, — сказал он вдруг резко и сразу.— Пуля вошла и вышла. Это называется у них — навылет. Ну, ничего. Считается она легко раненой.

— Ой, боже мой,— в ужасе сказала старуха.

— Ничего, ничего. Теперь уже опять на работе.

— А что они, разве под самыми пулями ходят? Стреляют в них? — с испугом спросила Тарбия.

— Под пулями, не под пулями, а иногда приходится раненых и из огня вытаскивать. Ничего не поделаешь. Доктор она!

— Ай, Гюльжан, Гюльжан! — вздохнула Тарбия,— И куда ты сунулась? Женское ли это дело воевать? Больных и у нас много.

— Ну, а правда, что Даулет выехал из Ташкента? — перевел на другое разговор Байжан.

— Точно, точно,— ответила Тарбия, и так пригорюнилась, что чуть не всхлипнула.

—Ну, ну! — сказал Байжан.— Не надо плакать. Что вы несчастье на его голову накликаете?!

— Не буду, не буду! — испугалась Тарбия.— Только вернулся бы он целым.

— Ничего, вернется. Такой джигит — сто человек убьет, а сам целым придет. Ладно, сейчас я пойду в райком, а потом встретимся. Я тоже хочу его посмотреть. Вот ключ.

— Закусывать не будешь? — спросила Матрена.

— Времени нет, Матрена Яковлевна. Вот из райкома звонили, украинский эшелон прибыл, бегу на станцию встречать.

В райкоме Байжан застал Рахмета, Айбаршу, Калакая и еще кой-кого из районных работников.

— Вот что, дорогой,— сразу приступил к делу Рахмет.— Надо нам самое меньшее сразу пять грузовиков отправить на станцию. А твой бухгалтер уперся, как ишак. Одна у него песня: нет у меня горючего, и все.

— Да ведь и правда нет,— ответил Байжан, улыбаясь.

— А куда ты две тонны бензина девал?

— Ну, нет, его я дать не могу. Буду цемент перевозить из Чимкента. У меня уже и наряд выписан. Не заберем — пропадет.

— Ну и пусть пропадает, шайтан его забери! — запальчиво крикнул Рахмет.— Кого больше жалко — человека или пуд цемента! Я получил шифровку — дети по дороге десятками мрут, а ты о цементе думаешь! Не приехал бы ты еще с час, вызвал бы я наряд милиции и вывел все твои машины. А бухгалтера под суд. Все! Все!—крикнул он, видя, что Байжан собирается возражать.— Все! Даешь нам шесть машин без всяких разговоров.

— Теперь второе,—продолжал секретарь,—твою квартиру мы забираем под контору детдома. Хорошо?

— Хорошо,— ответил Байжан.

— И третье, но это уже просьба. Я знаю, у тебя работает русская женщина. Верно, что раньше она была канцелярской работницей?

— Верно!

— Она женщина честная, воспитанная, чистоплотная?

— Да, лучше и не надо.

— И зовут ее, кажется, Матрена Яковлевна?

— Да, Матрена Яковлевна Николаева.

Рахмет записал.

— Спросил я тебя вот для чего,— пояснил он, пря-

ча записную книжку.— Мы хотим использовать ее в детской столовой. Часть детей останется тут в районе.

— Но как я за нее решу? — развел руками Байжан. — Одно знаю: если она согласится, лучшего никого не найти.

Когда все разошлись, в кабинет вернулась Айбарша.

— Агай,— обратилась она к Рахмету.— Вы знаете, я никогда не отказываюсь от любой работы, а вот теперь... Завтра рано утром здесь будет Даулет. Очевидно, встретимся мы с ним на платформе. Ну, а если в это же время прибудет эшелон с детьми, начнется суматоха, тогда что?

Рахмет развел руками.

— Что же делать? Не я выдумал, бюро решило.

— Бю-ро! — сказала Айбарша.— Но надо же войти и в мое положение (она наклонила голову, плечи у нее вздрагивали). Ведь может и не встретимся никогда больше.

— Экая ты плакса, товарищ комсомолка!

Рахмет подошел к ней, погладил ее по волосам.

— Ну, ну, не плачь, не хорони жениха заранее. Не всем же там погибать. Кто-то и вернуться должен. Знаешь — «Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Помни это.

— Вы меня не агитируйте,— вдруг сердито огрызнулась Айбарша.— Я и сама это другим говорю. Об одном прошу — разрешите нам попрощаться.

— Хорошо, хорошо,— повторил Рахмет,— сделаем, что сможем.

Эшелон прибыл ночью.

Начальник эшелона, секретарь комсомольской организации Наталья Осиповна Полещук — совсем еще молоденькая девушка — сообщила, что прибыли воспитанники шести детских домов; в дороге состав неоднократно пополнялся.

Дорога была очень трудной, их неоднократно обстреливали. Несколько вагонов немецкие бомбы смешали с землей. За три месяца пути много детей пришлось оставить по дороге. Доехавшие же были так слабы, что еле двигались. Сейчас Полещук предлагает отвести вагоны на запасный путь, утром детей накормить и только после этого начать выгрузку.

Так и сделали.

— Итак, агай,— сказала Айбарша после окончания первых хлопот.— Теперь я пойду встречать Даулета. Можно?

— Да, теперь ты свободна. Располагай собой, как хочешь.

К Айбарше подошла Полещук.

— Я хочу вас попросить,— обратилась она к Айбарше.— Вижу, вы идете встречать фронтовика. Возможно, он будет в наших местах. Я дам вам свой адрес и фотографию, а вы передайте ему. Кто знает, может случайно встретит он кого-нибудь из моих родных... И тогда...— у нее навернулись слезы.

— Ну, что ж,— быстро ответила Айбарша.— Напишите, я все передам.

Вокзал кипел. Повсюду сновали люди. Резко звенело железо прицепов и выли паровозные гудки.

Составы в среднем, проходили через каждые десять минут. Только некоторые из них задерживались на какое-то очень короткое время, другие же, гудя и громыхая, проносились мимо. Кто знает, не проехал ли в одном из этих составов и Даулет?

Айбарша попыталась узнать что-нибудь у солдат, но никто ничего не знал; иные просто смеялись над ней. Найти здесь знакомого! Найди иголку в стогу сена!

Но вот пришел еще один эшелон. Остановился. Из красных вагонов стали выпрыгивать солдаты.

Айбарша сразу затерялась в этом клокочущем человеческом море. Тут были узбеки, таджики, киргизы, русские, казахи — все были, только ее Даулета не было. И никто ничего о нем не знал. Сколько она ни спрашивала, с ней и разговаривать не хотели — все куда-то спешили.

В это время ударил колокол. Тогда, окончательно потеряв всякую надежду, Айбарша крикнула через весь дико горланящий перрон:

— Даулет!

Стоявшие рядом испуганно шарахнулись, кто-то, смеясь, поднес палец ко лбу. Она и верно походила на сумасшедшую. Но ей было сейчас наплевать на все...

— Даулет!! —крикнула она еще отчаяннее и громче.

И вдруг откуда-то, словно из страшной дали, раздался знакомый отзыв:

— Айбарша!

А состав уже тронулся, затарахтели товарные вагоны. Солдаты побежали, на ходу прыгая в вагоны.

Толкнул ли ее кто, обессилела ли она окончательно, но вдруг она упала. Но в таком состоянии она все же подняла голову и хотела третий раз крикнуть самое дорогое ей имя — хотела и не могла. Что-то сдавило ей горло и слово застряло в гортани.

Так она и лежала, задыхаясь и плача, а рядом проплывали зеленые, желтые и красные вагоны все быстрее, быстрее и быстрее.

В это время чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли. Ей было уже все равно, но она повернула голову, увидела знакомое лицо и только и сумела сказать:

— Даукеш!

Грохоча сапогами по мокрому асфальту, он побежал с ней, догоняя свой вагон. Она была не больно тяжела, но поезд все прибавлял и прибавлял ходу. Приходилось уже бежать во всю мочь.

Солдаты, толпившиеся у двери последнего вагона, смеялись и, подбадривая, кричали ему:

— Давай, давай ее сюда!

Тогда он освободил одну руку, схватился за поручни. Как очутился в вагоне, как положил на скамейку Айбаршу, он не помнил ни в это время, ни много позже.

Глава пятнадцатая

ЧУДЕСНОЕ ЛЕКАРСТВО

ЭШЕЛОН с детьми поставили на ночь в тупик.

После того, как все это было сделано, Рахмет зашел в салон вагон и сказал, обращаясь к обслуживающему персоналу:

— Сейчас дети спят, время далеко за полночь. Я вижу, и вы еле на ногах держитесь. Поэтому устраивайтесь пока спать. Сегодня будут дежурить наши медработники. От райкома останетесь вы, товарищ Калакай.

— Но ведь у нас имеются и свои люди,— робко ска-

зала Полещук.— Нам, право, даже незачем тревожить товарища.

— Ну, конечно, я здесь лишний,—одобрил ее Калакай.

— Раз именно тебя я намерен здесь оставить,— сухо сказал Рахмет,— значит, ты уже никак не лишний.

— Ну что же, дело хозяйское,—обиженно сказал Калакай.— Но по правде сказать, боюсь я здесь оставаться, я ни за кого ведь отвечать не могу.

У Рахмета дрогнули складки рта, но он ничего не сказал, только резко отвернулся.

— Так вот, товарищи, — повторил он, — располагайтесь на отдых. Больше я вас тревожить не буду.

Начали устраиваться.

Воспитатели и медицинские работники занимали вагон третьего класса, переходы между купе были в них задрапированы простынями и одеялами.

Когда все разошлись, Наталья Полещук задержалась.

— А вы что же? — спросил ее Рахмет.

— Мне хочется с вами поговорить,— ответила она несмело. — Можно?

— Пожалуйста. Я к вашим услугам!

— Но вы только не смейтесь! — она покраснела.— Мой самый любимый герой Рахметов — это из «Что делать» Чернышевского. Вот и вы мне кажетесь похожим на него. Поверьте, пожалуйста: это не комплимент, я говорю то, что почувствовала.

— Верю,— ответил Рахмет и улыбнулся.

Та помялась немного.

— Вы заметили, в моем купе лежит ребенок?

Рахмет кивнул головой.

— Это мой родной братишка. Ему уже третий год. Я его пятьдесят верст несла на руках. И вот не знаю, что с ним. Сегодня утром он был так плох, так уж плох... И вот надо итти к нему, а у меня смелости нехватает, а вдруг он уже мертв.

— Да он у вас ел что-нибудь? — спросил Рахмет.

— Проглотил несколько ложек рисового отвара.

— Ну и все! Значит, будет жив.

— О, если бы было так! — со стоном вырвалось у нее.

—Да, так и будет, — улыбнулся Рахмет.

Впрочем, он это говорил только для успокоения. Ре-

бенок был истощен до такой степени, что казался маленьким скелетиком. Страшно блестели на круглом черепе, слегка обтянутом кожей, большие черные глаза.

«Жив ли он сейчас?» — подумал Рахмет и взял Полещук за руку.

— Идемте, посмотрим вместе.

В купе было совсем темно. Сальная свеча только чадила. Рахмет вынул из кармана электрический фонарик и поднес его к голове скелетика. Коснулся пальцами виска ребенка и нащупал слабо бьющуюся жилку. Тогда он шепнул Наталье:

— Жив!

Она вздрогнула.

— Жив, жив! — повторил Рахмет.— Он даже пропотел во время сна. Смотрите-ка!

Наталья дотронулась до лба ребенка, и верно — кожа мальчика была влажной.

На цыпочках они вышли из купе.

— Ну, а теперь разрешите мне откланяться! — Рахмет протянул Наталье руку.

— Господи, я и не знаю, как вас благодарить!— ответила Наталья, провожая его до двери вагона.

— Ну, пустяки, ложитесь лучше спать.

Наталья ушла в купе. Из темноты вынырнул Калакай и пошел за Рахметом.

— Так верно, что я должен остаться здесь? — спросил он.— Ну для чего, для чего?

— А я, милый, с тобой шутить не намерен!—сухо ответил Рахмет.— Будешь охранять этот эшелон, понятно?

— А врачи и сестры на что?

— А это тебя уж не касается. За эшелон ответишь мне ты.

— Ну и втянули же вы меня в беду,— махнул рукой Калакай.— Вот мы накормим их, тут им и конец, а я отвечай за все.

— Ну, нет, брат, мы ведь тоже с головой. Бекена знаешь? Того старого фельдшера? Знаешь?

— Знаю.

— Я его вызвал сюда. Он человек бывалый, кажется, все на свете видал. Он дал нам такой наказ: пока кормить ребят одним жидким рисовым отваром. До тех пор, пока желудок ребенка не окрепнет, нечего и думать, говорит он, о другой пище. Мы так и сделали. А

кто посильнее, тому и кашки дали. Я тоже сперва боялся, да он нас заверил, что все сойдет хорошо. Значит, и ты не бойся. Ну, прощай!—он сунул ему руку и скрылся.

Калакай постоял, посмотрел ему вслед да так и остался у двери. У него были на то особые причины.

Сегодня ночью через эту станцию проедет Даулет. Айбарша пойдет его встречать. Самое умное, конечно, думал он дальше,— это просто уйти. Тут уже ничего не попишешь! Не глазеть же на то, как твою любимую девушку целует другой. Уйти и все.

И все-таки он остался. Как только Рахмет ушел, он спрыгнул с подножки и затерялся в толпе.

Встречающих было много. Он шел и зорко смотрел по сторонам. Так и есть. Вот она, Айбарша, стоит на перроне. С ней две каких-то женщины.

Калакай зашел за телеграфный столб и стал следить.

Скоро прибыл воинский эшелон.

Айбарша побежала вдоль состава. Она металась по линии, заглядывала в открытые двери теплушек, всматривалась в лица солдат.

Жениха ее не было.

Калакай стоял неподвижно, прямой и подобранный. Тоска уже прошла, вместо нее явилась веселая злоба. «Поищи, — думал он, — как раз он тут и бегает».

Поезд стоял недолго. Гулко ударил бронзовый колокол, паровоз сердито и отрывисто крикнул ему что-то в ответ и поезд тронулся.

Калакай уже хотел выйти из-под своего укрытия и подойти к Айбарше, как вдруг Айбарша крикнула, бросилась бежать за вагонами.

Крикнула она что-то отчаянное, может быть, даже не имя, не слово. Может быть вопль вырвался у ней, но в это время из вагона вдруг выскочил человек и Калакай не увидел и не узнал,— он был слишком далеко для того, чтобы узнать, но как-то сразу понял, что это и есть Даулет.

Потом Калакай видел, как Даулет подхватил Айбаршу, побежал за вагоном, ухватился за чьи-то услужливо протянутые руки, и состав ушел, унося с собой его и Айбаршу.

Калакай злобно выругался, повернулся и пошел к детдомовскому составу. Однако итти в этот вагон, на-

полненный детьми, ему не хотелось. «Ох, уйти бы домой», — подумал он. Но уйти он не смел. Рахмет узнает — со свету сживет. В таких делах он всегда беспощаден.

Калакай засунул руки в карманы френча и принялся шагать вдоль вагона. Было ветрено, но мошкара и комары летали тучами. Место было нехорошее, болотистое. А Калакай боялся лихорадки.

«Эх, нехорошо. Ничего не поделаешь. Надо в вагон лезть».— подумал он и вспрыгнул на подножку.

Было тихо и темно. Бесшумно шагая, он добрался до откидного стула и сел. Надвинул на уши шапку и попытался заснуть.

Наталья услышала его шаги и подумала: «наверное, это оставшийся дежурить ходит». И сейчас же ей пришло в голову и другое.

«Но ведь он не хотел здесь оставаться и, кажется, совсем ушел».

Она встала, заглянула в коридор и увидела: тот самый сидит и спит. И ей сразу стало легче. Все-таки хоть один живой человек да есть среди этого почти мертвого царства. И какой же он скромный. Не попросил даже постелить хотя бы простыню, а тихонечко откинул стул, сел, надвинул фуражку на лицо и спит.— Хорошо, что он тут. Теперь, если что и случится с братишкой...

И вдруг она поняла, ясно, что ничего с ее братишкой больше не случится, что теперь он обязательно, обязательно выздоровеет, ибо все страшное, что было, осталось позади.

Остаток ночи она не спала, а сидела, думала и вспоминала.

Наталье Осиповне Полещук только недавно исполнилось двадцать лет.

Родилась она в двадцатом году в городе Балта. Когда девочке стукнуло три года, ее отец, известный всему городу сапожник, неожиданно умер, а мать переселилась в Житомир. Там жил у нее брат, рабочий какого-то небольшого заводика. Был там и дядя — человек молчаливый и равнодушный — девочку он просто не замечал. Зато тетка оказалась сущей ведьмой. Начались бесконечные ссоры. Кончились они тем, что мать отдала Наташу в детский дом, а сама вышла замуж.

Семнадцати лет Наталья окончила детдомовскую

школу и поступила на первый курс Киевского педагогического института. Училась на отлично. А когда со второго курса ее послали на практику в один из больших образцовых детдомов, то ей так понравилось, что она решила: здесь она и останется.

Здание этого детского дома стояло на высоком берегу Днепра, утопая в рощах и садах. До Киева от него было рукой подать. При детдоме было образцовое подсобное хозяйство. Сюда молодая воспитательница устроила свою мать и отчима. Как раз получилось так, что в день 21 июня Наталья сдала на «отлично» последний экзамен.

Утром следующего дня первые немецкие самолеты налетели на Киев. Институт закрылся.

Студенты разъехались. Наталья пешком пошла в свой детский дом.

Когда она пришла, на месте здания лежала груда черных, дымящихся развалин. И ни одной живой души. Все живое укрылось в лесу. Немецкие бомбы начисто снесли и тот рабочий барак, в котором жили родители Натальи. Никто не знал, что сталось с его жильцами.

Через несколько часов Наталья в лесу наткнулась на своего трехлетнего брата. Мальчик спал. Она взяла его на руки и пошла.

Надо было вывозить детей, но пути были уже взорваны. Наталье пришлось присоединиться к беженцам и путешествовать с ними то на подводах, то на случайных машинах, а большей частью итти пешком. За несколько часов пути погибло более ста человек. До Курска они добирались месяц. Здесь их погрузили в эшелон.

Но и тогда путешествие не стало легче. Дорога была забита составами. Эшелон неделями стоял на различных станциях. Продукты кончились. Дети голодали. Когда через месяц они добрались до Пензы, из пятисот ребят в живых осталась половина. Директор детдома, почти все воспитатели, половина обслуживающего персонала или отстали или погибли во время бомбежек.

В Пензе ребят сосчитали, сводили в баню, потом присоединили к ним детей из других детских домов, которых тоже собирались эвакуировать в Среднюю Азию. Начальником всего этого теперь уже сборного состава назначили Наталью Полещук. Маршрут эшелона был Пенза — Кзыл-Орда.

И вот опять потянулся тяжелый, подлинно крестный путь. Правда, снабжение несколько улучшилось, но зато совсем вышли медикаменты. Когда эшелон дошел до Кзыл-Орды, из тысячи ребят в живых осталось немногим более семисот.

В эти тяжелые дни больше и чаще всего вспоминала Полещук Днепр. Кажется, не было у нее большей любви, чем любовь к этой реке. Еще в Житомире, в десятилетке, она заочно влюбилась в эту могучую красавицу. А когда читала она Гоголя, то даже дыхание захватывало у нее от мощной красоты его описания. «Вот бы увидеть все это самой», — думала она.

Ее желание исполнилось. Все студенческие годы Наташи прошли у Днепра. Сколько раз она купалась в его прозрачных, прохладных водах! Сколько раз отдыхала на зеленых прибрежных лугах его, ходила в его лесах, аукалась с подругами, а возвращаясь, несла полные корзины земляники и костяники. Сколько песен она пропела ясным лугам и лесам его! И если бы не война, разве она согласилась бы разлучиться с Днепром?

Вместо Днепра Наталья увидела желтые воды Сыр-Дарьи и степи, степи, степи без конца.

Как нарочно, географию Наталья знала слабовато, а про Казахстан только и помнила: край, состоящий из степей, песков, раскаленной почвы. Теперь все это она увидела воочию. Степи лежали бескрайние, мертвые, лишенные всякой растительности. Песок да камень — вот и все! Цветов было вообще мало. Куда ни взглянешь — раскаленная пустыня, ни птицы, ни зверя, ни человека.

«Да кто же здесь живет?», — удивленно и горестно думала она.

— Зря вы отчаиваетесь, — сказал ей как-то один из спутников, человек бывалый, много видевший на своем веку. — Казахстан — это целая часть света. Вот проедем эту степь, за ней начнутся луга, за лугами встанут горы до небес, а там озера величиной с море, а за морями этими опять леса, да реки да моря.

Все это она знала и из учебников географии, но было в этих пустынных и проклятых песках что-то поистине гипнотизирующее. Они как бы зачеркивали вообще всякое представление о жизни. Так и думалось, что без конца, без края будут тянуться их мертвые

просторы, поросшие такими же мертвыми, колючими травами, и ничего за ними нет — ни лесов, ни лугов, ни гор. А как хотелось ей увидеть хотя бы Сыр-Дарью.

Название это она помнила еще со школьной скамьи. На Днепр, конечно, Сыр-Дарья не могла быть похожа, но все-таки река. А где река, там и зелень.

Но вот и река появилась под окнами вагона, а поезд мчался по тем же степям — и ничего в них не изменилось.

Бедная степная речка! Медленно двигались спокойные мутные воды ее, а кругом лежали те же серые пески.

Правда, после Кармакчи стали встречаться и камыши, но, удивительное дело, росли эти камыши прямо на сухих солончаках, да и были они какие-то не настоящие: низкие, чахлые, скорее похожие на высокую траву. Взглянув на них, Наталья с такой болью вспомнила Днепр, что даже на глаза навернулись слезы.

Заснула она уже под утро и проснулась поздно.

Около нее стояли люди, среди них вчерашний джигит и старый фельдшер, что присутствовал при раздаче рисовой каши. Был и Рахмет.

— Ну, как спали? — спросила Наталья Калакая.

По тому, как он замедлил с ответом, она поняла, что спал он плохо, а может быть и вообще не спал. Но он ответил бодро и весело.

— Замечательно спал. Спасибо вам за заботу.

— Какой вы хороший! — сказала она растроганно.

— Ага, — засмеялся Рахмет, а лицо его так и вспыхнуло от удовольствия. — Видите, какие у нас люди? Ничего, ничего — стерпится — слюбится. Еще и уезжать от нас не захотите. А Калакай у нас действительно не очень плохой. Как, по-вашему?

Наталья улыбнулась и протянула Калакаю обе руки.

— Ну, а как мальчик? — спросил Рахмет.

— Ничего, ничего, — успокоительно сказал старый фельдшер и притронулся жесткой корявой ладонью ко лбу ее братишки. — Будет жить кавалер.

Наталья испуганно подумала: «Что такое, почему они все собрались сюда?»

Старый фельдшер перехватил ее взгляд и рассмеялся.

— Не бойся, доченька! — сказал он. —Я говорю: те-

перь твой братишка выживет. Вот пульс проверял и не плохо, хороший пульс, ровный. Недавно он кушал густой рисовый отвар и теперь отдыхает. Не трогайте его!

Наталья нагнулась и посмотрела. Мальчик не спал. Глаза его светились ярче, чем вчера, на щеках появилось что-то вроде румянца. Мальчик повернул голову и тихо сказал:

— Наташа!

Больше он ничего не прибавил, но она поняла — это он говорит ей: «не бойся, моя милая, теперь все будет хорошо».

— Ну, как? — спросил фельдшер. — Что скажете, лучше ему?

— Да, кажется, лучше! — ответила Наталья.

— Да не кажется, а точно лучше! — даже прикрикнул на нее старик. —Раз я сказал: выживет, значит выживет. Целебнее рисового отвара для таких, как он, ничего нет на свете! Рис — это верное от смерти лекарство!

— А вы, товарищ дорогой, долгонько-таки спали — сказал шутливо Рахмет и поднес к глазам Натальи часы. — Смотрите, уже два часа! Я второй раз сюда прихожу. Жалко было будить. Никого, кроме вас, в вагоне и не осталось.

— Как так? — испугалась Наталья.

— Да, так! Ну, а эту девушку вы знаете?

— Мы вчера познакомились, — оторопело сказала Наташа. Она все еще не могла притти в себя. — Вы... простите, как ваше имя?

— Айбарша Сарымсакова, — отрекомендовалась, улыбаясь, Айбарша.

— Вы, Айбарша, кажется, кого-то встречали вчера? Ну, как, благополучно?

— Вполне. Доехали с ним до Кзыл-Орды. Я только что вернулась. Всю ночь не спала, — прибавила она весело.

— Бедная вы моя!

— Ничего, ничего, —успокоила ее Айбарша.—В иные дни мы спим и больше, чем положено. Ладно, раз уже познакомились, разрешите приступить прямо к делу. Во-первых, знакомьтесь. — Айбарша выдвинула вперед пожилую казашку: — моя мама, Даметкен.

— Очень приятно! — улыбнулась Наташа и протянула руку.

Даметкен растерянно взглянула на Айбаршу. Она не знала, что надлежит делать с протянутой рукой незнакомой русской девушки.

— Дайте ей руку, апа. Дайте скорее, — это она здоровается с вами, — быстро шепнула Айбарша.

Пожилая женщина смущенно протянула руку Полещук и та горячо ее пожала. Обе улыбнулись.

— Порядок, — сказал Рахмет.

— Жаксы, — сказала пожилая женщина.

— Теперь вот какое дело, — продолжала Айбарша. — Товарищ Рахмет дал указания — особо слабых детей отдать на воспитание желающим. Так я решила взять именно вашего брата. Я долго глядела на него, пока вы спали...

— Спасибо! — прервала ее Наталья мягко, но решительно, — но, простите, пожалуйста, с ним расставаться я никак не могу.

— А зачем же расставаться? — весело спросила Айбарша. — Нет, оставайтесь и вы у нас. Дома нас только двое: я и мама. А живем неплохо. Вот и будет нас четверо. А маме так нужен был бы воспитанник!

— Ох, не верю я что-то, что он выживет! — вздохнула Наталья.

— Однако же, вы упрямая, — недовольно нахмурился фельдшер.

— Вы простите, Наташа,— мягко сказала Айбарша,— так, кажется, вас зовут? Но вот есть у нас пословица: «На дорогах неисхоженных много разных глыб положено». Понимаю, трудно вам будет сначала у нас. Сыр-Дарья не Днепр. Что уж тут и говорить.

Наталья украдкой вздохнула.

— И почему вы вздыхаете, я тоже понимаю, — продолжала Айбарша. — Кому же не дорога родина. Но именно поэтому и мы нашу Сыр-Дарью любим и не променяем ее даже на ваш прекрасный Днепр. Но, кажется, мне, поживете вы, присмотритесь к ней и тоже полюбите. Вот отец Бакен, так зовут нашего фельдшера, — только что сказал вам — рисовый отвар — лекарство от смерти, а родина-то этого лекарства, которое спасет вашего брата, это наша Сыр-Дарья.

Глава шестнадцатая

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПРО человека сдержанного, упорного и себе на уме говорят: «Верблюд пройдет над ним и он не шелохнется».

Про Рахмета же говорили все так:

— Да он и вообще, кажется, сердиться не умеет! Вот сравните двух секретарей райкомов — Рахмета и его предшественника. Тот, чуть что не по нем, такой скандал поднимет, так раскричится, что затыкай уши и убегай. А этот — никогда тебя и на «ты» не назовет. Утром придешь к нему, он этак вежливо «вы, вы», да за ручку. Вечером — опять-таки «вы». И дома он «вы» и «вы», никого на «ты». Его в аулах не боятся и он со всяким поговорить может. Живет по пословице: «Узнают невесту по походке, чабана по палке». А работает как! До него наш район в хвосте плелся, а как только Рахмет пришел, так в первый же год наш район вышел в первые ряды.

— Да, этот зубы тебе заговаривать не будет! — говорили другие.

— Хоть есть пословица: «В том краю, где не болтают, в одних лаптях щеголяют», но наш секретарь не из таких. Он свое дело лучше всякого специалиста знает. Кто же с ним будет спорить?

Так говорили о Рахмете, и нужно сказать: правду говорили.

Его вежливость, обходительность и скромность не были напускными. Они вытекали из крепко усвоенного им принципа: большевик должен быть воспитателем. Рахмет и был им. Он знал, что воспитатель должен проникать в психологию каждого воспитанника, ибо каждый человек имеет свой характер, свою волю, свои слабости и свои достоинства. Если не изучить человека, то как ты к нему подойдешь? Это было трудным делом, но Рахмет не унывал. Ему часто приходили на память слова Абая:

«Учитель, будь неутомим
В священном деле воспитанья».

Рахмет был неутомим.

Вежливость и обходительность стали не только его привычкой, но как бы второй натурой его.

Война, конечно, внесла много перемен в его представление о мире и людях, да и сам он изменился значительно. Раньше был он человеком веселым, охочим до шуток и смеха. О чем бы ни говорил, всегда улыбался. Теперь же он ушел в себя, стал серьезным и даже молчаливым.

— Ай-ай, изменился же наш секретарь! — удивлялись одни.

— Тут изменишься! — возражали другие.— Тут как раз изменишься! Ты думаешь, нам тяжело, а ему легко? Ему больше нас достается.

— Конечно,— качали головой третьи,— теперь радоваться ему нечего. Кто с народом живет, тот его болезнями и страдает. А помощников-то нету. Попробуй-ка, один управься с районом! Говорят же про птицу: «На крыльях мчится, а на хвост садится». Крылья-то у него — люди, а много ли их у него сейчас?

В этом-то и состояла причина столь резкой перемены Рахмета.

Однажды, разговаривая с Байжаном, он прямо и ясно объяснил ему все: Байжан тогда жаловался на нехватку рабочих рук.

— Сейчас в это дело вмешался обком, обещают дать людей, — хмуро говорил Байжан,— но в прежние темпы я уже что-то не верю. И людей уже меньше и люди не те.

Рахмет подвинул к себе лежавший на столе разграфленный лист бумаги и сказал:

— Сейчас мы точно сосчитаем, на что можно рассчитывать. Вот, смотрите. Из тридцати двух колхозов района в армию ушло сто восемьдесят шесть человек. У меня в аппарате нехватает двух секретарей, трех завов и двух инструкторов. В ряде отделов исполкома нет заведующих. На что уж важный участок райземотдел, а и он без хозяина. Да и где я такого хозяина найду, как прежний? Золотой был мужик.

— Да, я знаю его. Его уход — большая потеря,— согласился Байжан.

— Еще бы! Прежний-то начальник был — голова. Он все знал, все умел! Вот недавно из армии письмо прислал. Пишет: комиссаром полка назначен.

— Быстро! Молодец!

— Что быстро? Ведь он же военный, участник гражданской войны.

— Разве?

— Вот тебе и разве! А говоришь, что знаешь его. Он еще со студенческой скамьи в красную гвардию ушел. Из-за этого он и не окончил института. Учился он в Институте водного хозяйства. Уже после демобилизации и трехлетней службы в ташкентском гарнизоне сумел как-то сдать экзамен и получить диплом. Тогда его и прислали в наш район агрономом. Разве ты не знал всего этого?

— Кое-что я знал, конечно. Знал, что он раньше агрономом у нас работал, а что касается его участия в гражданской войне, так это я в первый раз от вас услышал.

— Скверно! Не присматриваешься, значит, ты к людям. Впрочем, он много болтать не любил. Вот только с колхозниками разговаривал часами. И все-то шло у него, как в хорошем механизме. А уехал, и механизм стал. А кем заменить и ума не приложу.

— Почему же вы его раньше не забронировали?

— Да, попробуй забронируй такого! Он со мной и разговаривать не стал. Ушел и все. Сейчас посадил на его место старшую научную сотрудницу из отдела животноводства. Женщина она деловая, но все же не то. Не специалист, не агроном — вот беда. И получается — для войны нужен хлеб, а чтоб хлеб рос, нужна голова. И не просто какая-нибудь, хоть бы и умная, а непременно голова опытного агронома. А где его найти, агронома-то? Вот и хочу я с тобой посоветоваться. Есть тут у меня один человек на примете. Правда, как будто не шибко стоющий, но знаешь — на безрыбье и рак рыба. Все-таки посмотреть его нужно было бы.

— Кто же это такой?

— Калакай.

— Да что вы говорите? Калакай Артыков? — и Байжан сделал такое испуганное лицо, что даже хмурый Рахмет улыбнулся.

— Не нравится? — спросил он.

— Нет! Не нравится. Обвинить его ни в чем не могу, но какай-то он не такой, как все... Однако, коли вы решили назначить его, тогда со мной и говорить вам незачем!

— А затем с тобой и говорю, чтобы тебя не огорошило это назначение. Да ты не хмурься, не хмурься. Ничего тут не поделаешь. Вот возьмем, например, Сырбая. Разве знает кто лучше его наш район. Принеси ему горсть земли, так он не только по виду, по запаху различит откуда она. А ну-ка, сделай его начальником райзо, сразу все в трубу вылетит. Значит, его знания не те. У него не наука, а «черная колотушка» да «войлочная книга», как говорят казахи. А нам надо специалиста высшей марки. Здесь интуицией не возьмешь. Нужны знания.

— Это так,— согласился Байжан.

Рахмет встал и пересел к Байжану.

— А я ведь знаю, почему ты против Калакая. Он подбирается к невесте твоего друга. Ну, это чепуха! Айбарша и близко его не подпустит.

— Да не в Айбарше дело,— задумчиво и спокойно ответил Байжан.— Я знаю, мир изменится, а эта девушка нет. Но ведь не больно честен этот ваш кандидат. Вот он и начнет вымещать на Айбарше все свои обиды. А начальник райзо мало ли может навредить? Тогда что?

— Глупости говоришь, мой милый! Что же у нас глаз что ли нет? Так ему по рукам дадим, что пальцы отвалятся. А во-вторых, слишком уж ты его охаиваешь. Он человек с очень трудной биографией — сирота, воспитанник детдома. Таких мы должны воспитывать.

Байжан, которому разговор о Калакае начал уже порядком надоедать, коротко ответил.

— Ну, вам виднее. Я ведь сказал, что против него ничего личного не имею. Будет хорошо работать — отлично.

— Ну, значит, с этим покончено,— решил Рахмет,— выдержит, оставим, нет — и часа лишнего не продержим. Вот только нужно о смене позаботиться. Если Айбарша не будет против, я бы направил ее на краткосрочные курсы по подготовке гидротехников. Как ты думаешь?

— Это дельная мысль. Я не думаю, чтобы она стала возражать,— ответил Байжан.— При Кзыл-Ординском техникуме имеются специальные шестимесячные курсы. Вот и пошлите ее туда.

— Хорошо, и с этим решено. Как встречу ее, так и поговорю.

— Теперь о твоих делах. Сегодняшним поездом ты едешь в Кзыл-Орду. Обком обещал собрать рабочих со всей области. Все это нужно окончить в течение недели, ибо пока земля не промерзла, мы должны проложить еще один рукав. — Он встал и протянул руку. — Ну, пока...

Байжан ушел.

Рахмет созвонился с членами бюро, согласовал назначение Калакая, а потом вызвал его к себе. Когда Калакай зашел в кабинет секретаря, тот просматривал его анкету и никакого внимания на вошедшего не обратил. Калакай даже вспотел.

— Ну, как, товарищ агроном, наши дела? — спросил, наконец, Рахмет, кладя анкету на стол.— Как выполняется план вспашки?

Калакай слегка развел руками.

— Выполняем-то не плохо,— сказал он,— да земли маловато. Участки старые, земля на них истощенная, а вдоль рукавов пахать — неизвестно, какой рукав будет окончен раньше.

Рахмет встал и подошел к стене, на которой висел огромный план канала. — До сих пор, — сказал он,—мы сумели пройти трассу вот до этого места. Никто не предполагал, что мы управимся в такой короткий срок. Ведь посмотри, даже та магистраль, которую мы успели закончить, она сразу удваивает нашу посевную площадь. Значит есть для чего стараться, есть над чем работать.

— Правильно! — поддержал Калакай и спросил: работа будет продолжаться на трассе и дальше?

— А как же, и даже усиленными темпами. Область обещает собрать народ со всех районов. Участок, который обводнит левый приток — его мы и будем прокладывать,— обнимает до пятнадцати тысяч гектаров, из них не менее трети мы засеем уже в следующем году. А это значит — посевная площадь нашего района сразу же увеличится на восемьдесят процентов.

Рахмет обошел стол и сел опять на свое место.

— Значит, с трудностями мы будем бороться по-большевистски, не так ли? — спросил он Калакая.

— Так,— ответил Калакай.

— И основная тяжесть работ ляжет на нас двоих.

Калакай молчал.

— Почему она на меня ложится, это тебе понятно. Но вот, почему я тебя беру себе под пару, это не так уж и понятно. Как, по-твоему, почему?

— Потому, что я агроном? — спросил Калакай, все еще не понимая толком, что от него надо.

— Не только! — поправил Рахмет.— Совсем не только потому. Ты знаешь, что райземотдел не имеет заведующего?

— Как не имеет? Там сидит партийный работник.

— Партийность не спасет, коли человек специальности не имеет. Она — животновод, а туда нужно агронома. В земледельческом районе райземотдел самый основной орган. Если там будет сидеть человек незнающий, то он и весь район завалит. Вот поэтому и надо подобрать специалиста.

Рахмет посмотрел на Калакая так, что тот подумал: «Что такое он крутит? Чего ему нужно?»

— Что же, надо поискать такого,— сказал он вяло.

— Вот я и ищу,—ответил Рахмет. — Вот послушайка это. — Он вынул из папки автобиографию Калакая и стал читать.

«Родился я в 1917 году, на территории нынешнего колхоза «Жана-Талап», Яны-Курганского района, Кзыл-Ординской области. Отец мой был байским пастухом. Когда мне исполнилось четыре года, он умер от тифа. Еще через год умерла мать. Осталось нас трое. Бай, у которого работал отец, прогнал нас. Затем умер младший братишка. Меня и старшую сестру подобрал какой-то сердобольный человек и свез в Арысь, в детдом. Там через несколько месяцев умерла моя единственная сестра, и я остался один. Потом...»

Рахмет положил листок автобиографии и посмотрел на Калакая.

— Всех этих подробностей я и не знал. Значит, нужда с колыбели! Да, это хорошая школа! Ну, а дальше все понятно само собой. В этом же детдоме ты окончил десятилетку, потом поступил в вуз. Так?

— Так!

— Выброс тебя бай на улицу в царское время, ты бы не только не получил высшего образования, но и вообще сдох бы с голоду. А нет — тянул бы весь свой век байскую лямку, да и околел бы около порога его дома так же, как и твой отец. Так?

— Так, конечно.

— Помни же это! — Рахмет снова нагнулся над листом его автобиографии.

— Член ВЛКСМ. Пять лет комсомольского стажа. Неплохо, кандидатский стаж с ноября 1939 года. Ого! Почти три года.

— Недавно подал заявление о принятии в члены партии.

— И это знаю.— Рахмет еще некоторое время читал про себя анкету, а потом отодвинул ее.— Хорошо! Я тебе прямо говорю — кое-что в тебе очень мне не нравится. Нет, ты не совершил какое-нибудь преступление или что-нибудь непростительное. Но смотри! Не исправишься, твои выходки к хорошему не приведут. Это я тебе должен прямо сказать.

Калакай засмеялся.

— Смешно? — нахмурился Рахмет.

— Вы только не обижайтесь. Вспомнился мне один рассказ. Урядник влюбился в одну крестьянскую девушку, но та уже гуляла с парнем. Вот вызывает урядник парня и говорит: «Ну-ка, собирай, милый, свои пожитки и чтоб через час духа твоего не было». «Почему?» «А кто тебя знает, кто ты такой. Вор, может». «Бог с вами, господин урядник. Какой же я вор?» «Не вор, а глаза воровские»!

— Так,— сказал Рахмет.— Можешь не кончать. Мораль сей басни ясна. Но, во-первых, я твоих любовных дел не знаю и знать не желаю. Слышишь!

— Да я...— заикнулся Калакай.

— Молчи! Молчи и слушай, что тебе говорят. Ты — большевик, а одно из основных качеств большевика — это способность всегда управлять собой. А в тебе нет настоящего терпения, обдуманно-критического отношения к делу и к себе раньше всего. Вот первое, что я хотел тебе сказать.

— Есть у вас и второе?

— И второе скажу. Ты, как эхо, на все откликаешься, кто что ни скажет. Хорошо. «Глас народа — глас божий», но плестись в хвосте, выполнять случайные прихоти, шататься из стороны в сторону... Нет, не большевистское это дело.

— Ну, раз вы начали меня разбирать по косточкам, добивайте,— сказал Калакай. Он хотел, чтобы это зву-

чало шутливо, но на лице его появилась страдальческая гримаса.— Есть, небось, что-то и еще?

— А ты не торопись, не огрызайся. Есть и еще,— мирно ответил Рахмет.— Не со злобы говорю, а по дружбе и по долгу. Я тебе не скажу: слушайся меня, Калакай, я умнее тебя. Но что я опытнее тебя — это факт. Пока ты только рядовой практик, так дело, очевидно, в том, чтоб соединить в себе и практику и передовую теорию. Так нас и учит товарищ Сталин. И помнишь казахскую пословицу: «Спрашивай не с того, кто много жил, а кто много видел». Я видел больше тебя, поэтому я тебя и учу.

— Об этом я не спорю.

— И поэтому — четвертое: партия нас поставила не для того, чтобы мы проводили ту или иную кампанию, а для того, чтобы воспитывать массы. А чтобы быть таким воспитателем, нужно быть самому воспитанным. Нужно во всем примерным быть. Только человек, обладающий высоким чувством морали, и может быть воспитателем.

— Иными словами, вы хотите сказать, что как раз моральных качеств у меня и нехватает.

— Нет, как раз я этого сказать не хочу,— ответил Рахмет.— Если бы я думал так, то нам и говорить было бы не о чем. Это я ответил тебе на твой вопрос, каким должен быть коммунист. А говорю я с тобой потому, что, во-первых, мы, как члены партии, обязаны исправлять ошибки друг друга, во-вторых, бюро намерено назначить тебя начальником райзо.

— А бюро спросило меня, согласен ли я на это назначение? — вдруг спросил Калакай.

— Согласен, не согласен,— это не разговор. Работа тебе знакомая. Если бы не война, мы бы, конечно, и кроме тебя нашли кого-нибудь, а теперь выбирать не из кого. Ты — один.

Калакай молчал.

— Значит, на следующем бюро решение будет утверждено. И с богом, работай. Договорились?

— Не знаю,— ответил Калакай нерешительно.

— Не ломайся,— серьезно сказал Рахмет.— Я с тобой говорю сейчас серьезно. Ты — специалист, а это значит—в райзо мы не позволим тебе сидеть чучелом, выжмем из тебя все, что ты имеешь. Сейчас каждое

зерно равно пуле. Помни это,— Рахмет встал и опять подошел к карте.— А прежде всего нужно закончить левый рукав. Это единственно правильное решение вопроса.

— Правильное-то правильное, но хорошо, если другие районы помогут, а если нет?

— Я же сказал тебе: обком вынес решение. А коль решение вынесено, значит, все. Обком приостановил работы на канале во время уборочной и это было правильно. Главное — убрать хлеб без потерь. Теперь уборка окончена. Вчера я связался по телефону с секретарем обкома. Договорились переключить всю рабочую силу на окончание строительства первой очереди, то есть закончить работы именно на левом рукаве и до заморозков. Байжан сейчас уехал в Кзыл-Орду, чтобы утрясти вопрос с рабочей силой.

— А сколько человек обещают?

— Кроме колхозников нашего района, дадут еще десять тысяч. Хватит тебе?

— О, тогда, конечно, кончим.

— Ну вот! Таким образом, начальник райзо — ты. Помни! Это ответственная работа. Вся помощь фронту, которую мы можем дать, это зерновые и животноводческие продукты, а все это у тебя в руках. Вот почему я тебя так наругал. Ты не обижайся.

— Ну, что там! — ответил Калакай, давая понять, что предложение принято.

Рахмет встал со своего места и сел с ним рядом.

— Теперь еще одно последнее — это об Айбарше.

Лицо Калакая сразу вспыхнуло, он дернулся, чтобы что-то сказать.

— Стой! — остановил его Рахмет.— Я знаю, ты ее любишь. Это твое дело. Я бы и сам с тобой об этом разговаривать не стал, если бы не одно: ты-то ее любишь, а она-то тебя нет. А любит она ушедшего на фронт Даулета Сырбаева. Ты это знаешь.

Калакай молчал.

— Так вот, если это правда, боюсь, как бы все это не кончилось печально!

— Почему?

— А вот почему. У каждого свое самолюбие, свой гонор. Но иногда гонор этот разрастается до того, что затмевает все. Ты пойми меня правильно: никто тебе не

запрещает любить Айбаршу. Но только будь умен и честен. А пройдет она мимо тебя, ну, что ж? Стойди тогда и не мсти.

Калакай хотел что-то возразить, как вдруг в передней послышался веселый женский голос, смех. Оба они сразу посмотрели на дверь.

— Агай у себя? — спросили за дверью.

— Пожалуйста,— ответила секретарша Рахмета.

В распахнувшуюся дверь влетела Айбарша и подбежала к Рахмету.

— Ага, суюнши, суюнши! — закричала она, схватила его в объятия и несколько раз поцеловала в обе щеки.

Потом приложила руку к сердцу и тихо сказала:

— Ой, как же я не умерла!

— Да что случилось такое? — спросил Рахмет.

— Вот,— Айбарша вынула из грудного кармана гимнастерки синий конверт и сунула его секретарю.— Письмо от Даулета.

— Что же он пишет? Как на фронте?

— Потом расскажу. Но помните, я вам раньше показывала письмо — в нем он писал, что завтра идет в бой. С тех пор прошло около месяца и я ничего о нем не знала.

— Ну, и что же?

— В этот месяц,— сказала Айбарша,— мне свет стал не мил. Даже в глазах стоял все время какой-то туман. И вот теперь... Ой, агай,— она вдруг утерла слезы.— Почему в самые счастливые минуты я вдруг плачу навзрыд?

Рахмет взял из ее рук конверт, оттуда выпала фотокарточка. Он стал рассматривать ее. Даулет был снят танкистом. Сейчас он казался таким крепким и мужественным.

— Ай да молодец! — сказал Рахмет.— Счастливая та невеста, у которой этакий жених. Ну-ка, ну-ка, что он пишет.

— Нет, нет, я сама вам прочту потом. Мне не терпится изложить все скорее. — На Калакая она не обратила никакого внимания.— Он встретился с немцами возле Кингисеппа. Был он на танке «КВ», врезался на нем в их пехоту, как в глину, и подавил столько врагов, что не счесть.

— С ума сойти! — воскликнул восхищенно Рахмет.

— Ну вот теперь, читайте сами. Вот здесь: «Награжден орденом Ленина».

Рахмет стал читать, а Айбарша вдруг заметила Калакая. Тот сидел неподвижно. Когда Айбарша подняла на него сверкающие глаза, как будто спрашивая: «а ты, что не радуешься?», он быстро отвел свой взгляд в противоположный угол. У него было такое лицо, что Айбарша стиснула кулак и чуть не выругалась. Если бы не Рахмет, она бы, конечно, сказала кое-что этому Калакаю.

— Замечательно! — вдруг крикнул Рахмет, отдавая ей письмо.— Поистине замечательно! Вот это подвиг!

Глава семнадцатая

ТАК И СЛЕДУЕТ

ВСКОРЕ после ухода Даулета в армию Даметкен решила серьезно поговорить с дочерью Айбаршой. Что-бы там ни было, а поговорить надо. Мало ли что могло быть?

— Голубка моя,— сказала мать,— послушай-ка меня. Ты росла в нашей семье вольно. Ничего мы тебе не запрещали, ни от чего не удерживали, помнили слова: «коли клюв крыла сильней, не крылом, а клювом бей». Да и время теперь иное. Теперь уже девушку не запрешь под замок. Правда, и в старину у богатых людей дочь росла вольнее, чем у нас — бедняков. Да ведь и у байской дочери свобода-то была только до порога родительского дома. Выдадут замуж ее и тогда всему конец. Молодая жена к свекору и подступиться-то боялась, а теперь его «товарищем» называет. Но вот я тебе скажу, хоть ты еще родительский дом не оставила, чья ты невеста — знают все. Родители у твоего жениха — люди хорошие, сердечные, тебя они любят, как родную, а все же ты смотри, дочка, в оба.

Айбарша прервала ее:

— Мама! А к чему ты все это клонишь? Говори прямо!

— Да я прямо и говорю, доченька. Не было бы вой-

ны и говорить бы было нам с тобой не о чем. Пришел бы твой час, ушла из родительского дома в мужний, вот и весь разговор. Не думаю, чтобы тебя старики стали бы стеснять, а муж и подавно, и жила бы ты себе вольной птицей, а теперь...

— А что же теперь?

— А вот что, родная. Даулет ушел на фронт,— да будет благополучно его возвращение! Если бы создатель внимал нашим молитвам, месяц пролетел бы как день. А ты должна себя блюсти. Нету у старика сына, будь ему вместо дочери и помни — он человек склада старого — суров и прост. А ты на это не смотришь. Вот, например, придет к тебе знакомый, а ты с ним под ручку пойдешь и весь аул это видит. Ладно! При Даулете сно бы ничего. Все знают — ты девушка честная, и коли жених верит тебе, то и все поверят. А теперь не то.

— А что же теперь случилось, мама? — спросила хмуро Айбарша.

— А теперь, дорогая, за тобой всюду глаз да глаз. Куда ты пошла, с кем ты пошла? Как ты себя ведешь? Все это на виду, и все это интересует людей?

— Ну, мама, на всякий роток не накинешь платок, — кротко ответила Айбарша.

— А знаешь, милая, другую пословицу: «Самое плохое на свете — сплетни да колики». Знаю, дурная слава к тебе не пристанет, а все нехорошо это.

— Ты к этому вела? Ну, что ж? Вот как установится за мной дурная славушка, тогда ты мне и говори об ней, а сейчас что? — и она уже повернулась, чтобы уйти.

— Стой! — прикрикнула на нее Дамегкан — Сиди! Это ты о сплетнях говорить начала, а я к другому речь вела. Надо, говорю я, как-то старика утешить. Сырбай человек простой, хитрить он не умеет, на шутки не больно охочь. Он либо любит, либо ненавидит. Вот тебя, например, он до этого дня, как родную любил.

— А теперь, небось, ненавидеть станет. Так, что ли?

— А как будешь себя вести. Если хорошо — за что же ненавидеть-то. Он человек правильный, вот что я говорю.

— Мама,— сказала Айбарша после короткого раздумья,— ты не смотри, что я тебе наговорила много лишнего. Я ведь знаю, к чему ты клонишь. Ты не бойся, пожалуйста... Я все понимаю. Ты была честной и хоро-

шей женщиной. Я сумею прожить на людях не хуже, чем ты. Разве ты сомневаешься?

— Да нет, не сомневаюсь, голубка, а просто учу тебя. Будь ты степенней, держись ты при стариках построже, старайся, чтобы они тебя все время видели. Пойдешь куда — опять спрашивай их разрешения, им это приятно будет. Потерпи уж! Даулет приедет, тогда и наверстаешь все.

Айбарша медленно и задумчиво покачала головой.

— Вот это-то и невозможно, мама. Ты ведь сама говоришь: «Не прежнее время». Сейчас все мужчины на фронте. Работать-то кто должен? Женщины да девушки. А я к тому же бригадир. А ты знаешь, как мы работаем. Утром уйдем, приходим ночью. Так не под конвоем же мне ходить.

Даметкен молчала.

— Что поделаешь! Работа ведь! Одно только, пожалуй,— буду больше находиться у них, чем у себя дома. Советоваться с ними буду, рассказывать им обо всем буду и обойдется как-нибудь.

На том и договорились.

Между тем, подготовка и прокладка левого рукава канала развернулась во всю. Байжан уехал за рабочими — ему было обещано десять тысяч человек. Вернулся он к концу сентября. Однако людей было много меньше, чем ожидали. Всего он завербовал шесть тысяч рабочих. Колхозники в это время занимались очисткой арыков и их нельзя было оторвать.

Чистят здесь арыки каждый год осенью и это совершенно необходимо. Когда начинают дуть осенние ветры — резкие, пронзительные, сухие,— приносят они с собой целые кучи песку и засыпают ими арыки. Но это было бы еще полбеды: песок и выгрести недолго. Самое главное другое — они несут с собой стебли трав, мусор, летучие семена растений и этим заваливают арыки иногда до самого края.

Особенно много хлопот причиняет трава — разновидность перекати-поле — гигантское растение из отряда сорников. Называется трава эта туе-карын, то есть верблюжий живот. И, действительно, по сравнению с другими сорняками туе-карын выглядит, как верблюд перед овцами.

Сыр-Дарьинское перекати-поле — шар вышиной со взрослого человека, а толщиной — в два, три обхвата.

Вот и катится такой огромный, совершенно круглый ажурный мяч по степи. И до тех пор катится, пока его не остановит арык или глубокая яма. Тогда в нем он и оседает.

А потом происходит вот что.

Густые, хитро переплетенные ветви туе-карына начинает забивать песок, пыль, мелкий щебень и вынуть тогда этот огромный шар уже почти невозможно. Топором его не подрубишь, — не дерево, кетменем не выбросишь, — не песок, не вынешь его и лопатой, как жидкую грязь, не осилишь и тяглом, даже если впрячь верблюда. Верхняя часть сломается, нижняя — так и застрянет в яме. Впрочем и верхнюю часть выломать нелегко. Засохнув, стебель этого сорняка становится как бы стальным.

Осенью в степи, когда наступают первые холода, все туе-карыны, сколько их есть, срываются с корней и летят через степь. На это стоит посмотреть! Огромные туе-карыны похожи тогда на взбесившееся стадо каких-то чудовищ. Порой кажется, если все эти гигантские шары налетят на тебя, ты будешь свален и расплющен ими на смерть. Пыль, ветер, свист. Можно подумать: все живое стерто и сметено нашествием неведомых чудовищ. Ты только один и остался живым.

Если дать этим сорнякам свить прочное гнездо, вся система арыков сравняется со степью в первый же год. Поэтому колхозы прочищают оросительную систему дважды — осенью — в период утихания холодных ветров, и весною — перед пуском воды.

Сейчас эта работа приобрела особую остроту: оставшиеся дома колхозники понимали, что новых арыков им не вырыть, нужно старые сохранить.

Вот в это самое неподходящее время и пронеслась весть, что все мало-мальски трудоспособное население должно отправиться на трассу. Во всех колхозах прошли собрания.

Было много «за» и «против», но все же большинство решило: надо итти, зря людей собирать не будут. Поэтому, кроме выделенных по разверстке, отыскалось и много добровольцев. В областной газете «Ленин-жолы» было опубликовано обращение комсомольцев «Кея-

Тогай» с призывом ко всей молодежи области. Все комсомольцы, способные держать лопату, призывались на трассу строительства.

Инициатором этого обращения была Айбарша. Составил же обращение один видный писатель. Письмо было написано убедительно и поэтому из шести тысяч работающих на канале четыре с половиной тысячи были комсомольцы — все больше девушки и женщины.

Старики же только чесали затылок да смущенно крякали.

— Ну, посмотрим, посмотрим, — говорили они, — какой такой канал бабы отхватят. Что они без мужиков-то сделают?

Но скоро и они убедились, что работа идет споро, точно так же, как если бы там трудились одни мужчины.

Комсоргом строительства была назначена Айбарша. Она провела ряд общих собраний, и собрания эти приняли следующую резолюцию:

«1. Войти с ходатайством в директивные организации о переименовании «левого» рукава в «Комсомольский».

2. Закончить канал до заморозков. Во всяком случае, работу продолжать и зимой по мерзлоте.

3. Комсомольский канал должен обеспечить полив десятки тысяч гектаров посева».

Работа проводилась одновременно в двух направлениях. Первая и значительно большая группа строителей прокапывала левое ответвление центральной магистрали канала. Вторая группа завершала работу, начатую бригадами Сырбая.

Главным бригадиром Байжан назначил Айбаршу. Сырбай же как был, так и остался бригадиром при главном инженере. Таким образом, Сырбай и Айбарша разошлись по разным объектам.

Айбарша хотела взять к себе Тарбию, но Сырбай запротестовал:

— Нет, нет, милая, ты об этом и не думай.— сказал он. — Как же это я без старухи-то останусь? Ведь мне, дорогая, уже семьдесят лет. Коль приключится что ночью, как же я буду? Нет, нет, старуху мою ты не тронь! А вот мать свою возьми. Даметкен женщина дельная.

Айбарша так и сделала, но она поселила у себя не только свою мать, но и ее приемыша Искандера и сестру этого приемыша — Наталью.

Все было тихо, мирно, и Сырбай не мог нарадоваться на свою будущую сноху. И вдруг ему кто-то донес: в землянку повадился бегать Калакай. Придет в выходной день утром и до вечера не вылазит. Что он там делает, к кому он ходит — неизвестно, но уж не к Байжану, конечно.

Сырбай сначала на эти слухи не обращал внимания, потом стал задумываться, а под конец просто обратился за спросом и за советом к Даметкен.

Но та только руками развела.

— Говорила я дочери! У ней один ответ: не ко мне он ездит, а к Наталье. Ну, что на это скажешь? Я и сама замечаю: он к этой Наталье, как муха к меду липнет. Как приедет, так ни на шаг от нее.

— Ну, хорошо, коли так, — ответил Сырбай, уже несколько успокоенный.— Да вот люди разное говорят. Ты смотри — она невеста. Как бы там чего... — Он очень выразительно покрутил пальцами перед ее носом.

— И думать не смей, — прервала его Даметкен. — Не в таком правиле я ее воспитала. Нет, нет, ты злых людей не слушай. Они невесть что наболтают.

В этот же день она поговорила с Айбаршой, припугнула даже ее, но та ответила очень коротко и ясно:

— Ты за мной не смотри, я сама за собой слежу. И не морочь мне голову. А коли ездит парень к моей подруге, то и пусть ездит. Я не против этого.

— Так-то оно так, — опять согласилась Даметкен, — да ведь парень-то что-то не больно хороший.

Айбарша на нее только рукой махнула.

— Ты знаешь, мама, — сказала она увлеченно и даже глаза у ней блеснули. — Вот как можно ошибиться в человеке! Я ведь тоже думала о нем нехорошо, а на самом деле нет. Он человек как человек и даже хороший он человек. Значит, не с той стороны я к нему подошла. Был у нас один такой разговор. — Она передохнула и собралась с мыслями.

— Вот что он мне сказал: неправа ты в отношении меня, Айбарша. С самого начала была ты со мной неправа. Когда-то я был влюблен в тебя крепко, а ты на

меня никакого внимания не обращала. Это бы ничего — любишь ты другого, так тому и быть. Только смеяться-то зачем же? А ты ведь просто издевалась! Крепко я на тебя был сердит, Айбарша. Думал, как бы отплатить тебе. И наверно отплатил бы. Но тут грянула война и не до этого стало. Теперь все эти обиды да дрязги, как шелуху, ветром смело. Каждый из нас работает, каждый делает свое. Так до того ли нам, чтоб ссориться да с мелкими обидами считаться. И вот, подали мы друг другу руки и поцеловались по-братски. На этом и разошлись по своим местам.

— Так-то оно так, — опять сказала Даметкен, — да ведь мало ли кто что скажет. Не всякому верь, да и язык-то, знаешь, без костей.

— А ты на работе его посмотри, — горячо заступилась за своего нового друга Айбарша. — Ты смотри, у него ни днем, ни ночью нет покоя. Весь оброс, иногда по неделям не раздевается, так на полях и спит, все лично сам проверяет, ничего на других не перекладывает. Нет, нет, не такой он, не такой.

— Так,— сказала Даметкен.— Ну, а с Натальей он в каких отношениях?

— С Натальей в каких? — медленно переспросила Айбарша, думая о чем-то своем и с сомнением посмотрела на мать.— Да ты ведь видишь, наверно, в каких.

— Говори, говори, — подстегнула ее Даметкен. — Все говори, ничего не скрывай. Она же мне вроде как вторая дочка.

— К Калакаю она очень привязана, — понизив голос, объяснила Айбарша. — Знаешь, Калакай целых двенадцать часов, не отходя почти, продежурил над ее умирающим братишкой. Тогда же мне Наталья и сказала, что ей очень запал в сердце этот Калакай. Ну, что же, он парень интересный. Совет им да любовь.

— До чего бы плохого не дошло между ними, — уклончиво сказала Даметкен, опять-таки думая о своем. Айбарша рассмеялась и махнула рукой.

— Наталья не такая, — она себе на уме.

...Строители работали энергично. Все были довольны их работой. Один только Сырбай хмурился и ворчал. А ворчал он вот почему.

Убрав без потерь рис, он пришел к председателю колхоза Масакпаю и сказал:

— Дорогой мой, уборка кончена, подходят сроки сева, но знай: там, где мы убирали рис, земля утомилась. Надо ее оставить под пар. На наше счастье вокруг «Торангул-Сая» закончена копка арыков и пущена вода, а там немало хорошей земли. Вот там и надо бы пахать.

— Так-то так,— сказал председатель,— но ведь опять-таки голой рукой эту землю не возьмешь. Нужно от головного канала прорыть арычки. А сумеем ли?

— Сумеем! — бодро тряхнул головой Сырбай. — Ты только покажи, где сеять будем, а я выгоню всех в поле, от мала до велика, и за неделю кончу.

Но председатель, как всегда, Сырбаю не поверил. Где, мол, тебе столько арыков проложить! Тогда Сырбай обратился прямо к Рахмету и тот приказал исполнить волю старика.

И вот началась работа. Сырбай обещание свое исполнил: он собрал всех способных держать в руках лопату. Со стороны казалось, много ли народу соберешь? В мирное время колхоз мог дать более двухсот рабочих рук, теперь же казалось, что вообще некому работать. Но это только казалось. Сырбай вывел на поля и вооружил кетменями опять-таки двести человек. Правда, тут были и белобородые старики, и дряхлые старухи, и малыши, только еще вчера гонявшиеся за бабочками, но все это была сила, настоящая рабочая сила.

Всего этого как раз и не знала Айбарша, работающая совсем на другом участке.

Как-то встретив ее, Рахмет рассказал о решении правительства быстрее закончить работу на левом рукаве и добавил:

— Имей в виду, собрать людей нам будет трудно по двум причинам. Во-первых, мы отнимаем последнюю рабочую силу у колхоза, а во-вторых, большинство из работающих женщины, а они не привыкли отлучаться от семьи даже на день, сюда же их придется увезти на все лето. Поэтому люди к нам могут и не пойти. Посоветуй, что следует предпринять?

Вместе они наметили ряд мероприятий, но главное из них предложила Айбарша.

— Надо, чтобы наша комсомольская организация обратилась ко всем комсомольцам области.

Так появилось известное в Казахстане обращение, написанное писателем и подписанное в числе других Рахметом и Айбаршой.

Случилось так, что как раз в это же время и Сырбай сколачивал рабочую силу для копки арыков. Как всегда, Айбарша обратилась к нему за советом. Она специально приехала к старику, чтобы рассказать о своем разговоре с Рахметом.

— Ну, да будет сопутствовать тебе удача! — холодно оборвал ее старик, как только дело дошло до ее планов вербовки комсомольцев.— Коли вы решили так, на что же вам мое мнение?

— Значит, вам не нравится это, Атке? — насторожилась Айбарша.

— Хорошее дело, как может не понравиться! — с тем же холодком в голосе продолжал Сырбай.— Но, знаешь, говорят: «за двумя зайцами погонишься и одного не поймаешь». Ведь и туда людей надо, и сюда людей надо. Разобьем свои силы, ничего и не сделаем.

Когда же Айбарша сказала старику об обращении к комсомольцам области, Сырбай совсем рассердился.

— Ну, дочка моя, неладно ты придумала! — сказал он зло.— Прямо скажу — неладно. Ты делай там что хочешь, а моих людей не тронь. Сам я тебе их не отдам. Ну, а коли уж пойдут за тобой они, ничего не поделаешь.

На следующий день он узнал, что состоялось собрание и обращение уже принято. Он сначала даже не поверил, чтобы его могли так подвести.

— Как же так,— говорил он,— ведь это же называется в спину ударить! Вот тебе и дочка!

Сырбай был человеком справедливым. Когда его обижали, он не ругался и не мстил, он просто переставал замечать обидчика. Так же вот он перестал замечать и Айбаршу. И она остро переживала эту ссору.

— А ты не волнуйся, не волнуйся, милая,— советовал ей Рахмет.— Все утрясется. Я сам поговорю со стариком.

Говорил он это недаром. Рахмет имел на Сырбая неограниченное влияние. Таков уж был старик: если он не верил человеку, то ни одному его слову не верил, но зато, если уж верил, так верил всему.

Сырбай выслушал Рахмета и попросил только об одном.

— Дай нам,— сказал он секретарю,— возможность и время закончить наш колхозный канал.

Рахмет согласился.

Байжан подсчитал объем работы и понял: строительство канала до зимы не закончить. Значит, надо готовиться к работе в зимних условиях. Решив это, заказал в Алма-Ата несколько стандартных разборных домов, поставил их на новой трассе канала и распорядил я вырыть несколько обширных землянок. Как только начались холода, все строители перешли туда.

— Агай,— обратилась к Байжану Айбарша,— отведите мне отдельную квартирку в одном из ваших домов. Я вызову старика, мать, Наташу.

Байжан посмотрел на нее.

— А со стариком сживешься? — спросил он.

— Да как-нибудь уже! — сказала она уклончиво.— Мне кажется, так для меня будет лучше.

Он понял все и согласился.

— Кстати,— сказал он,— все хочу спросить, да забываю. Недавно я ночевал у вас и видел: твоя мать возится с трехлетним мальчишкой. Чей он?

— Чей, по-вашему? — улыбнулась Айбарша.

— А бог его знает, чей! Я поглядел — черноглазый, черноволосый, как цыганенок. Таких ребят здесь много. Очевидно, сын какого-нибудь родственника. Угадал?

— Нет!— засмеялась Айбарша.— Нет, не угадали. Это русский мальчик, братишка Наташи. Она его вывезла вместе с детдомом.

— Вот что! — мотнул головой Байжан. — Впрочем, это не тот ребенок, что был с ней и дышал-то с трудом? Неужели это он?

— Он самый.

— Как он похорошел! Ну, еще бы, твоя мать вылизывает его каждый день, как молочная кобылица жеребенка.

— Прибавьте к тому же: и любит его, как родного

— Да, но почему Наталья ничего не говорит о том, что у ней есть братишка? Я ведь ночевал у вас и всякие были разговоры, а об этом ничего не было сказано.

— А это я упросила ее вести себя так. Подумала я: если она будет возиться со своим братишкой, мать моя

не привяжется к сиротке. Ей, для того чтобы холить ребенка, нужно думать, что он одинок, заброшен и несчастен. Я и сказала матери: «Выходи этого бедного мальчика, усынови его и будет он твой. На сестру не смотри, поправится немного и выйдет замуж!» Мать и согласилась. А потом я с Натальей поговорила: держись, мол, немного подальше от ребенка. Вот она и держится так.

— И сильно привязался ребенок к твоей матери?

— Как родной сын! Теперь мать зовет его Искандер.

— Да,— сказал Байжан, думая о своем.— Вот и наш ребенок у чужой матери. Когда приедет Гюльнар, не знаю, как он ее встретит и как пойдет к ней.

— А вы спросите нас сначала, отдадим ли мы нашего воспитанника? — шутливо спросила Айбарша.

— На что вам чужой ребенок, у вас свои скоро пойдут,— махнул рукой Байжан.

— Дай-то бог,— вздохнула Айбарша.

Она получила квартиру из трех комнат в стандартном доме и распорядилась ею так: одну комнату отвела для стариков (в ней жили Сырбай и Анатолий Кондратьевич, когда приезжал гостить), в другой поместилась она, мать ее, Искандер и Наталья. Третья комната была кухней. Приглашали переехать сюда и Байжана, но он отказался наотрез.

— Нельзя! Покою вам от меня не будет ни днем, ни ночью. Ведь постоянно у меня дела, постоянно люди.

Работа кипела. До зимы прокладка рукава была почти закончена, но все же только почти.

Климат в степи так же своеобразен и суров, как и сама эта степь. Выпадают такие зимы, когда стоят жесточайшие морозы, а снега нет. Тогда степь лежит серая, безжизненная, похожая на все другие степи Туркестана и Азии. Над этой незаснеженной степью постоянно дуют острые, режущие ветры, и почва замерзает так, что кетмень грохочет по ней, как по каменной глыбе.

И вот впервые в сорок первом году ударил по этой мерзлоте кетмень. Оказалось, земля промерзает глубоко, иногда даже на метр, но самое странное другое: когда этот слой прорубается, под ним хлюпает жидкая грязь.

Работали на трассе не покладая рук. Даже Наталья

была поражена упорством строителей. Она и сказала об этом Айбарше. Та только головой покачала.

— Погоди, то ли будет весной, когда начнут поднимать целину! Кстати, знаешь ли ты, что такое кустарники шенгеля?

— Видела как-то, ничего замечательного в нем нет. Карикатура на дерево, жиденькие ветки и колючки, колючки, колючки... Как вы подходить к нему не боитесь?

— Э, милая, значит, ты не знаешь, что это еще за кустарник! Послушайте-ка: печи мы топим саксаулом. Это, может быть, самое жаркое топливо в мире. Говорят, что по количеству отдаваемой энергии оно идет сейчас же вслед за каменным углем. А шенгель — этот жидкий, низкорослый кустарник — идет сейчас же за саксаулом. И больше тебе скажу: кирпичи здесь обжигают всегда только шенгелем, тогда они много крепче и тверже, чем обожженные другими, скажем еловыми дровами. Да они и по цвету-то иные — не красные, а синеватые. А при ударе о такой кирпич летят искры. В городе Туркестане стоит мавзолей Хожа-Ахмета Яссави. Построен он еще в XIV веке Тамерланом. Синие кирпичи его настолько крепки, что из них высекают искры. Старики говорят — это оттого, что обжигали их шенгелем.

— Интересно. Ну, а как же вспахать такие огромные заросли?

— Сначала работают кетменем, чтобы удалить все корни, а потом уже пашут.

— И поддаются заросли кетменю?

— О, как еще! Кетменем их срезают, как косой. Люди так наловчились, что даже ноги не занозят, многие так босиком и работают.

Как только девушки устроились на квартире, районо вызвал Наташу и предложил ей стать преподавательницей русского языка. Но она отказалась. Отказалась потому, что, во-первых, постоянно бывала в разъездах. Ее воспитанники были разбросаны по всем окрестным аулам, а она должна была хоть два раза в месяц да посетить их. Во-вторых, она не хотела разлучаться с братишкой и с Айбаршой. А принять предложение районо, это значило — уехать.

Все работали на канале и хотя Наташу никто не за-

ставлял, она тоже взялась за кетмень. Сначала дело никак не шло. Она натерла себе такие мозоли, что целый день не могла прийти в себя. Но это было только в первые дни. Скоро она так освоилась и с работой и с кетменем, что ее фамилия уже попала на красную доску. А потом и того лучше пошло. Она была упомянута и в статьях, посвященных людям строительства.

Кроме того, Наташа стала все чаще помогать Айбарше проводить на строительстве культурно-политическую работу. Читали газеты, проводили беседы, рассказывали колхозникам о героях войны.

Айбарша старалась в свободное время держаться поближе к Сырбаю и он ей скоро нашел занятие.

— Эй, жан,— говорил он,— принеси мне, дорогая, газетки.

Сырбай выписывал несколько газет: «Правду», «Казахстанскую правду», «Социалистик Казахстан» и «Ленин жолы». Читка начиналась с «Правды» — этой газете старик верил больше всего.

Когда началась война, Сырбай интересовался только одним: что с Москвой? В Москве он прожил как-то с полмесяца и до сих пор не может говорить о ней без восхищения.

В один из тех счастливых годов, когда урожай был особенно обилен и Сырбай получил что-то около двух тонн риса и пшеницы, Анатолий Кондратьевич, будучи в гостях у Сырбая, вдруг сказал ему:

— А что, аксакал, ты как родился на берегах Сыр-Дарьи, так, видно, никуда и не двигался отсюда?

— А куда мне двигаться-то? — недоуменно спросил Сырбай.

— Свет велик, аксакал, и за Сыр-Дарьей его тоже, ой-ой, как много. Знаешь, что я тебе предложу?... Ты человек достаточный, одеться есть во что у вас, покушать и подавно, а вот развлечений...

— Куда уж там развлекаться! — махнул рукой Сырбай. — И в молодые годы я был не охочь до этого, а теперь...

— Что теперь? Никто нас со счета и теперь не сбрасывает. Вот сядешь в мягкий вагон и поедешь свет смотреть!

— Может быть, и оно не мешало бы, — согласился

Сырбай,— да ведь русского-то языка я не знаю. Что я буду делать, когда вылезу из вагона?

— А ты возьми с собой такого товарища, который русский язык знает.

— Да кто ж поедет?

— Как кто? Коли расходы оплатишь, так всякий поедет.

— А вот ты поехал бы?

— И я бы, конечно, поехал!

— Куда мы с тобой поехали бы? — спросил Сырбай шутливо.

— В Москву прежде всего...

— В Москву! — даже охнул Сырбай.

— А что? Москва — это один из самых древних городов, столица наша. Там и Кремль, там и мавзолей, а город-то какой. В прошлом году я ездил туда, так и не узнал прежнюю Москву. Улицы такие, что и не расскажешь!

— Так ты повезешь меня туда? — спросил Сырбай, все еще сомневаясь.

— А что зря болтать, давай поедем!

Через неделю они уже вылезли из вагона на одном из московских вокзалов.

— Где же мы остановимся? — спросил Сырбай, растерянно осматривая вокзальную площадь, кишащую народом.— Нет ли у тебя здесь знакомого?

— Знакомые-то есть,— сказал Анатолий Кондратьевич, — да мне другое хотелось бы. Средств у тебя достаточно, давай-ка поедем в гостиницу «Москва», снимем отдельный номер и будем жить, как два князя.

Так и сделали. Сняли большой двухкомнатный номер и прожили в нем полмесяца. За это время Анатолий Кондратьевич успел показать Сырбаю все достопримечательности Москвы.

— Сделай мне еще одно,— сказал Сырбай.— Покажи мне Сталина. Напиши ему письмо, так, мол, и так, очень бы хотелось видеть вас, Иосиф Виссарионович. Пишет это Сырбай, которому скоро будет семьдесят лет. Я знаю: Сталин — занятый человек и ему не до стариков. Но если нельзя повидаться со Сталиным, так давай сходим к Калинину. Он ведь большой друг Сталина.

Анатолий Кондратьевич помог Сырбаю побывать на одном из приемов у Михаила Ивановича Калинина.

— Ну, теперь домой, домой! — сказал Сырбай, выходя из приемной М. И. Калинина. — Кремль осмотрели, Калинина видели, что еще? Ах, Анатоль, Анатоль, да живи ты еще тысячу лет!

Целый год только у Сырбая и было разговоров, что о Москве. Он и друзьям о ней говорил, и во сне ее видел, и за столом о ней рассказывал. Словом, как говорят казахи: «Плыл он по этим воспоминаниям, как гусь, и нырял в них, как нырок».

Началась Великая Отечественная война. С каждым днем враг все ближе и ближе прорывался к Москве.

Сырбай думал только об одном. «Москва — это сердце страны. Если враг дотянет свою лапу и зажмет в кулак это сердце,— конец всему».

Когда ему читали в газетах о каких-то взятых врагом или отбитых обратно населенных пунктах, он только досадливо махал рукой.

Это все пустяки! Вот что с Москвой делается?

Скоро ему сказали, что немцы заняли Клин, подошли к Туле. Началась эвакуация. Правительственные учреждения переехали из Москвы в Куйбышев. Сырбай слушал об этом, и его сморщенное от старости и сожженное солнцем и ветрами лицо становилось серым.

Анатолий Кондратьевич был, напротив, спокойнее.

— Все равно Москву не сдадим,— упрямо говорил он.

— Ой, не знаю, ой, не знаю! — отвечал Сырбай.— Враг схватил страну за горло. Значит, может и сердце вырвать.

Узнав, что некоторые правительственные учреждения эвакуированы в Куйбышев, Сырбай с тревогой спрашивал:

— А Сталин где?

— В Москве,— отвечали ему.

Сырбай понимающе кивал головой. «Значит, Москву не сдадут, значит, все до последней капли крови потеряют, а Москву отстоят»,— думал он.

Однажды ему прочитали опубликованное в «Правде» обращение защитников полуострова Ханко к героическим защитникам столицы. Он обрадовался.

— Вот и нам нужно написать такое же обращение,

— заговорил он, тыкая в газету пальцем.— Напишем, что мы всеми нашими помыслами и сердцем вместе с ними. Они воюют, мы строим канал, чтобы их кормить хлебом и рисом.

— Будет время и напишем,— успокаивали его.— А за Москву не бойся — врагам ее не видать! Лишь бы мы, работники тыла, не подкачали. Надо скорее кончать канал.

В «Правде» за 3 ноября появились стихи Джамбула «Москва». Казахский текст этого же стихотворения и за то же число был опубликован в «Ленин жолы».

— Ай-да, молодец, наш Джамбул! — радостно воскликнул Сырбай, когда Айбарша прочла ему стихотворение.— Твой голос — мой голос. Так пусть же Москва его услышит!

А время шло. И вот «Правда» в номере за 7 ноября опубликовала доклад товарища Сталина о двадцать четвертой годовщине Октябрьской революции. На первой странице газеты был помещен большой портрет вождя.

Сырбай долго всматривался в него:

— Старый это или новый, самый последний портрет? — спросил он, наконец, у Анатолия Кондратьевича.

— Конечно, самый последний!

— Нет, не похож наш вождь на отчаявшегося человека. Смотрите, как спокойно и прямо глядит он на нас. И признаков волнения нет на его лице.

— Верит в победу, оттого и спокоен.

— Ах, победа, победа! А проклятый немец все лезет и лезет!

— Он свой нос о кремлевские стены расквасит!

— Ну, дай бог, дай бог.

Восемнадцатого ноября Сырбаю прочли Указ о награждении восьмой гвардейской дивизии орденом Красного Знамени. Айбарша рассказала при этом старику, что организована дивизия в Казахстане, что в ней много казахов.

Ай, как хорошо! — обрадовался Сырбай. — Значит, и наши джигиты защищают Москву.

И все-таки он тревожился все больше и больше. Не спал целые ночи, думая: «что же будет со страной? Как спасти Москву?»

Так прошло еще с месяц. И вот однажды на трассу канала прискакали гонцы — Байжан и Айбарша.

Услышав по радио о разгроме немецкой армии под Москвой, Байжан оседлал коня и поскакал к Айбарше. Взял ее и они вместе отправились в бригаду Сырбая. Чтоб их не приняли за вестников горя, они кричали «Суюнши!» и махали красным платком.

Сырбай работал на среднем секторе. Он и люди его бригады, заметив гонцов, взобрались на насыпь. Увидев красные платки, они тоже замахали шапками и платками.

Байжан подскакал к насыпи вплотную, крикнул «Суюнши!» «Суюнши!» и с разбегу спрыгнул с коня, да так и растянулся на мерзлой земле. Острый комок до крови продрал ему лицо. Но он сейчас же вскочил на ноги и, сжимая кулаки, крикнул:

— Москва освобождена! Врагов гонят!

— Милый ты мой! — охнул Сырбай и как-то даже по-детски всплеснул руками.— Есть бы тебе весь век сливочное масло! — и он стал быстро вытирать слезы.

— Э, оказывается, и Сыр-аке умеет плакать! — удивленно сказал кто-то.

— Пусть, пусть поплачет! От такой вести и поплакать можно.

— Пусть! Не от горя, чай, плачет! — заговорили сочувственно вокруг.

Байжан вынул из кармана записную книжку и хотел читать, но он был еще слишком взволнован, голос его пересекался, поэтому он сунул ее Айбарше.

— Читай ты!

«Наступление наших войск началось...— читала Айбарша.— Разгром немцев под Москвой закончился десятого декабря!»

Все зашумели.

— Вот это была схваточка! Не на жизнь, а на смерть,— крикнул кто-то.

На него сейчас же зашикали.

— Тихо! Читай, Айбарша, читай.

Айбарша читала.

«За время с шестого по десятое декабря, то есть за четыре дня боев, нами освобождено четыреста населенных пунктов».

— О, баракельды!!!

«Трофеи, захваченные нашими войсками...»

— А ну-ка, ну-ка!

«Уничтожено и захвачено: танков 1434...»

— Ага, собаки! — радостно воскликнул Сырбай.

«Автомашин — 5416...»

— Так им и следует! — сказал Сырбай.

«Пушек — 575...»

— Ага, так им и следует.

«Минометов — 339»...

—Это еще что такое?

— Пушка такая,— ответил Байжан.

— Ага, так им и следует! Пусть сгинет вся вражеская сила!

«Пулеметов — 870»...

— И им туда же дорога! А сколько людей они оставили?

«Восемьдесят пять тысяч»,— ответил Байжан.

— Ага, так им и следует! — крикнул Сырбай. Вслед за ним толпа эхом повторила: «Так и следует им!»

Айбарша закрыла книжку.

— Вот и все, что я успела записать.

— А разве этого мало? — спросили из толпы.

— А ну, тише! — вдруг сказал Сырбай и встал. Все притихли.

— Так и следует вам, гады! Собаки, поняли вы, наконец, что значит связаться с нами. Вот и случилось: я очень страдал, я так страдал, как никогда! Я за всю страну мою страдал. И одно только меня успокаивало, что Сталин все время был в Москве. Это значит, что он не отчаивается. И когда я думал о нем, сердце мое делалось спокойным и твердым. И оказывается недаром. Оно чувствовало мысли вождя.

Опять зашумели.

— Просчитался немец, просчитался проклятый! Теперь не жди пощады, и бить тебя будем и работать на твою погибель не покладая рук тоже будем!

— Будем! — подтвердила толпа.

— Так по местам все!

— Все по местам! — прокатилось по толпе.

Рабочие стали расходиться, но кто-то остановил Сырбая и сказал ему:

— Сыр-аке, а что же вы не крикнули напоследок еще раз: «Ага так и следует»?! Неужели позабыли?

— Нет, я не позабыл,— ответил Сырбай.— Я это слово теперь во всю жизнь не забуду. Так это и должно было быть. Ага, так им и следует собакам!

И все повторили хором: «Ага, так им и следует!»

На этот раз слова старика прозвучали как голос всего народа.

Глава восемнадцатая

ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ

НАТАША читала вообще много, но больше всего она любила читать Пушкина.

—Я знаю чуть ли не наизусть все, что он написал, а когда открываю книгу,— говорила она,— постоянно натыкаюсь на что-нибудь совсем новое и тогда кажется, что сколько я его ни читала, а до конца понять все равно не смогла. После каждого чтения остается еще что-то незамеченное, поэтому каждый раз, когда берешь книгу, как будто впервые с ней знакомишься.

Однако вместе с этим восторженным почитанием любимого поэта уживалась в ней и некоторая доля сомнения. Разумеется, не в достоинствах того или иного произведения сомневалась Наташа. Нет! Просто не со всеми поступками его героев она могла согласиться. Так, очень сильное сомнение возбуждала в ней третья глава «Евгения Онегина» — именно те строфы, где Татьяна объясняется Онегину в любви.

Конечно, любви не укажешь,— говорила Наташа.— Кто-то ведь из двух и должен полюбить первым, пусть это будет даже девушка. Но вот то, что эта девушка сама приходит с объяснением, что она свою женскую гордость забывает и как бы навязывается нелюбящему ее мужчине, как хотите, а этого понять я все-таки не могу...

Друзья обыкновенно возражали: мало ли что бывает на свете — коли полюбишь, так на все пойдешь! Наташа оставалась при своем.

Жизнь, однако, сыграла злую шутку: Наташа полюбила и полюбила первой. Она полюбила Калакая.

Началось это с ночной встречи на вокзале в день её приезда. Потом они увиделись в колхозе «Кен-Тогай». Наташа жила тогда у Айбарши и работала учетчицей.

Когда он вошел в контору, Наташа сидела за столом и возилась с табелями. Она так была занята своим делом, что сначала даже не обратила внимания на вошедшего.

В конторе было много народу—все шумели, галдели, лезли к Наташе с какими-то вопросами. Она не слушала их. И вдруг прямо над ней кто-то громко сказал:

— Доброго здоровья и успехов!

Она подняла голову.

— Калакай!

Он стоял и улыбался. У него было веселое, блещущее здоровьем лицо и такая хорошая, широкая улыбка. Он протягивал ей руку. Рука у него была загорелая, шершавая, а ладонь вся в ссадинах и мозолях.

Она вспыхнула и не нашлась, что сказать, только медленно поглядела на него и опустила ресницы. «Что с ней?» — подумал Калакай и... в конторе наступила тишина. Люди стояли и смотрели на них обоих.

«Да что же такое с ней?» — подумал Калакай и вдруг словно кто-то шепнул ему: «дурак, да неужели же ты слепой? Она же любит тебя, болвана!»

Однако проверить свою догадку он не смог. Они все время были на людях, а Наташа уже сумела овладеть собой, очень спокойно ответила на приветствие и завела какой-то посторонний разговор.

В следующий раз они встретились при особых обстоятельствах.

Калакай объезжал колхозные посевы. Ехать пришлось вдоль болотной заросли по берегу реки. Еще издали он увидал: кто-то скачет ему навстречу на ишаке. Он присмотрелся. Это была женщина и одета она была совсем не для этих тростников. На ней было какое-то легонькое платье, коленки у нее были голы, и ветерок трепал ее распущенные волосы. «Наездница,— подумал он, качая головой.— Ах ты господи! Кто же ее пустил такую?»

Когда они сблизились, он в «наезднице» узнал Наташу.

— Наталья Остаповна! — крикнул он.

Она задержала ишака. Калакай подскакал к ней. Она выглядела очень утомленной, рот у нее был полуоткрыт, она все время облизывала губы — видно хотела пить.

— Бедная, вы бедная,— весело сказал ей Калакай. — И чего вы вздумали ехать верхом? Разве для девушек эти дороги? Видимо и от жажды умираете?

— Да, уж очень пить хочется,— жалобно сказала Наташа.

Он мигом соскочил с коня.

— Слезайте, слезайте со своего ишака,— весело сказал он.— Ишь, как заморили животину, садитесь в мое седло. Тут поблизости разбит наш стан. Поедем!

— Да мне не туда,— сказала Наташа.— Впрочем до стана я и на ишаке доеду. Вы только покажите дорогу.

— Ну, нет, милая,— шутливо сказал Калакай.— Этак вы как раз попадете тигру на закуску. Здесь вам не Киев. Пастухи говорили: вчера он овцу унес...

Случайно Калакай попал в самую точку: Наташа страшно боялась тигров. Еще в Киеве она проштудировала многотомный труд Семенова-Тяньшанского. Один из его томов был посвящен Туркестанскому краю, району Сыр-Дарьи. В этом томе много рассказывалось о тиграх, свирепых, часто нападающих на людей.

Приехав в колхоз, она в первый же день заговорила об этом звере. Тигры в этих местах не водились уже лет сорок, но ей охотно ответили.

— Как же, есть, есть,— сказал один колхозник.— Наши тростники ими кишат. Им и верблюд нипочем. Они его одним ударом с ног сшибают, а про человека и говорить нечего. Одни руки и ноги оставляют.

— О чем сказать надо, так это то, что жизни от них нет, окаянных,— подтвердил другой любитель пошутить. — Хотели даже колхоз на другое место переносить.

Можно же себе представить, как трепетала Наташа, отправляясь в поездку.

Ездить ей приходилось довольно много. Должна же она была проверить, в каком состоянии находятся ее дети, розданные по аулам! Обычно ее сопровождал один охотник, а в этот раз он заболел и не поехал. Пришлось ехать одной.

Она ехала, дрожавшая от страха, и думала: «вот выбежит из зарослей тигр и тогда пропала я. На коне

можно было бы ускакать, а куда денешься на ишаке?» Можно поэтому представить себе, как она обрадовалась Калакаю!

— Вы,— сказал Калакай,— пожалуйста, не спорьте. Подумайте хотя бы о том, как на меня посмотрят в ауле, если я приеду на лошади, а вы за мной на ишачке? Давайте без разговоров пересаживаться.

Четвертая встреча была уже более длительной. После кино они пошли гулять. Однако Калакай был задумчив, неразговорчив и встреча так закончилась ничем.

Калакай в то время был влюблен в Айбаршу. Правда, он уже понял, что с Айбаршой у него ничего не получится, но забыть ее не мог. Кажется, чего бы проще—отказаться от невозможного и взять то, что есть: Наташа ему нравилась. И не такая уж маленькая вещь любовь хорошей девушки и не такой уж он богач, чтобы поступаться ею. Тем не менее он медлил.

А пора, пора было налаживать ему свою жизнь, обзаводиться домом и семьей! В ауле говорят: «муж голова, а жена шея». Может быть, это и так, но уж слишком это общо. Ему такую жену не надо. Он найдет себе другую, о которой Абай писал:

Она тревоги сердца перечтет,
Она биенья пульса не собьет,
Пожертвует душою за тебя,
Любой твой грех простит она любя.

Нет, Айбарша была не такой девушкой. Что касается чтения в сердце Калакая, то ее увлечение искусством не доставляло ему удовлетворения. Слишком много она читала, и все это многое не было ему в пользу. «Голова и шея» — хорошо, но если жена только шея, то пусть она и поворачивается, как хочет того голова. Не нужна ему такая упрямая шея, которая будет вертеть головой как угодно. Вообще Айбарша не была идеалом Калакая, она была просто его любовью.

Наташа в этом отношении подходила ему куда больше. Но вот беда! Калакай был весь на психологических тормозах: говорить о любви он не мог. Взять хотя бы историю с Айбаршой. Идя к ней, он каждый раз давал себе слово выложить все начистоту. Оставшись же наедине, путался и нес какую-то чепуху.

То же самое у него получилось с Наташей. Разве не

подходящее время было, когда он торжественно вез к полевому стану спасенную им девушку? Тут и объясниться бы ему, ан нет, не вышло ничего и на этот раз. Так и проговорили они два часа о каких-то пустяках.

До самой полночи, после выхода из кино, они гуляли по берегу Сыр-Дарьи, о многом говорили, а о самом главном он так и не сказал ни слова.

И Наталья решила разузнать у Айбарши все, что та знала о нем. С Айбаршой у ней были хорошие отношения, она вполне могла довериться подруге.

Они много и обо всем говорили. Об одном они только не говорили — о чувстве Наташи к Калакаю. Айбарша догадывалась об этих чувствах, но как скажешь о них? Не скажешь же: «я отвергла этого человека, хорошо будет, если ты поступишь так же». Да и надо ли говорить это? Наталья же молчала потому, что ей по существу нечего было и рассказывать. Ведь с обеих сторон не было произнесено ни слова.

Однажды, именно после встречи с Калакаем в кино, она не выдержала и рассказала все Айбарше. Они сидели обнявшись на кровати. Была уже поздняя ночь.

— Ты понимаешь, — печально говорила Наташа. — Пушкин оказался прав. Теперь я вижу: могла, да, могла Татьяна написать такое письмо Онегину. Очень могла! И я бы сейчас написала, да не знаю, принято ли это у вас? Не будет ли это слишком смешно?

Айбарша ответила не сразу.

— Ты обращаешься ко мне как к человеку одной национальности с твоим любимым, — сказала она. — Но я же не знаю его, хороший ли, плохой ли он. Аллах его ведает, надо присмотреться, а так...

Наташа молчала, печально опустив голову.

— Хорошо, — сказала далее Айбарша, — обещаю тебе: я поговорю с ним и все разузнаю в ближайшие дни.

Случай представился очень скоро.

Калакай по каким-то делам приехал на строительство, походил, поговорил и уже собирался уезжать, когда Айбарша неожиданно предложила ему:

— Поедем вместе, нам по дороге.

Калакай удивился и обрадовался. Может быть, он и понимал, что тут что-то неладное, но что именно, он не мог догадываться. Айбарша же сразу начала неторопи-

ливый разговор о том, о сем: о том, что война скоро кончится, о том, что Даулет скоро приедет, о том, что он письмо прислал, о том, что это письмо как раз у нее с собой. При этом она вынула письмо и показала ему.

Она говорила, а он молча смотрел на нее, печальный и строгий. Когда же она протянула ему письмо, он взял его, прочел и тут же молча возвратил обратно. Только через минуту спросил также печально и строго:

— Зачем ты все-таки это делаешь? Зачем ты мне дала это письмо? Что тебе от меня надо?

Она смутилась, а он, натягивая поводья и смотря не на нее, а вперед, вдоль дороги, говорил как бы про себя:

— Конечно, я не идеал человека, кажется, я даже вообще не особенно хороший человек, но я не негодяй. Зачем же мне ставить такие ловушки? Да и время ли сейчас для таких разговоров. Страна горит в огне, каждый день умирают тысячи наших людей, а мы будем затевать какую-то глупую игру в жмурки. Не ко времени это как-то, Айбарша. Я знаю, ты хочешь меня подзадорить своим женихом. Честное слово, теперь это уже даже излишнее. Знаешь, то что недосягаемо, тому даже не завидуют. О твоем женихе печатают в центральных газетах, разве я могу помешать этому? Ну, а раз нет, то и думать не о чем. А то, что я люблю тебя... — он косо улыбнулся и развел руками. — Если ты в этом меня винишь, то да, я виноват, но ведь я никогда не скрывал эту любовь. Так зачем смеяться надо мной?!

Айбарша дотронулась до его руки.

— Я не виню тебя, Калакай, — сказала она тихо.

— Да и за что меня винить?—печально улыбнулся он. —И я ведь тебя не виню в том, что ты любишь моего соперника и совсем не любишь меня. Что же касается до того, ревную ли я тебя... — он повернулся к ней. — Да, ревную, — сказал он это,—и очень сильно ревную! И не буду скрывать этого. Но что мне делать? Застрелиться. До этого я еще не дошел. Значит, осталось одно — сжать свое сердце в кулак и замолчать, хотя и это нелегко. Ревность — страшный враг, и этого врага осилишь не скоро, а когда осилишь, и сам выйдешь разбитый, не способный на какое-то время к жизни. Может быть, ты сама когда-нибудь это узнаешь. Не дай только аллах тебе этого!

— Не дай аллах, — отозвалась Айбарша.

Она была очень смущена. Такого прямого и честного разговора она не ожидала.

— Говорят: аллах, аллах, — задумчиво повторил Калакай. — В душе каждого человека, говорят, аллах борется с шайганом. Так вот, если не врут мудрецы, то шайтан — моя ревность, аллах — моя добродетель. И мне кажется, что шайтан уже изгнан. Не такое время сейчас, чтобы ревновать, да еще к Даулету. Ведь я-то знаю, кто такой Даулет и почему его нет с тобой. Вот и все, милая. Не дразни меня больше никогда, не такие уж это приятные разговоры.

Айбарша быстро повернулась к Калакаю.

— Дай руку, Калакай, — сказала она. — Отныне мы друзья.

Калакай покорно наклонил голову.

— Дай же руку! — повторила Айбарша. — Вот тебе моя.

Они остановились посередине дороги и скрестили руки. Рукопожатие это было крепким и исчерпывающим.

Айбарша приехала домой поздно ночью. Наташа уже спала, но едва Айбарша дотронулась до ее руки, она вскочила. С полминуты они молчали, потом Айбарша положила ей руку на голову и сказала ласково и нежно.

— Любить или не любить — это твое дело, Наташечка, но что касается Калакая, то он настоящий человек и стоит твоей любви.

Глава девятнадцатая

ПОХИЩЕННЫЕ СЕМЕНА

— ДА,—говорил Сыбай своим друзьям,—все у нас в колхозе как-то не так, не как у людей: если урожай хороший — засеяли мало, засеяли много — урожая нет; не чувствует земля над собой хозяина... Я вот иногда вспоминаю прошлое. Тяжелым оно было, а помнить об этом надо, друзья. Было это еще лет пятьдесят тому

назад. В те времена мало кто из казахов на земле сидел. Весной мы в Арку откочевывали, целое лето отары пасли в степи, а осенью возвращались обратно. Хлеба у нас в ту пору совсем не сеяли, нужно было — у русских мужиков покупали.

— Да ведь как сказать, кто в этом виноват, — подал реплику кто-то из слушателей. — Земля-то у нас какая! Все руки об нее обломаешь. То ли дело Арка! Там посеешь полоску, коли дождя аллах пошлет, вот тебе и богатство!

— Так-то оно так, — отвечал Сырбай, — но опять-таки как когда повезет. Слышали вы о годе «Такыр-коян» (голый заяц)?

Только он произнес это слово, как сразу кругом зашумели. Кто сам пережил этот год, а кто от стариков слышал. Весной откочевали казахи из Сыр-Дарьинской долины в Сары-Арка, а осенью вернулись еле живые без скота и лошадей, да не все еще и вернулись-то. Многие так и остались лежать в чужой земле.

— Так оно и было, — подтверждал Сырбай. — Я все помню. Было мне в ту пору уже лет двенадцать, а может и более. В Арка все зависит от того, пошлет ли аллах дождь или нет. А в этот проклятый год ни одной капли не послало небо. Земля потрескалась и сожгла все посевы. Хлеб пропал, овцы сбесились с голоду и начали поедать шерсть друг друга. Вот тогда и вспомнили мы нашу прекрасную Сыр-Дарью. Над ее землей хоть руки и поломаешь, но зато всегда сыт будешь. Вскоре после этого и стал народ у нас переходить на землю... Но ведь надо уметь обращаться с этой землей! А то так получалось: сеет весь аул, а собирают урожай два-три человека.

— Ну, что ж, — возразили Сырбаю, — год на год не приходится. «Туча большая и земля без края» — все от бога зависит.

— Что тебе бог, когда у самого есть руки! — сердито обрезал Сырбай. Он не любил таких рассуждений. — Я так тебе скажу: если хорошо за землей будешь ходить, она тебя никогда не обидит. Я вот про это и хочу рассказать.

— Рассказывай.

— Было это через года два после страшной бескормицы и недорода. Нанялся я с отцом к одному богато-

му баю в работники. А договор такой. Скот, плуг, семена и земля его, а работа наша. Он нам один мешок семян отпускает, мы ему пять должны. А если меньше пяти мешков земля уродит — значит, ни копейки мы с бая просить неправе.

— А если больше? — спросили слушатели.

— Ну, а коли больше, то одна треть наша. Вот так мы и стали работать на бая. Что и говорить, грабительские условия! Да ведь куда денешься, остальные баи не меньше просят. Стали мы, значит, умом раскидывать, как бы так хлеб взрастить, чтобы не только баю, а и нам кое-что перепало. Нет, ничего не придумаешь. Что аллах даст, то и пожнешь. Однажды потерялся у меня мой единственный ишак. Пошел я его искать и набрел на старую зимовку. Ну, известно, где зимовка, там и навоз. А летом на этом навозе трава вырастает. Обыкновенно мы это без внимания оставляли, а тут я смотрю — вместо травы просо выросло. Богато выросло, густо. Такой колос стоит — ядреный, прямой, тяжелый, ну, хоть прямо в Москву на выставку. Это мне в голову и запало. Вернулся я домой и говорю: «А ну, давайте-ка, к земле навоза добавим, — будет хороший урожай!». И только я сказал это, как один товарищ ко мне подбегает да меня за рукав. «Ты что, смеяться, что ли, пришел? Мы не люди, что ли? По-твоему, мы поганый хлеб есть будем? Смеешься или впрямь дурак». Чуть не избили. Но я человек упрямый. «Вы, я думаю, как хотите а я-то попробую». Попробовал и [illegible], сколько с одного мешка я собрал зерна? Сто сорок пудов. Урожай почти сам-тридцать. Вот тогда я баю натянул нос.

— Ну, и что же доказал ты? — спросили Сырбая слушатели. — Поддержал тебя народ?

— Да нет, не все. А кто поддержал, так тоже не при чем остался. Я того тогда еще не знал, что не всякая земля хороша. В болото сколько навоза ни бросай, все равно, кроме поганого тростника на нем ничего не вырастет. Ну, а те болота стали унаваживать. Вот и пропала моя наука. А с камышом мы тогда бороться не умели. Потом уж меня один старик выучил. Способ такой особый открыл.

— Мудрый, значит, старик был?

— Еще какой мудрый! У самого эмира бухарского

семьдесят лет работал. И вот он нам что присоветовал: «Вы, говорит, тростники скосите, а потом на эту косьбу, поближе к первым заморозкам, воду выпустите — тогда конец тростникам». Мы так и сделали. И верно — на другой год ни одной тростиночки не выросло. Лет на пять от камышей избавились.

— Ну, а потом? — спросили его.

— Потом опять тростники пошли. С болотом так не справишься. Только вот сейчас научились мы с ними по правильному бороться. Сейчас нам и книги в руки. Только работай. Да вот беда — не все это понимают... Иногда такие попадутся...

Он замолк, но слушатели поняли — старик говорит о Масакпае.

Всем было известно о раздоре старейшего бригадира колхоза с председателем. Началось с того, что Масакпай как-то слушал-слушал хитрые советы Сырбая, а потом махнул рукой да и отрезал:

— В мои дела вмешиваешься, а свое не знаешь. Ты мираб, ну и распределяй воду, решай, где канавку прорыть, а где загородить. Вот твое дело. А меня ты не учи, я и со своей головой проживу.

Масакпай был человеком хитрым, подлым и... ласковым. Но с Сырбаем он говорил только так. Не нравился ему Сырбай. На язык не воздержан, иногда такое ляпнет, что глаза некуда девать. Да и не в свое дело любит вмешиваться. А потом уж что-то больно над казенным добром дрожит. Попробуй, зарежь лишнего барана или возьми себе дойную кобылицу — сейчас же увидит. А Масакпай жил широко и колхозных баранов резал часто. Как же? И прокурора нужно угостить, и судье подарочек послать, и начальнику районного отделения милиции, а то и просто милиционеру кое-что под полу сунуть. На том он и жил. Не такой был человек Масакпай, чтобы обходиться без сильной руки.

Был у него помощник ловкий, юркий парень, счетовод и кассир. Звали его Тыртык, что значит «обгорелый». У этого Тыртыка была длинная история. Происходил он из рода знаменитого кокандского наместника, того самого, который избрал своей резиденцией полуостров Таф-Тогай. Отец его был человеком ученым, получившим высшее духовное образование. После установления Советской власти в Казахстане, он перекоче-

вал в Узбекистан и легко устроился там имамом мечети. Имел имам трех жен и десять сыновей. От третьей жены и родился Жан-хоже — таково было настоящее имя Тыртыка. «Обгорелым» его стали звать потому, что он в детстве чуть не сгорел со всей своей семьей: от троих братьев остались угольки, у него же правая рука и бок на всю жизнь оказались изуродованными.

Имам недолго удержался в Узбекистане. В 1927 году он перешел иранскую границу и больше на территории Советского Союза не появлялся. В Узбекистане осталось два его сына — старший и младший. Прощаясь, имам не забыл об «обгорелом» — крепко-накрепко наказал он старшему сыну учить его и отдать в детский дом,— но только обязательно в русский.

— Все равно ему, обгорелому, счастья не видать,— говорил он.— Так пусть уже с русскими живет. Да ты смотри, сам его в детский дом не води. Пошли какого-нибудь знакомого, пусть сведет. Но следить следи за ним! Издали, но следи. Все-таки брат, не забывай, пожалуйста, этого.

Так и устроили. Скоро «Сбгорелый» кончил десятилетку. Брат взял его к себе и хотел везти в город учить дальше. Но не такой человек был Тыртык, чтобы так непроизводительно терять время. Уже с пятого класса он стал промышлять на рынках и, несмотря на изуродованную руку, успевал в этом деле куда больше, чем в науках. Потом вдруг неожиданно объявил, что поедет в родные места и устроится в колхоз.

Брату это понравилось со всех сторон. Во-первых, он надолго, а может быть, и навсегда, избавляется от обгорелого урода, во-вторых... Это «во-вторых» он выразил так:

— Ты смотри, — наказывал он, — не будь дураком, за чужое дело себе кости не ломай. Помни: где ты будешь работником, там твой прадед был господином. Все это наше было, а теперь вот тебе и имени своего нельзя назвать. Отняли его у нас. Ты это, пожалуйста, помни.

— Хорошо,—сказал Тыртык, поняв брата так, как и следовало. — Постараюсь запомнить.

Все оказалось куда более легким, чем он думал. О родне его никто не расспрашивал, и он согласно детдомовским документам, очень легко сошел за подкидыша.

Он и казахский язык-то, по его словам, знал плохо, только теперь начал учиться ему. А так как никому особенного дела до его знаний не было, то все только удивлялись его способностям. Еще бы, за два месяца научился он прилично болтать! Сырбаю он вначале понравился так, что старик взял его к себе. Но время шло и как ни умело прятал концы хитрый Тыртык, как он ни юлил и как ни таился, Сырбай сразу почувствовал в нем человека мелкого, неискреннего, себе на уме. Тогда он однажды, после небольшой размолвки, позвал его к себе и сказал:

— Знаешь что, никак мы с тобой не уживемся. Может быть, ты поискал бы себе другое место, а? Я старый, да глупый, ты молодой, да умный. Где же нам с тобой жить дружно.

Обгорелый место искал недолго. Он прямо пошел к Масакпаю. С этого и началась их крепкая и строго засекреченная дружба.

Масакпай все время наказывал Тыртыку.

— Ты смотри за этим старым чортом. Его из виду никак нельзя терять. Ходит, сгорбится, еле ногами шевелит, а все видит своими бельмами, все замечает. Эх, час такой не пришел, а то надел бы я на него узду.

Грянула Великая Отечественная война. Даулет в числе первых добровольцев уехал на фронт. Тогда Масакпай встретил Калакая и ударил его по плечу:

— Ну, — сказал он, — теперь только помалкивай да смотри в оба. Наша она будет. Понял?

Эта мысль так улыбалась Калакаю, что вначале он тоже обрадовался отсутствию Даулета. Но по мере того, как враг двигался к Москве, захватывая Белоруссию, Украину, настроение его резко менялось. Было не до личных счетов.

Скоро он поймал себя на том, что радуется каждому хорошему письму Даулета, а когда однажды ему показали номер центральной газеты, где описывался подвиг Даулета, он не выдержал и пошел к Айбарше. Горячо поздравив ее, он сказал:

— Дай бог твоему жениху благополучного возвращения! Ты его держись. Не скоро такого второго найдешь.

Он говорил искренне, и Айбарша поняла это. Скоро с фронта пришло письмо на имя Калакая.

— «Добрый день, дорогой друг, — писал Калакаю Даулет. — Я очень рад, что ты и Айбарша сдружились. Я думаю, что после окончания войны мы трое будем хорошими друзьями. Видно, война перестраивает человека не только на фронте, но и в тылу. Прими еще раз мой горячий привет и благодарность».

Когда до Масакпая дошли разговоры об этом, он понял все по-своему и сказал Калакаю так:

— Ну, и хитер ты, брат, а ведь на вид совсем простак. Ну, молодец, молодец! Так и дальше делай.

— Что дальше? — обиделся Калакай. — Мы теперь с Айбаршой и Даулетом — друзья.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал Масакпай. — Дай бог вам обоим всего хорошего и легкого. Ему легкой смерти, тебе легкой невесты. Каждому свое.

— Ты с ума сошел, дурак? — рассердился Калакай.

— Хорошо, хорошо, я все понимаю.

Счетовод, однако, принял все иначе, чем его председатель. Ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы Даулет погиб, а Айбарша вышла замуж за Калакая. Ему это надо было для того, чтобы агроном — человек влиятельный и уважаемый, не ушел из их компании. А Калакай уходил. С Айбаршой у них наладились теплые, хорошие, чисто дружеские отношения.

— Нет, так не годится, — говорил Тыртык Масакпаю. — Надо ее хоть со стариком поссорить. Иначе мы все пропадем.

Почему он, Обгорелый, должен был пропасть — этого он ясно не понимал. Тем не менее он делал все, чтобы поссорить, стравить друзей. Думал, прикидывал, размышлял и однажды все-таки придумал.

— Вот что, пожалуй, мы проделаем, — сказал он Масакпаю. — Они любят чай пить — Айбарша и Байжан. И все сидят один-на-один, как жених и невеста. Хорошо. Мы их так чайком напоим, что они наутро в одной кровати очутятся. Да еще в таком положении... — Он засмеялся и махнул рукой. — Ну, да уж ладно. Я придумаю, в каком положении... — Вот смотри-ка! — И он вынул из кармана пакет и высыпал на ладонь; мелкие, как маковые зернышки, семена.

— Белена! — сказал он с удовольствием.

На том и договорились.

Обгорелый пошел к Айбарше. Ему повезло: он застал ее одну. Даметкен и Наталья уехали в больницу, чтобы свезти Искандера. С ним приключилось что-то неладное, не то скарлатина, не то корь, не то просто ноги промочил. Айбарша стояла и колдовала над небольшим, уютно ворчащим самоваром.

«Хорошо, — подумал Обгорелый, — все как надо! — и спросил:

— А Байжан скоро придет?

— Скоро, — ответила Айбарша. — Он всегда в это время приходит. А что?

— А мне его нужно, — сказал Обгорелый и, когда Айбарша вышла на кухню, поднял крышку чайника и высыпал белену.

Байжан, действительно, пришел очень скоро. Айбарша обрадовалась ему, накрыла стол, открыла банку с вареньем и села разливать чай.

Тыртык сидел на лавке и смотрел. Айбарша налила три стакана.

— Ну, а ты что? Садись к столу — пей! — пригласила она Обгорелого, но тот только головой помотал.

— Не могу, сестренка! Ни пить, ни есть не могу два часа. Какие-то капли от желудка принял. Доктор строго-настрого наказал ничего в рот не брать.

— А ты плюнь!—равнодушно сказал Байжан. Он сам никогда не болел и никак не мог понять, как это другие охают, стонут, выдерживают какую-то диэту, ездят на курорты.

В дверь постучали. Вошел курьер с пакетом от секретаря райкома.

Байжан разорвал конверт и быстро поднялся из-за стола.

— Я сейчас приду, — сказал он, оставляя свой стакан нетронутым. — Срочно вызывают.

— И Рахмета приводи,—крикнула вдогонку Айбарша.

Прошло минут десять, потом еще пятнадцать, потом с полчаса, — не было ни Рахмета, ни Байжана.

Тыртык все еще сидел, но Айбарша с ним не разговаривала, внимания на него не обращала, и он вынужден был подняться и уйти. В конторе он узнал, что Рахмет посадил в свой автомобиль Байжана и увез его с собой.

Жалко, подумал он, в последние минуты все расстроилось.

И вдруг новая мысль пришла ему в голову: «Ведь Айбарша, наверное, сейчас уже выпила чай. Значит, яд подействовал. Значит, сейчас..». Он остановился и сразу представил себе все. «Вот это дело, — сказал он вслух. —Ну, и хорошо, что он уехал! Ах, как хорошо все выходит!...» Он круто повернул назад.

Подошел к двери, прислушался. Было очень тихо. Тыртык толкнул дверь и увидел: самовар стоит на столе, но уже не шумит; фарфоровый же чайник находится не на столе, а в печурке. Айбарша стояла посередине комнаты и неподвижно смотрела на него.

— А, заходи, заходи, — позвала она, когда он нерешительно остановился на пороге.

Тыртык не успел ничего и подумать, как Айбарша подошла к двери и заперла ее на крючок.

— Иди сюда! — сказала она спокойно.

У него были свои основания бояться Айбаршу. Как-то раз в степи они нечаянно встретились. Тыртык, как он потом рассказывал, пожелал пошутить над Айбаршой и кинулся стаскивать ее с коня. Дело кончилось тем, что стащила она его, приторочила поперек седла и начала возить по степи. Из него тогда чуть душа не выскочила. С тех пор оба они были в отношении друг друга настороже, особенно Айбарша.

Когда Тыртык вышел из комнаты, она вдруг почувствовала, что чай, который она заварила, пахнет какой-то удушливой пакостью. Она подняла крышку и взглянула в чайник. Там плавали какие-то мелкие черные зернышки. Она зачерпнула их ложкой и поняла — это была белена. Вот оно что? — подумала она злобно. — Ну, подожди же!

Как только Тыртык снова вошел в комнату она взяла его в оборот.

— Говори, негодяй, зачем ты отравил чай, — крикнула она.

А он так перетрусил, что только мычал. Это взорвало ее окончательно. Она схватила его за ворот и кинула на пол. Под руку подвернулся нож и она, недолго думая, замахнулась им над Тыртыком. Тот от страха сжался в комок.

— Что ты, что ты! — повторял он совершенно бессмысленно и вдруг завопил: — Караул!

Айбарша бросила нож и схватила Тыртыка за горло.

— Если ты сейчас же... — с каждым словом она ударяла его головой об стенку. — Если ты сей ас же...

Она трясла его так, что он, наконец, захрипел.

— Отпусти, я все скажу...

Она его отпустила.

— Я поклялся... — сказал он, поднимая руки.

Тогда она ударила его так, что он завопил.

— Скажу, все скажу! Все как есть. — И вдруг быстро прибавил: — Это Калакай.

— Что? — обомлела Айбарша.

Обгорелый вошел уже в роль и, сидя на полу, выкрикивал:

— Он, он, окаянный. Он меня и подбил на это. Говоришь: он друг, а какой он друг? Он собака.

— Да ты врешь! — сказала Айбарша.

Обгорелый вскочил на ноги. Он уже почувствовал, что теперь сила на его стороне.

— Нет, не вру,— сказал он твердо.— Я тебе не вру, а вот он тебе врал и врет. Я никому уже не вру. Мне все это надоело. Идите вы со своими делами к чорту, вот что!

Помолчал, что-то соображая, и вдруг добавил:

— А что если я тебе его записку принесу со всеми наставлениями?

Взглянув в его, теперь совершенно спокойное лицо, в его прищуренные глаза с жестким холодным блеском, Айбарша сразу озябла. Ей стало так тоскливо и так одиноко, что она даже забыла, с кем же она имеет дело — с Обгорелым, с тем подлецом, который только что пытался ее отравить.

— Принести? — повторил он.

— Принеси, — сказала она и машинально добавила: — Только если ты вздумаешь убежать...

Он улыбнулся этой жалкой угрозе широко и открыто и вышел за дверь.

Вернулся он с конвертом, положил его перед Айбаршой, а сам сел на лавку.

Айбарша стала читать. Да, так оно и было, как говорил этот негодяй. Калакай давал подробное наставле-

ние, где достать белены, как и что с ней делать, чтобы она вернее подействовала...

Айбарша опустила руку с запиской, прислонилась головой к стене и заплакала. Она сидела, а слезы так и бежали по ее лицу.

— Видела? — спросил Обгорелый злорадно.

— Ах, негодяй, — сказала Айбарша тихо. — Ах, какой же он негодяй!

Обгорелый смело подошел к ней, положил руку ей на плечо и сказал:

— Видишь, какие у тебя друзья? Вот и разбирайся теперь, кто тебе друг, а кто враг. Если кому верить, так верь мне, я хоть не кручусь, а прямо говорю.

Айбарша махнула рукой.

— Иди.

Он ушел. Айбарша дошла до кровати, встала на колени, уткнулась лицом в одеяло, и все ее тело заходило от громких, почти истерических рыданий.

— Ах, подлец! Ах, какой подлец! — повторяла она в отчаянии.

Вторым участником заговора был Масакпай. Он тоже не дремал. В тот день, когда Тыртык сообщил Масакпаю о том, что белена есть, что он сегодня, наконец, сделает все необходимое, Масакпай решил, что дело теперь можно считать уже покончeнным: в ловкость и проворность рук Обгорелого он верил непоколебимо. Даже в ладоши захлопал Масакпай от радости и сейчас же пошел седлать коня.

«Пусть старый пес, думал он, направляясь к Сырбаю, полюбуется на свою невестку и своего воспитанника. Пусть полюбуется»...

Масакпай приехал к старику и стал звать его к Айбарше — кое-что уточнить и выяснить в ее бригаде, — но Сырбай отказался. Он собирался в гости к соседке и никак не захотел ее обмануть.

— Вот что мы, пожалуй, сделаем, — сказал старик, подумав. — Побудем часика два у соседки, а потом и к Айбарше заедем.

Масакпаю все это мало улыбалось,—ему хотелось, как можно скорее увидеть Айбаршу, но спорить он не стал.

— Что же, в гости, так в гости, — сказал он.

Сырбай был приглашен своей сверстницей — женой

своего приятеля, который умер лет десять тому назад. Старуха была одна в хате. Взрослый сын ее ушел в гости к соседу. Там было празднество — молодую жену хозяина поздравляли с рождением первенца.

Сырбай и Масакпай посидели, поговорили со старухой, она уже поставила самовар, как вдруг явился ее сын — молодой, рослый красивый парень, и пригласил от имени хозяина пожаловать дорогих гостей на празднество.

Масакпай пошел. Он был большим любителем выпить и знал, что на родинах водки всегда хватает на всех.

Сырбай остался с хозяйкой. Они снова заговорили о временах прошлых и настоящих, о том, каким хорошим мужем был умерший и как похож на него и лицом и характером и умом его взрослый сын. То были нескончаемые стариковские разговоры и кто знает, сколько бы они проговорили так, если бы вдруг с треском и шумом не ввалился в комнату Масакпай. Его придерживал сзади сын хозяйки. Масакпай настолько опьянел, что удержать его было немыслимо и как только вошел в комнату, рухнул на пол.

Его осторожно подняли и положили на кровать. Сын хозяйки постоял, посмотрел на пьяного председателя, покачал головой и ушел.

Старики опять заговорили о своем. Через несколько минут они услышали возню на кровати. Масакпай тяжело поднимал с подушки багровое лицо свое, шевелил губами и силился что-то сказать. У него было искаженное яростью лицо и маленькие мутные от злобы глаза.

Сырбай взволнованно подошел к нему. А Масакпай, справившись со своей слабостью, поднялся и прямо пошел на Сырбая.

— Куда ты? — спросил Сырбай.

— К тебе, — ответил Масакпай.

— Зачем?

— А я вот тебе одно слово скажу, — ответил Масакпай. Он посмотрел на него ровным, почти осмысленным взглядом и сказал: — Бедный ты человек!

— Что, что? — спросил Сырбай, ничего не понимая.

— Говорили тебе: смотри за своей невесткой, береги свою честь! Не послушал, и вот... получай! — он сделал циничный жест.

Сырбай был так ошеломлен, что сперва даже не рассердился.

— Что ты бормочешь? — спросил он. — Какая такая честь, что случилось?

— А то,— сказал Масакпай злорадно,— что твоя невестка Айбарша и Байжан...

— Ах ты собака, — рассердился Сырбай. — Ах ты скверная гадина!

— Не веришь? — Пойдем посмотрим, — говорил Масакпай, наступая на старика.

Тогда Сырбай развернулся и ухнул его кулаком по лицу. Масакпай упал, как подкошенный. Сырбай схватил его за волосы, повернул лицом к полу и сунул несколько раз носом о половики. Масакпай закричал во все горло: «Караул! Убивают!».

Старуха бросилась к Сырбаю и стала разжимать его руки, но тот только слегка тронул ее локтем и она села на кровать.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в эту минуту дверь не отворилась и не вошли Рахмет и Байжан. Увидев их, Сырбай отпустил полузадушенного Масакпая и выбежал на улицу.

— Что случилось?— спросил Рахмет у старухи. Та только руками разводила — она в самом деле немногое поняла из случившегося.

Рахмет подошел к Масакпаю. Тот лежал на полу, стонал и не отвечал ни на один вопрос. Только утром Масакпай сказал Рахмету:

— А кто ж его знает, что случилось! Выпил и сказал ему что-то, а этот старый чорт на дыбы, да так избил меня, что места живого не оставил. Здоровый и злой дьявол!

Так Рахмет ничего и не узнал.

Вечером того же дня у Масакпая был другой разговор с помпрокурора района. Ему-то он рассказал все — они были закадычными друзьями, и Масакпай от него не скрывал ничего.

— Да,— сказал помпрокурора, выслушав все,— налицо избиение с телесным повреждением. Это дело можно пустить в ход и как раз так счастливо выходит, что сейчас моего хозяина в районе нет — он на курсах переподготовки в Алма-Ата. Что ж, если пустим дело уско-

ренным темпом, то успеем посадить хотя бы на год этого старого хулигана.

— А секретарь? — напомнил Масакпай. — Он за старика в огонь и в воду пойдет.

— Ничего! — помпрокурора улыбнулся. — Была бы статья подходящая да улики налицо... Не только секретарь райкома, но и прокурор республики ничего не поделает. Закон!

— Хорошо, если закон, — просиял Масакпай.

Помпрокурора вдруг задумался.

— А что старику этот год? Хорошо, если бы еще год заключения, а то ведь он станет апеллировать — взаимные обиды, тяжелые оскорбления, возраст обвиняемого — и облсуд заменит заключение принудработой в колхозе или на строительстве. А что ему 25 процентов? Нет, деньгами его не прошибешь! Надо бы другое что найти.

— А что другое? — спросил Масакпай.

— Не знаю! Подумай хорошенько — это уж твое дело.

Масакпай развел руками и тут же вскрикнул:

— Нашел! Нашел! Честное слово, нашел! Два мешка верна — вот что!

—Какие два мешка? — спросил прокурор.

— А, старый дьявол, вот где ты попался! — с торжеством восклицал Масакпай. — Видишь ли, — обратился он к помпрокурора, — он собирается организовать собственное звено, сговорился с Рахметом и начал готовить отборное зерно. Ходил с ножницами по посевам и колоски обрезал — два мешка собрал!

— А правление? — спросил помпрокурора.

— Правление ничего не знает. Что Сырбаю правление? Он на него и чихать не хочет.

— Ну, вот и все, — сказал помпрокурора. — И статья готова, да еще какая! Закон от 7 августа! Расхищение государственной собственности! 10 лет и выше без применения амнистии. Только вот что — пусть правление пошлет мне докладную записку: так, мол, и так, такой-то является врагом народа, расхитителем общественной собственности. Можно добиться от правления такой бумажки?

Масакпай отрицательно покачал головой.

— Плохо! Значит, нужно написать заявление. Найди такого человека и чем скорее, тем лучше.

Масакпай кивнул головой. Такой человек у него был на примете. Он нашел его и в тот же день заявление было готово.

У колхозного шофера Есета были свои причины жгучие, хотя и безмолвно ненавидеть старика. Еще бы! Сын Сырбая отбил у него невесту, просватанную еще в пеленках. Сырбай, к которому Есет обратился как-то с просьбой унять своего сына, цикнул на него так, что он больше об этой просьбе и не заикался. Теперь он готов был оказать Масакпаю и Обгорелому любую услугу, коли она могла погубить старика. Правда, он был недостаточно грамотен для того, чтобы составить толковое заявление, но в этом ему помог Обгорелый. Есету только пришлось переписать его.

В тот день, когда Рахмет выехал в Алма-Ата, в дверь Сырбая постучался помощник прокурора с двумя милиционерами. Они пришли, как гласил ордер, выписанный на обыск и арест мираба Сырбая Дайрабаева, чтобы изъять украденное колхозное зерно.

В этот день у Сырбая было пиршество. Старик еще задолго до окончания войны праздновал победу. Газеты сообщали, что немецкие орды разбиты и отброшены на запад.

Сырбаю даже не дали как следует поесть. Его подняли из-за стола и вместе с криминальными мешками увезли в районную тюрьму. Присутствующие были так поражены и напуганы, что никто не догадался даже спросить, в чем же все-таки дело.

Через день, по вызову Айбарши, из Кзыл-Орды прибыл Анатолий Кондратьевич. Он сразу бросился к прокурору.

— Но ведь это же абсурд, — говорил он, прижимая руки к груди и мучаясь от нелепости положения. — Ведь это же анекдот!

Помощник прокурора пожимал плечами и поглаживал мешки, которые стояли у него в кабинете.

— Улика налицо, — говорил он, улыбаясь, — я человек маленький. Не я бью — закон бьет.

— Ну, хорошо! — прошипел Анатолий Кондратьевич, сел на лошадь и ускакал на станцию.

Через три дня помощнику районного прокурора вручили телеграмму:

«Арестованного вами бригадира колхоза Кен-Тогай Сырбая Дайрабаева из-под ареста освободить. Конфискованное зерно вернуть. Все материалы предварительного следствия вместе с вашей объяснительной запиской доставить лично прокурору республики».

Помощник прокурора прочитал телеграмму, выругался и велел запрягать лошадей, чтобы ехать за Сырбаем в районную тюрьму.

Глава двадцатая

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК

ВОПРОС о незаконном аресте Сырбая был подробно обсужден на заседании бюро Кзыл-Ординского обкома.

На разбор дела были приглашены и присутствовали там второй секретарь райкома Каир Кобелеков, зав. райзо Калакай Артыков, председатель колхоза «Кен-Тогай» Масакпай Курмеков, шофер колхоза Есет и, наконец, потерпевший Сырбай Дайрабаев. Была приглашена и Айбарша, но она не могла присутствовать из-за своей болезни.

Масакпаю было сильно не по себе. Он знал, что ему его проделки зря не пройдут и уже заранее готовился к худшему. Раньше была хоть надежда: может быть, можно будет кое-что свалить на Калакая, или хотя бы сослаться на него. Вот, мол, был у него, говорил с ним, он поддержал меня: иди, мол, и заяви, пусть разберутся. Но Калакай сидел рядом, прямой, замкнутый и совершенно ясно было, что от него помощи не дождешься. Недавно они поссорились.

Началось все с того, что Калакай стал обвинять Масакпая в незаконном аресте старика. Масакпай же себя виновным не признавал и хотя не отрицал своего участия, но ссылался на высокие мотивы, руководившие им при посылке доноса. Расстались они в самых натянутых отношениях.

Немедленно после этого Калакай (незадачливый председатель колхоза узнал сразу же) вошел в райком с представлением о снятии Масакпая с поста председателя. Тогда дело замяли. Второй секретарь райкома Каир Кобелеков, человек вообще очень нерешительный, боязливый и постоянно во всем сомневающийся, сказал, что надо бы еще, пожалуй, подождать: явного преступления налицо нет, а Масакпай человек дельный и все хозяйство держит в руках, весь район, как свою избу знает — кем его сейчас заменишь, да и время не то. На этом тогда все и кончилось! А теперь вот начнется снова, да и как начнется! А Калакай, свинья эта, никак не хочет протянуть руку помощи.

— Милый, нехорошо ты поступаешь, — обратился к нему как-то Масакпай. — Ты подумай-ка; почему я разругался с Сырбаем? Что я с ним не поделил? Только из-за тебя все и вышло. Не влюбился бы ты в Айбаршу, не стал бы я тебе и помогать. Жили бы мы со стариком душа в душу, а теперь: начался шум — ты в стороне, а я в бороне. Недаром говорит пословица: «Кто сметану слизал, тот во-время сбежал, кто облизывал горшок, тот попал под посошок». Не будь мне врагом, милый! Помни: из-за тебя я страдаю.

Калакай был не в духе и казахскую поговорку принял хмуро:

— Ты мне голову не дури,— сказал он.—Ты на меня хочешь сослаться, а я тебе еще когда советовал бросить это дело. Ты не послушался. Ну, что ж, пеняй на себя. Я прямо скажу: не перестанешь врать да крутить,—головы не снести тебе!

— Что же мне тогда говорить? — почесал затылок Масакпай.

— Я тебя научу. Говори: мы с Калакаем воспитывались в одном детском доме и были друзьями. Потом мой друг влюбился в чужую невесту, а так как она на моего друга и плевать не хотела, он задумал ей отомстить. Вот тогда мы с ним сошлись вторично. Не так ли?

— Так, — ответил Масакпай, удивленный и словами Калакая и еще больше тоном его, понять которого он не мог.

— А потом скажи: Калакай знал, конечно, что я человек вредный и ни перед чем не остановлюсь. Его в тот

период это и связывало со мной. Но тут он определенно ошибся. Да, он ошибся, — скажешь ты дальше, ибо я, Масакпай, вдруг таким подлецом оказался, что даже Калакай руками развел. Тогда он отошел от меня, но я уже остановиться не мог — и вот результат. Хорошо получается?!

— Хорошо, да неправда, — хмуро ответил Масакпай. — Ты о том подумай: зачем мне все это нужно было? Чем мне Сырбай повредил? Ведь меня об этом обязательно спросят.

— А вот ты и объясни им: я, скажи, человек воровatый, рука у меня длинная, что где плохо лежит, у меня на то брюхо болит. А Сырбай — старик праведный, он таких не любит. Вот мы и рассорились с ним. Я вижу, все равно нам обоим вместе не жить, и заставил своего подручного написать донос, а тот и рад стараться...

Масакпай сидел и смотрел на него.

— Ох, не прошибись, милый. — внезапно сказал он. — С того ли конца ты все начинаешь? Ох, не прошибись!

Калакай засмеялся и тут же добавил серьезным тоном:

— Лучше всего не крутить тебе, а прямо сказать: вышло, мол, недоразумение и кругом виноват я. Но так как злого намерения у меня не было и тяжелых последствий донос мой не вызвал, то простите меня, дурака. Русские говорят: повинную голову и меч не сечет, авось, помилуют.

На заседании бюро все пошло не так, как мог ожидать Масакпай. Он так боялся Есета, а оказывается зря. Шофер держал себя молодцом.

— Мое заявление — моя и вина,—сказал он.—День вижу ходит старик, колоски обрезает, в мешочек складывает, другой и третий вижу то же. Никому ни его не говорит, а стрижет, а ведь добро-то колхозное, общественное. Сомнительно мне стало — вот я и написал об этом прокурору: разберитесь, мол, в чем тут дело. А тот, видите, как это дело повернул. Не отрекаюсь — я все начал.

Он помолчал, развел руками и добавил:

— Только с каких это пор бдительность стала преступлением?

Калакай зато подвел председателя очень сильно. Он буквально повторил все то, что было сказано до того — ни слова не упустил и не добавил. И решение последовало, конечно, соответствующее. Про Масакпая в нем говорилось так:

— ...Ввиду того, что председатель колхоза товарищ Курмеков Масакпай занялся раздуванием склоки, приведшей к частичному срыву посевной кампании, объявить ему строгий выговор с предупреждением и поставить перед колхозниками вопрос о снятии с работы.

Касаясь дальнейшей работы колхоза, бюро постановило:

«1. Поддержать инициативу товарища Сырбая Дайрабаева по поднятию урожайности риса путем отбора высокосортного зерна.

2. Предложить райсяному земотделу выделить подходящий опытный участок для высева собранного Дайрабаевым зерна.

3. Поручить правлению колхоза выделить звено для работы на опытном участке. Бригадиром назначить Дайрабаева.

4. Конфискованное зерно вернуть Дайрабаеву. Предложить Госсемсортфонду произвести анализ на похожесть и в случае порчи зерна — заменить его другим.

5. Предложить МТС обеспечить звено Дайрабаева необходимой механической силой для обработки участка».

— Ты на меня обиделся? — спросил Калакай бывшего председателя колхоза, когда они вместе вышли из здания обкома.

Масакпай прошел несколько шагов молча, потом вдруг повернул к своему бывшему другу ненавидящее, перекошенное лицо и негромко, но четко сказал:

— Ты у меня будешь это помнить! Ты у меня еще... — и быстро ушел. Он спешил к Обгорелому.

До этого у Масакпая с Тыртыком был такой разговор:

— Ты понимаешь, Тыртык, к чему все это клонится? — спросил его Масакпай.

— Ничего! Может быть, еще наша вывезет,— несмело предположил Обгорелый.

— А как не вывезет? Тогда одна надежда на тебя.

— Денег бы нужно,— вздохнул Обгорелый.— Без денег куда ты денешься? Всякое дело монету любит.

— Да я что-нибудь выжму еще из колхоза,— сказал Масакпай раздумчиво. — Да и своих денег... постой-ка, я соображу... Ну, тысяч тридцать у меня есть. За коня я тоже, думаю, тысяч десять мне дадут. Двух свиней я продам — значит, еще столько же. Сколько это?

— Пятьдесят тысяч,— сказал Тыртык.

— Так! Теперь два ковра у меня есть. Хорошие ковры. Их тоже тысяч за тридцать я всегда продам. Ну, еще всякой мелочи там,— коз, баранов, тряпок, ложек-плошек, считай еще двадцать тысяч — итого сто. Хватит этого, как по-твоему?

На другой день Масакпай передал Тыртыку тридцать тысяч для того, чтобы тот хорошенько запрятал их у себя. Мало ли что может случиться?

— Еще вдруг арестуют,— сказал он тревожно.

«А если тебя арестуют, подумал Тыртык, то деньги все твои будут моими. На два года мне хватит».

Когда Тыртык приехал в Кзыл-Орду и зашел к Масакпаю, тот был еще на заседании обкома. Он стал его ждать. Масакпай вернулся через час.

— Ну, что? — спросил его Тыртык.

— Сняли, — довольно спокойно сказал Масакпай. Подумал и добавил: — и выговор дали. Еще подумал и кончил: — Строгий, с занесением в личное дело.

— Все он, собака? — спросил Тыртык.

Масакпай молча кивнул головой.

— Что же я теперь с ним сделаю? — как-то даже горестно протянул он.— Ума не приложу...

Тыртык вдруг спросил:

— У тебя нет ли какой-нибудь записочки его?

— Есть. А что? — спросил Масакпай.

— Дай-ка ее мне. Она мне пригодится.

— Хорошо,— кротко ответил Масакпай и больше не расспрашивал.

Дело же было вот в чем. Наряду с прочими талантами Тыртык имел один талант превыше всех других: он отлично подделывал почерки. Так подделывал, что в детдоме перессорил между собой всех преподавателей. Но, говорят же, сколько веревочке не виться, а конца не миновать. Его вызвали в отделение милиции и Обгорелый с трудом выкрутился. С тех пор он притих и снова занялся подлогами только в колхозе. Масакпай и не подозревал, что добрая четверть всех бухгалтерских

документов, всех счетов и ордеров была подделана счетоводом.

Вспомнив о своем таланте, Тыртык подумал: «А что если в самом деле подложить Калакаю такую свинью — написать от его имени несколько писем — Айбарше — одно, Байжану — другое. Он и не догадается, кто ему этот удар нанес». И сейчас же мысль заработала дальше: «А если написать письма от имени Калакая и Байжана к Айбарше и от имени Айбарши к Байжану и Калакаю, потом собрать всю переписку и отослать Даулету и Гюльнар? Доказательства измены будут налицо. Надо только достать образцы почерков».

С тех пор как посыпались на Масакпая неприятности, Сырбай чувствовал себя крайне неудобно. Когда же того сняли с поста председателя, старик окончательно лишился покоя.

— А судить его не будут? — спрашивал он Анатолия Кондратьевича.— А вдруг из-за меня еще и в тюрьме насидится?

— Ты же из-за него сидел,— улыбнулся Анатолий Кондратьевич, но, взглянув в лицо друга, поспешно добавил: — Нет, под суд его не отдадут. Вот в армию послать его могут.

Сырбай покачал головой.

— Ай, нехорошо,— сказал он с сожалением.— Из-за меня человек места лишился. Нехорошо, нехорошо! Я и сам недавно был в беде, думал, что наступил мой закат, а теперь — другому зло делаю. Бог обиженных слушает, как бы он и на меня не прогневался.

Анатолий Кондратьевич не то, что разделял чувства старого мираба, он просто понимал их: Сырбай сейчас считал себя самым несчастливым человеком на свете и никого не хотел видеть несчастным. Недавно он считал себя действительно несчастным, а вот теперь...

Как-то случилось так, что Даулета сочли погибшим и штаб полка сообщил об этом по месту его жительства. Как обычно, письмо попало в руки Обгорелого. Тот прочел его, заклеил опять, большими крупными буквами вывел адрес Айбарши. Письмо вручили лично ей и через час мать нашла Айбаршу в глубоком обмороке. Падая, она расшибла себе голову об угол стола и ее пришлось отправить в больницу. Гибель сына и болезнь невестки Сырбай считал часами своего заката. Но его

солнце взошло вновь, когда он получил письмо от сына. Даулет был в окружении, а теперь жив, здоров и даже не один, а с Гюльнар.

Сырбай немедленно оседлал коня и с письмом в руках, всклокоченный, потный, задыхающийся, счастливый, доскакал до районной больницы. Он растолкал сиделок, чуть не зашиб дежурного врача, опрокинул по дороге аптечку и бросил на кровать Айбарши письмо сына.

Все эти дни были днями его радости. Как же теперь он мог сделать несчастным другого человека? Вот тогда он и продиктовал Байжану письмо к Масакпаю. Очень вежливо и тепло старик приглашал бывшего председателя зайти к нему закусить и посоветоваться — нельзя ли чем ему помочь.

Масакпай приглашения не принял, а самую записку передал Тыртыку. Тот страшно обрадовался. Теперь ему оставалось только достать образец почерка Айбарши. А это было делом очень сложным. Как ни искал он ее писем, а найти их не мог.

Пришлось съездить специально в город. Предлог он нашел — поздравить Айбаршу с тем, что ее жених негаданно оказался жив и здоров.

Айбарша после выхода из больницы жила в опустевшей на лето квартире Анатолия Кондратьевича. Дом был большой, байский. Он некогда принадлежал богатому узбеку и был построен по узбекскому образцу, с длинным глинобитным забором, с крепкими воротами, высокими и богато украшенными. В них Тыртык и начал стучаться.

Ему долго не отворяли. Он рассердился и пнул ногой калитку так, что ворота задрожали. Айбарша из окна сразу признала его, не открывала же она потому, что думала над письмом Даулета. Письмо было несколько странным.

Даулет не писал, где он находится и что с ним, только просил не волноваться,— все, мол, будет хорошо. Из этого Айбарша поняла, что сейчас ему очень плохо. Писал Даулет в трех строках и про Гюльнар. «По законам старой дружбы,— писал Даулет,— мне приходится ухаживать за ней. Когда мы вернемся, ты попытай ее: плохой ли я был санитар? Самое главное — оба пока живы и бодры. Скоро надеемся и свою часть увидеть».

Айбарша сначала прочла все письмо, а потом снова вернулась к тому загадочному месту: «Ухаживать по законам старой дружбы». Но если он ухаживает, да еще как санитар, значит, Гюльнар больна. Ранена, вероятно. Но коли ранена, почему же она не в госпитале. «Надеемся увидеть свою часть»,— значит, сейчас они находятся не в части. Где же они тогда?»

«Значит, в окружении,— решила Айбарша,— Гюльнар ранена, а Даулет ухаживает за ней». Но и другое пришло ей в голову. Если они в окружении, то как же Даулет сумел переслать письмо?»

Чем больше она думала над письмом, тем тяжелее ей становилось. Она должна была все продумать, взвесить, чтобы написать ответ. Она потому и осталась в городе, что ей нужно было уединенное место для написания письма. Сейчас в доме Анатолия Кондратьевича, кроме Матрены Яковлевны да какой-то старушки — дальней родственницы последней байской жены,— никого не было. Но Айбарше сейчас и Матрена Яковлевна мешала. Она ее услала куда-то и села за стол.

Первое слово «Даулет» она написала, каллиграфически выводя каждую букву. Но дальше этого дело так и не пошло. Она посидела, подумала, потом вынула из кармана комсомольский билет и открыла его на тех страницах, между которыми лежала фотография Даулета. С этой фотографией она не расставалась никогда. Только за последнее время, когда пришло такое странное письмо, в котором каждая строчка намекала на что-то и все-таки ничего не разъясняла до конца, она стала вынимать ее несколько реже. Даулет стоял высокий, красивый, рослый в форме танкиста. «Такой ли ты сейчас? А может быть, лежит окровавленный где-нибудь под кустом?». На глазах ее показались слезы, она упала головой на стол и захлебнулась слезами.

Прошел час, а она все еще не могла успокоиться. В это время и показался в конце улицы Обгорелый.

«К нам,— быстро подумала она.— Вот не во-время!», и все-таки быстро вынула из кармана маленькое зеркальце. Глаза были красными, лицо опухшим. Разве можно было такой показаться Обгорелому. «Не отворю».— решила она.

Обгорелый тем временем подошел к калитке, стукнул раз, стукнул два, а потом просто начал ломать во-

рота. «Вот дурак»,— подумала Айбарша и вдруг сообразила. «Да нет ли у него письма?»

Она быстро подошла к воротам, постояла и очень спокойно спросила: «Кто там?»

Обгорелый отозвался. Тогда она, так же не спеша, сняла щеколду.

— Что тебе тут надо? — спросила она очень неприязненно.

— Мириться к тебе пришел,— ответил Обгорелый.— Тогда получилась у нас с тобой маленькая размолвка... но зря.

— То есть как это зря? — крикнула Айбарша и вся покраснела. — Ты мне подсыпал отравы...

— Ну уж и отравы!—очень натурально засмеялся Обгорелый,— какая там отрава... Так просто пошутить хотел... От белены люди как пьяные бывают, пляшут, смеются, глупости всякие говорят. Вот я и думал...

— Плохо, значит, ты думал,— сурово отрезала Айбарша,— ну, ладно, что было, то прошло, а в другой раз поостерегись. Слышишь?

— Слышу! Дай руку! Значит, мир. Худой мир, говорят, лучше доброй ссоры... А что ты такая заспанная, ровно не спала всю ночь.

— Гости были,— ответила она.— Долго сидели.

— Кто же был? — спросил Обгорелый.

— Да все те же. Сырбай, Анатолий Кондратьевич, Байжан, Калакай.

«Ну и врешь!» — чуть не крикнул ей в лицо Обгорелый, но сдержался и невинно спросил:

— Кстати, как с Сырбаем?

— Все хорошо,— бодро ответила Айбарша.— Дали ему рабочих и семена.

Обгорелый сделал радостное лицо.

— Вот и не спали потому,— продолжала Айбарша.— Разъехались только утром. Я проводила их до вокзала, пришла, свалилась, как убитая, да и заснула. А ты тут чуть двери не расшиб. Откуда у тебя столько силы на это берется?

— Силы у меня на все хватит,— многозначительно сознался Обгорелый.

— Что ж, пойдем в комнату,— печально сказала Айбарша. Она уж поняла, что если бы у него было письмо, он не стоял бы так.

Обгорелый же в свою очередь подумал: «Нет, не похоже, милая, на то, чтоб ты спала. Это у старух пухнет лицо от сна, а ты плакала. С чего бы только?»

Айбарша усадила Обгорелого в кухне и быстро нырнула в спальню. Там она подошла к зеркальному шкафу и остановилась, рассматривая себя. На нее глядело опухшее, красное и, как ей показалось, очень некрасивое лицо. Тогда она быстро взяла длинное мохнатое полотенце, перекинула его через плечо, вышла на двор и пошла к колодцу.

— Ты посиди-ка,— крикнула она Обгорелому,—а я умоюсь.

Обгорелый кивнул головой. Оставшись один, он быстро оглядел комнату. Нигде не было ни клочка бумаги. «Вот и ищи тут»,— подумал он недовольно.

Вдруг ему бросилось в глаза летнее пальто Айбарши. Он встал, на цыпочках подошел и сунул руку в боковой карман. Нет ли там чего? Так и есть: записка! Он развернул ее. Адресована она была Байжану. Айбарша писала о заседании обкома, упоминала имена Калакая и Масакпая — не они ли, мол, все это и подстроили. «Хорошо, подумал Обгорелый, не думал, не гадал, а именно то, что нужно, нашел». Он положил письмо сперва в карман, потом быстро снял сапог и сунул в него записку. Так-то надежнее.

Айбарша позвала его в комнату. В открытую дверь он увидел столик, чернильный прибор и бумагу.— «Вот с этого и начну»,— решил он и спросил Айбаршу.

— А что пишет Даулет?

— Он много не пишет,— ответила Айбарша.— Жив, здоров.

— Ну и слава богу! Не ему ли ты собираешься писать?

— Ему.

— Я тоже хочу приложить от себя писульку. Можно?

— Что ж, пиши. Он будет рад.

Она прошла в другую комнату, слегка причудилась, поправила волосы. Когда она вернулась, Обгорелый уже встал из-за стола.

— Вот! — сказал он,— возьми.

— Спасибо! — ответила Айбарша и, помолчав, осторожно спросила:

— Ты ко мне по делу?

— Нет, какое там дело. Просто хотел узнать, что с Даулетом.— Он стал прощаться.

Айбарша проводила Обгорелого до ворот, помахала ему, потом вернулась, села опять за столик и прочла записку Тыртыка. Письмо было хорошим, дружеским — так пишут на фронт хорошему приятелю. В нем было все: сожаление, привет, пожелание лучшего, маленькие новости.

Она дописала свое письмо до конца, вложила в него письмо Обгорелого и встала.

— Если ты добрый нам приятель — хорошо,— сказала она вдруг громко.— Если же ты лжешь... то недаром говорят: «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить».

Глава двадцать первая

ПОДЛИННАЯ ДРУЖБА

ВОИНСКАЯ часть, в которой служил Даулет, после упорных и многодневных боев отходила от старорусского плацдарма по направлению к станции железной дороги.

Если бы танковая рота Даулета помедлила еще, она бы оказалась в мешке.

Немцы, стремясь перерезать линию Москва — Ленинград, спустились по Вишерскому каналу и около Старой Руссы зашли в тыл красноармейских частей. Дальше они уже двигались к Калинину, уничтожая железнодорожные мосты, минируя переходы, разрушая насыпи и виадуки, словом, всячески стараясь помешать отступлению Красной Армии за линию рек Ловать и Поло.

Во время этого отступления, после того, как мост через Ловать был взорван, очутился Даулет со своей танковой ротой в густом лесу.

Была уже середина декабря, везде лежал снег. На далеком расстоянии все мало-мальски похожее на военные объекты или просто человеческое жилье, было снесено с лица земли. Люди уходили в леса.

Красноармейские части, укрепившись на северном берегу реки Поло, вступили в бой с врагом. В течение многих часов земля и воздух гудели от чудовищной артиллерийской дуэли. Люди выбывали десятками.

Между тем рота Даулета не только не уменьшалась, наоборот, она быстро росла. И хотя из четырех танков его роты исправны были только два, к ним тянулись бойцы из других частей. Когда численность роты возросла до пятидесяти человек, Даулет сказал:

— Что ж, этой ночью будем прорываться к своим. Для этого придется форсировать реку. Приказываю уничтожить все лишнее, разведке проверить броды и выяснить расположение огневых точек противника. Пока объявляю отдых.

Но сам он отдыхать не стал. Захватив с собой несколько человек, он пошел искать переправу. И здесь у реки он наткнулся на санитарный эшелон. Начальником этого эшелона была Гюльнар Полевая.

Попала она на фронт в начале ноября. За это время была несколько раз легко ранена.

Санитарный состав, с которым она ехала, где-то около Старой Руссы попал под артиллерийский обстрел. Потом, когда части Красной Армии отступили, эшелон сумел дойти только до реки Ловать и там уперся в тупик. Нечего было и думать о том, чтобы навести новый мост. Воинские части форсировали реку вброд. Думали перевести раненых ночью на рыбачьих лодках, но вражеская авиация и ночью не давала покоя.

Однако Гюльнар не теряла присутствия духа: она знала — командование приложит все силы к тому, чтобы вырвать эшелон из этого огненного мешка.

В ту минуту, когда Даулет подошел к сторожевому посту, в салон-вагоне, прицепленном к составу, шло совещание. Говорила Гюльнар. Она сообщила, что командование уже подогнало к тому берегу санитарный состав. Мост навести саперы уже не успеют и раненых придется переправлять на лодках... Значит, задача нашего персонала состоит в том...

В это время в вагон вошел подчасок и остановился сзади нее, выжидая. Гюльнар обернулась.

— Товарищ начальник эшелона, разрешите доложить,— сказал подчасок,— просит разрешения войти командир танковой роты старший лейтенант Сырбаев.

Врач Полевая побледнела, всплеснула руками и быстро пошла к выходу. Присутствующие переглянулись. Они знали свою начальницу как человека выдержанного, делового и отлично владеющего собой. Сегодня она целый день руководила работами по переносу раненых из одних вагонов в другие и решительно ничем не выдала своего утомления. Что же такое случилось сейчас?

Врач Полевая настолько быстро покинула салон-вагон, что огромный и рыжий детина — подчасок так и остался стоять в положении «смирно».

— Вольно! — приказал ему младший лейтенант и спросил.

— Что это за Сырбаев?

Подчасок развел руками.

— Наверное близкий родственник.

— А почему ты полагаешь, что он ее родственник?

— Потому, что как только услышала его фамилию, то побледнела и смутилась...

— Идите!

Не успел подчасок пройти несколько шагов, как опять увидел незнакомого лейтенанта, а с ним и начальницу. Положив руки на его плечи, она плакала, громко всхлипывая и не утирая слез. Даулет успокаивал ее.

— А я-то думал, — говорил он, — что ты привыкла ко всему и совсем герой, а ты расплакалась, как девчонка... Ну, на что же это похоже?

Гюльнар всхлипнула еще раз глубоко и порывисто, потом вынула платок и стала утирать глаза.

— Ты уж прости, дорогой, увидела тебя, словно дом родной увидела,— сказала она, затихая.— Хочу удержаться, а не могу. Слезы так и бегут. Ну-ка, дай на тебя посмотреть еще раз.

Она снова обняла его и поцеловала.

— Какой же ты возмужалый, ладный!— сказала она с материнской гордостью.— Смотри, и не обнимешь тебя даже. Ну, ладно, идем в вагон.

В вагоне она познакомила его с сослуживцами.

— Как же ты нашел меня?— спросила она, садясь и сажая его. — Кто тебя сюда направил?

— Такое уж мое счастье,— улыбнулся Даулет.— Не думал, не гадал, а вот встретил.— И он рассказал, как вместе с десятком своих бойцов он долго блуждал среди

разрушенных составов и развороченных путей и как, наконец, добрался до салон-вагона.

Совещание теперь продолжалось уже с участием нового лейтенанта. Даулет, как самый старший по чину, взял на себя командование ночной переправой.

Он немедленно усилил посты, выслал разведку и приступил к переноске раненых к берегу, чтобы потом, с наступлением ночи, переправить их на тот берег.

Осмотревшись, Даулет быстро подсчитал переправочные средства и увидел, что их очень и очень мало. Тогда он приказал соорудить один большой плот из лодок и досок. Конечно, долго такой плот прослужить не мог, но Даулет на это и не рассчитывал: плот нужен был только на одну ночь.

Все работали дружно и хорошо. Один за другим освобождались вагоны, раненые быстро доставлялись в укрытое место на берегу реки. Когда не стало хватать носилок, легко раненные помогали своим товарищам, тащили их на спине или на плащ-палатке волоком.

Даулет всюду поспевал: он командовал, строил и носил даже раненых. Ему совсем не была знакома усталость.

К наступлению ночи плот был готов, и Даулет распорядился немедленно начать погрузку раненых на плот и перевозку их на другой берег.

Плот не сделал еще и двух рейсов, как с той стороны к взорванному мосту подогнали санитарный поезд. Как раз в это же время разведчики доложили Даулету о том, что вблизи переправы появилась немецкая пехота.

— Так,— сказал Даулет и взял Гюльнар за руку.— Теперь переправу придется тебе взять на себя. Постарайся кончить все до утра. Бойцов я у тебя заберу. Обходись как-нибудь с санитарами. А вы, товарищи,— обратился он к бойцам,— кладите носилки и — за мной.

Гюльнар стояла бледная и растерянная.

— До новой встречи!— сказал Даулет и быстро пошел к берегу.

— Я скоро приду, Гюльнар,— крикнул он уже издали. — Желаю удачи!

Проводив Даулета, Гюльнар, не теряя времени, кинулась к вагонам. Надо было торопиться, чтобы за ночь

под охраной отряда Даулета успеть перебросить всех раненых.

Тем временем Даулет уже выбрал укрытое место, наиболее подходящее для обороны и охраны эшелона, расположил бойцов и приказал быть готовыми ко всему.

— Наша задача, — говорил он, — задержать врага до отправки санитарного эшелона. Об отправке нам сигнализируют ракетой. Если немцы так и не подойдут, мы выберемся и уйдем, ибо наш долг — обеспечить благополучную перевозку раненых на тот берег. Немцы, очевидно, и не подозревают о нашем существовании, иначе они давно бы разбомбили весь этот берег. Если же они все-таки подойдут, то мы должны подпустить их как можно ближе и бить в упор, драться до последнего патрона.

К середине ночи появилась вражеская разведка. Не подозревая о притаившейся засаде, немцы шли открыто, шумно разговаривали.

В этот момент взвилась сигнальная ракета. Немцы, увидев ракету, остановились, как вкопанные. Они были так недалеко, что при желтом свете были ясно видны даже пуговицы на мундирах, даже гербы на нашивках.

— Огонь!!! — приказал Даулет. Слозно земля и кусты взорвались около него. Первые ряды немцев упали, как скошенные, другие, пригибаясь, побежали назад и залегли. Началась перестрелка.

Через полчаса Даулет почувствовал, что немцы подбросили свежие силы: стрельба с их стороны усилилась, в бой были введены минометы. Мины рвались все чаще и чаще, накрывая бойцов отряда. Надо было спешно отступать.

В это время Даулет услышал свое имя. Он быстро обернулся. Это была Гюльнар.

— Ты откуда? — удивился он, и сейчас же спросил: — А эшелон?

— Все благополучно, — ответила Гюльнар.

Даулет кивнул головой. Для дальнейших расспросов не было времени.

— Отступать!—приказал он бойцам.—Итти к дальнему концу моста. Там схорониться за разбитыми вагонами и взорванными быками моста и ждать дальнейших приказаний.

— Идем, дорогая,—сказал он, обращаясь к Гюльнар.

Когда они вышли из-за укрытия и побежали по кустам, обстрел усилился. Все время вспыхивали ракеты, и беглое белое пламя освещало отступающих. Мины стали ложиться еще гуще и чаще. Несколько красноармейцев упало. Гюльнар не выдержала и панически крикнула:

— Ложись, Даукен! — и упала сама.

Даулет наклонился, дотронулся до нее.

— Вставай, — тоном приказа сказал он. — Бежать надо.

Она поднялась и побежала вслед за Даулетом. Огненные смерчи бушевали вокруг них. Небольшие деревья падали, скошенные острым косым огнем.

Они бежали зигзагами и уже были близко от речного склона, как вдруг разорвалась еще одна мина, и Гюльнар упала.

— Что такое? — спросил Даулет.

— Нога, — ответила Гюльнар.

Он наклонился к ней. Потом схватил ее в охапку и побежал.

В это время немцы показались на берегу реки — Даулет и Гюльнар оказались отрезанными от реки. Что делать? Ведь не итти же к немцам! И Даулет повернул в лес, черневший справа.

После, вспоминая все события этой ночи, Даулет удивлялся одному: как это он, когда бежал, потом шел, неся тяжелую Гюльнар, ни разу не запнулся и не упал. А шел он и бежал долго, совершенно выбиваясь из сил.

Когда они очутились в лесу, вокруг них никого уже не было. Не обращая на это внимания, он продолжал двигаться в глубь леса. И вдруг он увяз по колено в грязи. Пришлось остановиться, чтобы осмотреться, выбрать лучший путь.

Даулету — уроженцу песчаных степей и полупустынь Сыр-Дарьи — только здесь и пришлось встретиться с болотами. Однажды он видел, как машина, заехавшая в такой гнилой перелесок, сразу увязла по самый кузов: трясина засосала ее. «Вот и тут так же», — подумал он. Везде лежал белый, чистый и очень ровный снежный покров, но он был обманчив: нога, вступившая на него, сразу провалилась по колено. Ему показалось, что все это

место, как один огромный нарыв — надавишь его и выступает гной. Он знал: не удержись только, и сейчас же обоих засосет жидкая грязь.

Но итти было надо, и он шел со своей ношей на спине. Один раз он провалился по колено, в другой раз ушел чуть не до пояса. Упираясь обеими руками о снежный наст, он выполз и снова шел. Холодная и липкая грязь наполняла доверху его сапоги. Пальцы на ногах потеряли чувствительность.

Гюльнар, которой каждое сотрясение причиняло нестерпимую боль, стиснула зубы и тихо лежала на его плече. Потом она стала просить:

— Положи меня на сухое место и уходи. Постарайся спастись сам. Иначе, оба пропадем в этой трясине и некому даже домой сообщить, — она говорила это через зубы и Даулет сам должен был закусить губу, чтобы не закричать.

— А если к немцам попадем? — вдруг спросила она и тут же добавила тихо: — Нет, ты лучше оставь меня здесь. А сам уходи. Уходи, милый!

— Почему же мы должны попасть им в руки? — сказал он. — Как-нибудь спасемся... А ты подумала, что я дома скажу, если потеряю тебя? Какими глазами я на Байжана смотреть стану? Подумала ты об этом? Нет! Нет уж, если умрем, так в одной могиле лежать будем, а если дойдем, так оба вместе.

Гюльнар хотела сказать еще что-то, но Даулет снова поднял ее на плечи и понес дальше.

Потом Гюльнар впала в бессознательное состояние. Сколько времени продолжалось такое состояние, она не знала. Пришла она в себя от участливого вопроса Даулета:

— Как твоя нога?

Нога ее пылала огнем, огонь пробирался все выше и выше, Гюльнар страшно страдала от боли и потери крови, но она набралась мужества и, не желая тревожить Даулета, ответила:

— Ничего, ничего. Кажется, легче.

Прошло уже несколько часов, заалел восток, а Даулет все шел и шел. И вдруг он увидел высокий островок, несколько деревьев на нем. Это обрадовало его, и он ускорил шаг.

Добравшись до прогалины, он осторожно снял со спины Гюльнар, положил её у дерева и сам повалился рядом.

— Пить! — попросила через некоторое время Гюльнар.

Он взялся было за фляжку, но вспомнил, что в ней спирт. Отошел и стал сгребать горстями снег. Гюльнар с жадностью глотала его, а он смотрел на нее и мучился. Лицо ее почернело, губы были искусаны, глаза ввалились. Она не стонала, но взгляд, которым она посмотрела на Даулета, был страшнее всего.

Потом она поднесла руку к горлу и тихо добавила.

— Тошнит... Начинается гангренозный процесс.

Он ничего не ответил, только мягко и нежно поднял ее голову и положил к себе на колени. Гюльнар сразу затихла, но дышала она все глубже, все порывистее, все тяжелее.

Поднялся ветер, и пошел не снег, а мелкая, противная крупа. Даулету стало нестерпимо видеть, как эта изморозь ложится и тает на лице Гюльнар. Он осторожно прикрыл ее лицо полой своей шинели.

Прошло много времени, прежде чем Гюльнар подняла голову.

— Ой, — вскрикнула она, — что же это такое?

Глаза были открыты, но смотрели куда-то мимо Даулета. Он схватил ее за руку. Рука пылала.

— Даукеш! — Он наклонился. — Уже утро?

Он кивнул головой.

— Ничего, ничего, Даукеш,— сказала Гюльнар.— Знаешь, когда меня маленькую лихорадило, мать говорила мне под утро: «Ничего, доченька. Спи, теперь уже спи. Хвороба ходит только ночью, а днем она спит. И ты спи спокойненько». Вот сейчас и моя хвороба задремала, мне стало легче. Скажи, я ясно говорю? Не путаюсь?

— Нет, — ответил Даулет.

— Подними меня! — попросила она.

Даулет осторожно поднял ее и посадил, прислонив к стволу дерева. Морщась от боли, она наклонилась над коленом.

— Хочу посмотреть, что с ногой.

Они стали стаскивать валенок. Опухоль уже распространилась до самого бедра, и валенок не снимался.

— Да, — сказала она, наконец, — плохое мое дело.

Если бы был здесь хирург, конечно, обошлось бы, а сейчас... — она посмотрела на Даулета.

Даулет молчал.

— Вот ведь, что значит человек. Ночью мне так хотелось умереть, а сейчас, когда солнышко взошло, так хочется жить...

Гюльнар закрыла глаза. Через минуту — другую она снова позвала его и стала говорить медленно, с большими перерывами, но попрежнему очень ясно.

— Ты помнишь, как в прошлом году на строительстве одну молодую женщину змея укусила в большой палец ноги. Она сначала перевязала ногу выше колена волосяной веревкой, а потом отрубила полступни топором. Помнишь? Мы еще восхищались ее выдержкой... Так вот, если я не отрежу эту ногу, меня ничто не спасет.

— Как же это ты сделаешь, коли ты и головы поднять не можешь? — спросил Даулет.

— Не я, не я, — прошептала Гюльнар. — Не я, а ты! Понимаешь? Вон уже поползли красные пятна. Это гангрена. Скорее, скорее надо! — ее голос дрожал.

Даулет молчал.

— Если все сделать, как следует, то может и сойдет. Бинт и вата у меня в сумке, ланцет и иодоформ там же. Спирту вот только нет.

Даулет все молчал.

— Ты меня всю ночь нес на плечах и унес от верной смерти. Так докажи свою дружбу еще раз!

— Хорошо, — сказал Даулет твердо. — Да, будет так! Пойду вымою снегом руки, а потом...

И он пошел в лес.

Вернулся он через час и не один, а с целым отрядом. Рядом с ним шел маленький бородатый человек о очках. В одной руке его была металлическая коробка, в которой держат бинты, в другой — кожаный футляр с хирургическими инструментами.

— Привел к тебе врача, — весело сказал Даулет. — Верно говорят, что на ловца и зверь бежит. Видишь, встретился в камышах с нашими людьми. Тоже отстали от части.

Хирург встал на колени около Гюльнар, бегло ощупал и осмотрел ее ногу и потребовал перенести раненую на открытую поляну.

— Операция будет тяжелая, — сказал он, — поэтому прошу, товарищи, удалиться. Здесь никого, кроме меня и моего фельдшера, не должно быть. Товарищ лейтенант, это прежде всего относится к вам.

Даулет ушел и до вечера проходил по кустарникам и снежным полянам. Когда он думал об окровавленной ноге Гюльнар и о том, что делает теперь с ней этот маленький бородатый человек в очках, ему становилось так тоскливо, что хотелось умереть.

Вернулся он уже под вечер. Врач в одной ватной куртке сидел около костра. Даулет сел с ним рядом.

Врач покосился, но ничего не сказал.

— Ну, как? — спросил Даулет тихо.

— Все хорошо, — ответил врач. Я ампутировал ногу ниже колена. С протезом будет даже незаметно.

— Но боль-то, боль как она выдержала?

— Я напоил ее спиртом, — сказал врач, — до потери сознания напоил. Она даже и не шелохнулась. Вы можете теперь посмотреть ее.

Гюльнар, закутанная в шубы, прямая, неподвижная, лежала под навесом ели. Около нее прямо на снегу сидел фельдшер.

— Гюльнар, — тихо позвал ее Даулет.

Она открыла глаза, и тут же закрыла их, ничего не ответив.

— Не трогайте ее! — сказал врач Даулету.

Весь вечер и половину ночи Гюльнар находилась в тяжелом состоянии. Врач не отлучался от нее, но Даулету присутствовать не разрешал. Только утром он сказал.

— Пульс слабый, но удовлетворительный, теперь все пойдет на поправку.

В полдень Даулет пошел с двумя бойцами осмотреть окрестность. Вернулся он только вечером и сообщил: находимся где-то в районе озера Ильмень. Недалеко отсюда много сухих камышей. Там нас ни одна живая душа не отыщет, разве только с самолета увидят. Впрочем, нет, в этих зарослях и с самолета ничего не увидишь.

Вечером Гюльнар впервые скушала кусочек консервированного мяса, плитку шоколада и уснула тихо, спокойно.

Утром Даулет отправился опять на разведки, а в полдень привел с собой еще с десяток красноармейцев, тоже отставших от своих частей. Был тут и радист с рацией.

В тот же день красноармейцы сделали носилки и понесли Гюльнар дальше, в глубь зарослей. Они пробрались к дельте реки Ловать, в то место, где вливается она в Ильмень, и здесь укрылись на полуострове.

Число бойцов увеличивалось с каждым днем и часом. К концу недели их уже стало более ста человек. Снеслись с Большой землей. Командование обещало прислать самолет за ранеными. Группе же Даулета приказано было примкнуть к партизанскому отряду, находившемуся в окрестностях озера. Командиром группировки командование назначило Даулета.

В точно обусловленное время ночью самолет сел на лед, выгрузил продукты, захватил Гюльнар, снялся и улетел на Большую землю.

На этом же самолете Даулет отправил и то письмо Айбарше, над которым так долго думала она в Кзыл-Орде.

Партизанский отряд Даулета контролировал железнодорожный путь между Псковом и Старой Руссой. Он спускал с насыпи вагоны, поджигал баки с горючим, уничтожал обозы и живую силу немцев. За отрядом охотились долго и безуспешно. Когда отряду угрожало окружение, партизаны уходили в топи.

Однажды, попав в окружение, партизаны понесли большие потери. Из окружения удалось вырваться только половине бойцов. Был серьезно ранен и Даулет. Рана вскоре осложнилась.

Вот тогда-то его и доставили на самолете в Кинешмский госпиталь.

Через некоторое время Даулет получил два письма. Одно письмо было в конверте, другое сложено треугольником.

Даулет вскрыл первый конверт и на кровать выпала целая связка листков, прошитых суровой ниткой. Он перелистал их и, ничего не поняв, взялся за письмо. Оно было написано незнакомым почерком.

«Дорогой Даулет! — читал он. — Эти строки пишет

тебе твой доброжелатель. Не удивляйся. Что в том, что ты не знаешь меня лично? Сейчас мы все связаны друг с другом кровными узами. Дорогой мой, ты воюешь, а у нас творятся нехорошие дела. Прочти эти бумажки и ты поймешь все. Поверь, что и мне нелегко пересылать эту мерзость. Я ведь знаю, какие чувства они у тебя вызовут. Но что делать? Шила в мешке не утаишь. Может быть, не все еще пропало. Подумай, пораскинь умом. Имя свое я назову тебе, когда увидимся, после твоего возвращения.

Желаю тебе всего доброго!

Твой неизвестный, но любящий друг».

Что такое? — подумал Даулет. — О чем это он?

Он снова взял кипу исписанных бумажек. Это были письма и записки. Целая переписка Байжана и Айбарши, Калакая и Айбарши. Даулет прочел до конца всю связку и кинул ее прочь. Сомневаться не приходилось: он знал их почерки. Ему стало так тяжело, что он не выдержал и лег, закрыв глаза. Так он пролежал неподвижно с десяток минут. Потом вскочил, схватил письмо Айбарши с намерением разорвать его. Но разум победил гнев Даулета. Он развернул треугольник и начал читать.

Письмо было любящее, ясное и хорошее. Айбарша писала много о своей любви, потом еще больше о строительстве, меньше о разных мелких и больших домашних делах. Считая его в окружении, тревожилась за него, но желая его успокоить, вдохновить и развеселить, она писала ему шутливым, ласково ободряющим тоном. Она много писала о работе в тылу, о помощи армии. Если бы не было того другого письма, Даулет мог бы чувствовать себя сегодня особенно счастливым. Но как быть с тем, вторым письмом? Он сел и обхватил голову руками. Ему казалось, что если он не сдавит голову руками, его череп лопнет. Он ничего не понимал. «Что же это такое? Как же это так?» — думал он. Ведь он не мог знать, что все это было подлогом, совершенным рукою Обгорелого.

Перебирая в памяти прошлое, Даулет вспомнил Рахмета, и решение созрело мгновенно. Да, он напишет письмо Рахмету, приложит к нему все содержимое первого конверта и вместе с конвертом пошлет в Алмалык. Пусть Рахмет разбирается во всем.

Так он и сделал.

Глава двадцать вторая

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

ЦЕЛАЯ груда писем скопилась на столе Рахмета за трехмесячное его отсутствие. Были здесь и депеши и письма фронтовые. Первым из них Рахмет вскрыл сегодня пузатый конверт со штампом города Кинешмы. Оттуда выпорхнул листок почтовой бумаги и небольшая связка записок. Рахмет прочел письмо, взялся за кипу записок и их прочел. Потом выругался, положил все на стол, да и застыл так.

Таким и застала секретаря его помощница. Увидев, какое у него лицо, она тихо, на цыпочках, вышла из кабинета. Навстречу ей поднялся Сырбай.

— Ну, что, дочка, — весело спросил он. — Можно?

Она ничего не ответила, и Сырбай снова опустился на диван. Он знал: раз занят, надо подождать.

Он подождал еще с час, но помощница секретаря сидела за своим столиком, перебирала бумаги, выходила и снова входила, а его все не принимали.

— Милая моя, — обратился к ней Сырбай.— Ты ему как сказала? Ты сказала кто пришел?

— Сейчас, сейчас, отец, — ответила девушка. Она встала и вошла в кабинет.

Рахмет ходил по комнате тяжелыми, большими шагами.

— Что такое? — спросил он недовольно. — Нет, нет, никого! Очень занят, — и опять зашагал.

Девушка постояла, посмотрела на него. Уж если он никого и так долго не принимает, — подумала она, — значит, случилось что-то очень серьезное. Она знала — рассердить Рахмета нелегко. Но уж если он рассердится, — тогда держись. Час будет шагать по кабинету и никого не примет. Она вышла в приемную, увидела Сырбая и хотела сказать ему, что секретарь не принимает, но у старика было такое лицо, что она немедленно вернулась в кабинет.

— Да что такое? — спросил резко Рахмет. — Что с вами творится? Я же сказал, что никого не принимаю. Кто там?

— К вам отец Даулета, — сказала девушка. — Уже часа два сидит.

Лицо Рахмета сразу просветлело.

— А, Сырбай! Пусть, пусть войдет! — сказал он. — Надо было сразу сказать. — Рахмет подошел к столу, взял какие-то бумаги и спрятал их в ящик стола. — Пусть войдет, — добавил он и пошел навстречу Сырбаю.

Они поздоровались, Сырбай сунул Рахмету сразу обе руки.

Рахмет пожал их, обнял старика за плечи и осторожно повел его к столу.

— Да, сынок! — сказал Сырбай. — Хороший ты у меня. Ничего не скажешь, хороший, ласковый! И тебя я почти так же люблю, как своего сына.

Он взял его обеими руками за голову, обнял и дотронулся губами до его щек. Руки у старика были сильные, крепкие, но дышал он тяжело, с хрипом.

Знает он или нет? — тревожно подумал Рахмет. Если не знает, то нечего и говорить ему. И спросил:

— Даулет часто пишет?

— Вчера получил письмо. Пишет — жив, здоров.

— Отлично, — обрадовался Рахмет.

— Пишет, что ранен, но легко, и сейчас уже поправляется. Так ли, не так ли, не знаю. И верить хочется и не верится что-то. Сколько раз ранен и все легко. Огорчать, наверное, не хочет.

Нет, он не знает, ничего он не знает, — быстро решил Рахмет и спросил опять:

— А Айбарша как? Работает, заботится о вас?

— Спасибо, сынок. Она девушка хорошая.

— Вы довольны ею?

— А как же? Девушка смирная и уважительная.

— А Даулет часто ей пишет? — спросил Рахмет.

— Раньше каждый день писал, а теперь реже.

— Что так? — удивился Рахмет.

— Я сам удивляюсь. Иногда думаю, не написал ли кто ему что-нибудь нехорошее про нее.

— А разве замечается за ней что?

— Нет, не хочу врать. До сих пор ничего не замечал, — ответил Сырбай, смотря на секретаря с некоторым удивлением. — Она девушка не плохая. Да ведь и то сказать, — это мне так кажется, что не плохая, а как

уследишь? Знаешь, раньше говорили: «Сын дома сидит, а судьба его по полям бежит», или: «Дочка за замками, а славушка за горами», а раньше говаривали и так: «Сорок дворов подряд за нашей девкой следят». А теперь кому больно это нужно — следить-то. Ничего не поделаешь! Приходится на бога надеяться да на совесть. Не так ли, сынок?

— Так, так, Сыр-аке,— сказал Рахмет и, чтобы перевести разговор на другое, спросил:

— Ну, а как звено?

— Спасибо, сынок. Помогли собрать добрые люди. Знаешь, как говорят: «Под старость кляча иная скачет, лета забывая». Что ж, сын уехал воевать, а я остался за него работать. Я бы и не то сделал, да силы не прежние.

— Молодец вы, аксакал! Очень мы вами довольны. Слышал я про то, что вам устроил этот подлец Масакпай...

— Ну, ну, — заторопился старик, — что там говорить. Все кончено, только он и пострадал. У него же маленькие дети — вот что жаль...

— Что жаль, того что его послали на фронт как штрафника? Ну, что ж, что хотел, то и получил. Он и обижается не на тебя, а на Калакая.

— Да, да, ведь вы встречали его! — вспомнил Сырбай. — Что ж он говорит?

— Плохой, говорит, человек Калакай, подлый, двуличный. Не знаю — правда ли, нет ли. Как по-вашему?

Сырбай пожал плечами.

— Кто ж его знает—чужая душа—потемки. Мне, например, он большую помощь оказал. Я от него ни в чем отказа не знал. — Старик посидел, подумал. — Нет, нет, врет Масакпай. Они были раньше друзьями, да поссорились. Вот он и плетет на него невесть что. Калакай правильный человек.

— Ах, вот что! — кивнул головой Рахмет. — Ну, тогда, конечно.

Рахмет вспомнил слова Масакпая: «Эта подлая девка Айбарша так вскружила голову старику, что он никакие ее шашни не видит. А ведь она самая что ни на есть первая шлюха... Вот сдружилась с Натальей, а та с Калакаем и днюет и ночует. Значит, обе одного поля ягодки».

— Кстати, как подруга вашей невестки Наталья? — спросил он Сырбая.

— Ах, Нарбата, Нарбата...— заулыбался Сырбай.— Ну, что ж, она тоже хорошая девушка: эдакая почтительная, ласковая, умная. Подруги с моей невесткой они такие, что их и водой не разольешь. А я рад! Все повеселее ей бедной. Насчет же работы я тебе вот что скажу...

И только что Сырбай начал ему говорить о работе бригады, как снова вошла секретарша.

— К вам Байжан, — сказала она. — Можно ему войти?

— Нет, нет, пусть обождет! — торопливо крикнул Рахмет и лицо его сразу изменилось. Сырбай заметил это, встал и начал прощаться. Рахмет его не задерживал.

— Мы еще с вами увидимся, — сказал он. — Вы ведь, наверное, у нас остановитесь? Ну, и отлично. До свидания аксакал.

Сырбай вышел и в приемной встретил Байжана. Тот пожал ему руку, улыбнулся. Но Сырбая провести было нелегко.

— Что такое, дорогой мой? — спросил он, тревожно смотря на него. — Случилось что?

— Да нет, ничего. Вот с женой плохо, кажется, без ноги останется.

— Вот как, — сразу опечалился Сырбай. — Ну, ничего, только бы жива осталась. Теперь такое время — пришел человек с головой, значит, считай — легко отделался. А Анатолий знает?

— Нет, я ничего пока не сказал ему.

— Ну и молчи! Там видно будет как и что, а пока молчи, слышишь?

— Слышу, аксакал.

За их спиной скрипнула дверь. Они обернулись и увидели Рахмета. Он стоял и смотрел на них.

— Пожалуйста, товарищ Бекбосынов, я ведь жду,— сказал он очень холодно.

Что с ним сталось? — удивленно подумал Байжан. Всегда такой приветливый, ласковый и вдруг такая встреча. Он обернулся к Сырбаю, чтобы попрощаться.

— Иди, иди, сынок, — заторопился Сырбай. — Буду ждать вас с Рахметом у себя. Моей старухе уже не терпится постряпать.

Байжан вошел в кабинет. Рахмет уже сидел за столом. На приветствие Байжана он едва ответил. Вот как, подумал Байжан. Ну и пес с тобой, мне-то наплевать.

Лицо его сразу сделалось холодным и безразличным. Он шел к Рахмету, чтобы показать письмо Гюльнар, посоветоваться с ним, а раз так... Хорошо! и он может быть официальным.

—Так, так, — сказал Рахмет, присматриваясь к нему.

— Да, уж так, — ответил ему Байжан.

Снова молча сидели, глядя друг на друга. Рахмет молчал, и Байжан его ни о чем не спрашивал:

— Ну, как работаете? — спросил Рахмет.

— Помаленьку, — ответил Байжан.

— Плохо, значит?

— Нет, зачем же плохо? В военное время плохо работать не полагается.

— Да нет, кое-кому полагается. Это военное время многие используют для разных делишек.

— Каких же это делишек? — спросил Байжан.

— Темных, конечно. Ты как с девушками работаешь?

— Я со всеми работаю, — резко оборвал его Байжан. — И с девушками и со старухами.

— Та-ак! — многозначительно протянул Рахмет и вдруг сразу спросил. От Гюльнар письма получаешь? Жива, здорова?

— Пока что жива, — ответил Байжан.

— А Даулет?

— Ну, об этом нужно у аксакала спросить. Я Даулету ни сват, ни брат.

— Почему же только аксакала? Можно и Айбаршу спросить. Она ведь его невестой когда-то была.

«Была», — отметил про себя Байжан и сказал:

— Так ведь я ж и не Айбарша.

— Как же так. Работаете вместе, живете...

— Вот что, Рахмет-агай, — прервал его Байжан. — Что случилось? Что это вы разговариваете какими-то намеками, обиняками, щуритесь, закусываете губу, улыбаетесь. Вот об Айбарше зачем-то речь повели. Что случилось? Ведь как-никак, я к вам не в гости пришел. Коли

вы секретарь райкома, так ведь и я член партии. Мы в вашем служебном кабинете. Давайте же говорить без загадок, по-большевистски.

— По-большевистски? — пристально посмотрел на него Рахмет. — Хорошо! — он достал письма и бросил их на стол.

То были клочки разных размеров и форм. Был тут листок из записной книжки, был кусок папиросной коробки, была чайная обертка, затем клочок ученической тетради, обложка задачника, — всех клочков было штук двадцать.

Рахмет взял одну из записок и, показывая Байжану, спросил:

— Ты писал?

Байжан прочел: «Айбарша, жду тебя сегодня вечером. Нужно серьезно поговорить о многом. Байжан».

Он бросил записку на стол и пожал плечами. Действительно, мало ли он и таких и других подобных записок написал Айбарше за годы совместной работы.

— Ну и что же? — спросил он Рахмета.

— Так это ты писал?

— Ну, писал, — вызывающе ответил Байжан.

— Подлец! — крикнул Рахмет и ударил кулаком по столу.

— Что? — вскочил с места Байжан.

— Подлец! — повторил Рахмет.

Не помня себя, Байжан подскочил к нему и схватил его за плечо.

— Пусти, — крикнул Рахмет голосом сиплым от ярости и занес кулак.

Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не телефон. Рахмет резко отошел от Байжана, снял трубку и некоторое время подержал ее в руках, прежде чем поднести к уху. Звонили отрывисто и часто. Пересилив себя и справившись, наконец, со своим дыханием, Рахмет поднес трубку к уху:

— Слушаю.

— Говорит Калакай! — поспешно крикнула телефонная трубка.

Рахмет выругался, с размаху бросил трубку на вилку, но через десяток секунд звонок заверещал снова.

— Что тебе нужно? — грубо спросил Рахмет.

— Нас прервали, — заторопился Қалакай. — Рахмет-ағай, я приготовил все требуемые материалы и сейчас...

— После, после, не до тебя тут, — досадливо сказал Рахмет и повесил трубку.

Он отошел от телефона и сел не на прежнее место, а в самом углу комнаты.

С минуту опять молчали.

— Рахмет-агай, — сказал, наконец, Байжан, с трудом справляясь со своим голосом. — Бог его знает, в чем вы меня подозреваете, но, очевидно, в какой-то грязи. Скажите, с каких пор вы перестали верить в мою честность?

— Вот что, браток, — зло ответил Рахмет, чеканя каждое слово. — «Пестрый скот шкурой пег, а человек иногда изнутри пег».

— Неладно ты себя ведешь,—ответил Байжан после долгого молчания. — Если бы не этот звонок, бог знает, чем бы все это кончилось. Ладно. Больше я из себя не выйду. Но объясниться мы должны. Что это у вас за бумаги? Вы мне дали одну записочку, а у вас их целая кипа. Что это такое? — Он протянул руку, но Рахмет отвел ее.

— Так в чем же тогда дело? — спросил Байжан. — И обвинять не обвиняете и нормально со мной говорить не хотите.

Рахмет поднял письмо Даулета и через стол бросил его Байжану.

— Читай.

Байжан прочел письмо и руки у него опустились.

— Но ведь это же ложь! Клевета! — крикнул он. — Неужели вы не понимаете этого?

— А почерк чей? Твой почерк? Твой! Вернее — ваш почерк. Ведь вдвоем писали — ты и Айбарша. Свой почерк ты уже признал, а ну-ка теперь посмотри: Айбарша писала эту записку или нет?

— Да, похоже, — сказал Байжан. — Ничего не понимая, он с изумлением посмотрел на Рахмета. — И кто этим занимается?

Рахмет взял письма и положил их в ящик стола.

— Ладно! Партийный комитет разберет — кто. Там будет видно, кто прав, кто виноват.

Байжану вдруг пришел в голову случай, который ему

рассказал один из его товарищей. Разговор тогда шел о шайке фальшивомонетчиков. Один из членов этой шайки специализировался на подделке казначейских подписей, скрепляющих ассигнации. Причем, подделывал он их так искусно, что самая опытная экспертиза не могла придраться. А ведь почерки на ассигнациях были разные — и простые, и заковыристые, со множеством узлов, петель и закорючек. Его же почерк, как и почерк Айбарши, был очень прост и понятен.

Байжан сказал об этом Рахмету. Тот промолчал.

— Ну, что ж, — сказал Байжан, — кончим на этом. Пусть партийная организация разбирает, как и что. Но вам самим станет стыдно.

— А на кого ты думаешь? Кто мог это сделать, если не ты? — вдруг спросил Рахмет.

Байжан посмотрел на него, вспоминая что-то, и вдруг сказал:

— Вот увидите, все это прошло через руки Масакпая.

— С ума ты сошел,— махнул рукой Рахмет, но тут же подумал: Ну, а почему бы и нет?

Он подошел к столу, выдвинул ящик, достал связку записок и молча сунул их Байжану.

Байжан прочитал их и встал.

— Ну, хорошо, — сказал он.—Значит, по-вашему, я захотел разорвать все отношения с Гюльнар. Какое, однако, основание вы имеете думать обо мне так? Нет, нет! Это не просто подлог, это шантаж, и очень злобный шантаж.

— Твоими бы устами, да мед пить,— сказал Рахмет, которому уже стало казаться, что может быть он слишком поспешил с выводами.— Был ты хороший человек, а вот пришла война и видишь...

— Не говори — война. Война только врагов разъединяет, а друзей она сплачивает, объединяет. Как же в эти дни, когда я здесь, а жена моя, может, умирает от ампутации ноги, я буду заводить какие-то интрижки. Вот, посмотри!— и он подал ему письмо Гюльнар.

Гюльнар описывала встречу с Даулетом, потом все, что произошло с ними в лесах и болотах. Сообщала, что сейчас она находится в городе Иошкар-Ола, что теперь ей несравненно лучше.

Конец письма был такой: «Я не могу тебе сейчас объяснить всего, ибо есть много такого, чего ты не поймешь из письма, но поверь мне — жизнью я обязана нашему другу. Ты и не представляешь себе, что это за человек. Не дай бог, если он погибнет. Я бы свою кровь отдала за него. Нет на свете ни справедливости, ни правды, если он не будет жить. Но так как она все-таки есть и я верю в нее, то он будет жив, хотя бы для того, чтобы увидеть свою любимую Айбаршу, точно так же, как и я увижу тебя. Поверь мне: Даулет самый стоящий из всех, кого я когда-либо встречала. А в последнее время я видала очень много хороших людей. Прости, что не могу написать больше».

Рахмет кончил читать письмо и положил его на стол.

— Да!— сказал он,— они настоящие люди. Настоящие — советские люди.

Байжан посмотрел на него.

— Да не будет сочтено за нескромность, но я тоже себя считаю настоящим человеком. Да, настоящим, советским. Видите, я пришел к вам излить свое горе, а вы меня встретили чуть ли не в кулаки. Спасибо, телефон зазвонил, а то как бы мы сейчас смотрели друг на друга.

— Ну, хорошо,— сказал Рахмет, снова пряча письма в ящик стола.— Да будет так. Что бы там ни было, а негодяя мы найдем!— Он вдруг стукнул линейкой по столу.— И как пропустила цензура такую мерзость! Нашли чем порадовать фронтовика! — крикнул он с горечью.— Хорошо, обещаю тебе: если это провокация, то провокатор не возрадуется.

Они разошлись.

Вечером, вместо того, чтобы лечь спать, Рахмет возвратился в райком и вызвал к себе Калакая.

Когда-то давно он прочел в журнале «Советская юстиция» о том, как было открыто одно преступление. Муж задушил жену и труп ее бросил в реку. Неопытный преступник не заметил, однако, что во время борьбы с жертвой он оставил в своем доме важнейшую улику — женский туфель. Другой такой же остался на ноге трупа. Этот потерянный туфель и нашли в квартире убийцы во время обыска. Следователь незаметно спрятал туфель в

карман, а потом, во время допроса убийцы, положил эту страшную улику на стол и так точно объяснил убийце все — как тот убивал свою жену, как один туфель спал с ноги убитой, а другой остался на ноге и был обнаружен вместе с трупом,— что хотя труп на самом деле еще не был найден, убийца сознался во всем.

Рахмет решил действовать так же. Он взял все письма, стопочкой сложил их на столе. На самом же видном месте оставил письмо Калакая.

Разговор начался с отгона скота, потом перекинулся к ветеринарии... и прочим не столь интересным для нас делам.

Калакай сидел в кресле, на вопросы отвечал резонно и вдумчиво, смотрел Рахмету прямо в глаза и хотя, конечно, видел письма, но никакого внимания на них не обращал.

Наконец, Рахмета взорвало.

— Ну, ладно,— сказал он вдруг.— Теперь вот что: до сих пор я считал тебя человеком честным, правильным. Но ты... — он остановился.

— Ну, ну,— сказал Калакай,— но я...

— Но ты, кажется, не такой! Что у тебя происходит с Айбаршой?

— Ровно ничего!

— Как ничего?— стукнул кулаком Рахмет.. А я вот знаю, что за ней ты увивался, а потом, когда получил отпор, стал ей гадить. Так, что ли?

— Странное вы говорите,— развел руками Калакай.— Мало ли что было до войны. Многие тогда с жира бесились. До того ли сейчас? Ну, ухаживал! Ну, получил отпор. Ладно, пусть будет это все по-вашему, но ведь не нагадил. А как я работаю, это вы сами видите.

— А Полещук,— настойчиво спросил Рахмет, не желая сдавать своих позиций.— Что с ней у тебя?

— А с Полещук я просто в хороших отношениях.

— Значит женишься?

— Нет.

— Этого я не понимаю. Хорошие отношения и не женишься на ней?

— А что, нельзя разве?— с любопытством спросил Калакай.

Они помолчали.

Калакай, не спеша, вытащил из кармана портсигар, вынул своими длинными красивыми пальцами папиросу, закурил ее и сказал с легким вздохом:

— Женюсь, конечно. Что уж тут вертеться. Коли не хочет за меня выходить та, которую я люблю, женюсь на той, которая любит меня.

— Милый, откуда такая жертвенность, такое благородство! Откуда у тебя это?— иронически развел руками Рахмет.— Ладно ты поешь, но вот сядешь-то где?

Калакай вспыхнул.

— Слушайте, что это за разговор?— спросил он запальчиво.— На что вы намекаете. Я ничего не понимаю.

— Не понимаешь? Ладно, сейчас поймешь. Ты говоришь, что у тебя ничего нет с Айбаршой. Ну, хорошо, а что это за письмо?— Он схватил конверт и потряс им. — Что это за любовное письмо? — крикнул он бешенно.

— Никаких писем я ей не писал — ни любовных ни простых,— ответил Калакай.

— Твой почерк?—спросил Рахмет.—Ну, говори, твой! — И он резко бросил письмо на стол.

Калакай взял письмо и начал читать. Письмо было дурацкое.

Тот, кто подписался Калакаем, многословно и неумно поздравлял Айбаршу с гибелью ее жениха. «Теперь нам ничто не помешает,— писал этот неизвестный Калакаю человек,— любить друг друга — помни твоего Калакая».

Калакай вдруг схватил письмо, скомкал его вчетверо, стал рвать на мелкие клочки и метать их по комнате.

Рахмет бросился к нему и схватил его за руки, но уже было поздно.

— Так вот оно в чем дело,— сказал Рахмет.— Вот и каркнула ворона во все воронье горло. Значит, уничтожил улику и думаешь все? Оправдался?

Калакай вдруг остолбенело остановился. Потом поднес руки к пылающему лицу, постоял так секунду и вдруг опрометью бросился из двери.

— Стой!— взревел ему вслед Рахмет.— Слышишь, стой!

— Сволочи!— крикнул ему Калакай из коридора.— Ах вы сволочи!

Рахмет так и не понял, к кому относилось это слово.

Глава двадцать третья

ВСТРЕЧА В ГОСПИТАЛЕ

ГЮЛЬНАР смутно помнила, что везли ее сначала на самолете, потом в санитарном поезде. Очнулась же она только в Иошкар-Ола, в тыловом госпитале. Но у ней, наверно, был здоровый организм — через месяц она уже начала вставать и даже кое-как передвигаться на костылях по палате.

После вечернего отбоя, когда все спали, она тихонько вставала, накидывала серенький госпитальный халат, садилась на кровать и думала, думала, думала.

— Вот, — думала она,—ей 23 года. А спросите сейчас, стоят ли все эти лета хотя бы месяца, хотя бы недели военных ее переживаний.

Она смотрела в зеркало и качала головой. Раньше лицо ее было белым, ни единой морщинки ни на лбу, ни у глаз оно не имело. А теперь везде бегут тонкие морщинки, кожа огрубела, стала какой-то серой и неприятной. И разве это одно? Она стала седеть. Как ни следит она за собой, а каждый день прибавляются все новые и новые седые волосы. Сначала она еще пыталась бороться с ними, расплетала косу и выдергивала по волоску, но прошла неделя и у ней опустились руки. А ведь мать ее и в преклонные года имела волосы черные, как смоль, лицо молодое, белое, не тронутое морщинами. Гюльнар помнит, как она расчесывала волосы умирающей, плакала и думала: «Господи, да она ведь совсем молодая! Волосы, как черный блестящий шелк»:

Как-то, еще задолго до болезни матери, она спросила ее:

— Мама, что же ты не седеешь?

Мать усмехнулась и ответила:

— А вот уж к годам восьмидесяти совсем буду белой, дочка. Ведь и твоя бабушка поседела в эти годы.

Гюльнар помнит, как она тогда обрадовалась. Раз так, значит, и ей не седеть до 80 лет!

Но вот ей двадцать три года, а она белая... Да и как же было не поседеть? Она начинала вспоминать.

В ту ночь она стояла в салон-вагоне и из окна смот-

рела на окрестности. Ночь была хмурой и сырой. Шел мелкий косой дождик, черные лужи по краям насыпи блестели и морщились. Изредка видны были развалины, сожженные дома, вырубленные деревья.

Задача санитарного поезда, руководимого ею, была простой, но трудной: проникнуть как можно ближе к линии огня, собрать и вывезти раненых. Там же за Волгой стоял второй, уже хорошо оборудованный санитарный эшелон. Он и должен был принять от нее раненых и доставить их дальше в тыловые госпитали.

Когда ей в Санитарном управлении Армии объяснили, каким поездом она должна руководить, она сильно струсила. Первичная обработка раненых! Ведь она до сих пор только по учебникам и знала, как выглядят все эти ожоги, развороченные животы, с выползающими внутренностями, разбитые челюсти! Ей все еще никак не забыть первой операции, на которой она присутствовала. То был мужчина костлявый и худой, со впавшим желтым животом и резко очерченным позвоночником. Ходил он согнувшись — страдал какой-то застарелой и упорной болезнью почек. Через неделю после осмотра он уже лежал на операционном столе, и Гюльнар из-под белой марлевой чадры со страхом и любопытством наблюдала за быстрыми пальцами хирурга, что копались в раскрытой полости живота.

Много лет прошло с тех пор. И теперь, когда она подходила к больным, у ней уже не было ни страха, ни любопытства. Пальцы ее были тверды и умелы, движения быстры и несуетливы. Ее волновали сейчас только сложные комбинированные операции.

Эшелон завели и поставили в один из лесных разъездов. Еще вчера здесь был поселок, сегодня остались только кирпичные, кое-где курящиеся развалины. Ни человека, ни даже собаки на этом вымершем полустанке! К счастью, они здесь не задерживались. В перетаскивании раненых принимали участие все: санитары, железнодорожники, доктора. Носилок нехватало — таскали на плечах. Гюльнар сама работала вместе с другими. И к утру ноги ее гудели, как провода.

Она прошла несколько раз по вагону, совсем невпопад ответила на какой-то вопрос, подала какому-то легко раненному в ногу напиться, и вдруг сзади ее схватили за

халат. С койки приподнимался раненый грузин, огромного роста, с лицом, словно закопченным дымом, с обгоревшими кустиками волос и красивыми, с матовой поволокой, большими глазами. Сейчас они были до ужаса широко открыты и устремлены на нее — этого исполина она сама тащила в вагон.

Грузин мял ее руку и что-то быстро и невнятно говорил. Пересиливая себя, она ласково наклонилась над ним и слегка дотронулась до его лба. Тогда он вдруг заговорил так же быстро, но уже почти внятно:

— Сильная, сильная! Какая же ты сильная! Помнишь, на спине ты меня тащила. Не тяжело тебе разве было? А ты знаешь, сколько я весил?

Гюльнар тогда же обратила внимание: он сказал «сколько я весил», а не «сколько я вешу». Он говорил о себе как бы уже в прошлом. Ей и самой это хотелось знать, но как задать такой вопрос человеку, у которого обе ноги оторваны выше колен?

Маленький живой и веселый татарин, с тяжелым ранением предплечья быстро помог ей в этом.

— Он очень здоровый, в нем 100 килограммов, мы с ним в одном полку были...

Когда поезд тронулся в обратный путь, она ушла в свое купе и рухнула на диван. Ей захотелось побыть одной — она боялась, что вдруг расплачется на глазах у раненых. А этого она боялась больше всего. Им и без этого очень и очень тяжело.

Взять хотя бы того же грузина. Ему всего 32 года. До войны он был агрономом в каком-то совхозе. Еще день тому назад был сильным, здоровым. И вот::: Теперь без ног. Он может не осознал еще всех последствий этого, но что будет завтра, через два — три дня?

Грузину действительно становилось все хуже. Первые три дня он молча лежал на койке, прикрыв лиловатыми веками свои большие матовые глаза, а потом стал бредить. Он поднимался на койке, кричал, подавал команду. Двум дюжим санитарам было не под силу справиться с ним. Однажды он пришел в себя, немного полежал молча, потом дотянулся рукой до того места, где должны быть его ноги, пощупал одеяло и, поняв все, рванул зубами наволочку.

Гюльнар была рядом. Она подошла и слегка тронула его за плечо.

Не поднимаясь, он только головой покачал. Через час у него снова начался бред.

В другом конце вагона лежал мордвин, еще совсем молодой. Снарядом оторвало у него кисть правой руки. Был он спокойным больным, и Гюльнар никогда не задерживалась около его кровати. Но однажды он попросил у ней морфия.

— И побольше, побольше,— прибавил он настойчиво.

Она сперва не поняла — морфий ему не был прописан, спал он спокойно и на боли не жаловался. Тогда он вдруг неловко и сконфуженно сказал:

— Чтоб уж все кончить разом — и вам и мне хлопот меньше.

Гюльнар хотела возразить ему, выругать за малодушие, прикрикнуть, наконец, на него, но он так выразительно глядел на нее, что она почувствовала весь ужас и бесполезность этого разговора именно сейчас. Через день — другой все будет иначе.

Девушка, учившаяся на последнем курсе Московской консерватории, по классу фортепиано. На фронт пошла добровольно. Теперь лежит неподвижно и даже не стонет: не одна, а обе руки оторваны у нее.

Вот летчик — у него обожжено все лицо. Во время воздушного боя загорелся бак с бензином. Каким-то чудом ему, уже пылающему, как факел, удалось посадить машину на свою территорию. Теперь только два места и живут в нем — глаза и губы.

Во время второго рейса Гюльнар была еще молодой, а во время третьего — под ее глазами залучились морщинки и появились седые волосы. На обратном пути одна из сестёр взяла ее ласково за руку и тихо сказала:

— Ведь вы сейчас упадете. Давайте посидим хоть немного.

Гюльнар опустилась около нее. Сестра сидела, поглаживала ее волосы и о чем-то думала. Потом осторожно спросила:

— А сколько вам лет?

— Двадцать четыре,— ответила Гюльнар.

Девушка широко открыла глаза, раскрыла было рот,

но так ничего и не сказала. Так они молча сидели около друг друга.

— У вас же седые волосы,— вдруг сказала девушка тихо и осторожно дотронулась пальцами до ее виска.

После шестого рейса Гюльнар дали отдохнуть. Отвели отдельный номер в маленькой гостинице и заставили выспаться. Первые сутки она пролежала неподвижно на кровати. Засыпая, видела раненых, слышала их стоны, припадала к мокрой земле, а над ней остро звенели вражеские самолеты. Она просыпалась, а противный визг все еще стоял в ушах.

К концу недели она начала читать газеты. А в конце следующей недели вынужденное безделье стало ей вдруг ненавистнее и тягостнее, чем работа под огнем. Тишина, безделье и неживое спокойствие гостиницы угнетали ее. Она была рада, когда ее вызвали в Санитарное управление и отправили в рейс.

С тех пор она работала не покидая свой поезд, работала, пока не встретилась с Даулетом, пока не попала в госпиталь.

Находясь в госпитале, Гюльнар часто сравнивала обстановку в больницах мирного времени и в военных госпиталях. Там люди разные и случайные; выздоровев, не оставляли большой памяти. Здесь иное положение. Здесь выздоровление каждого отмечалось, как большое событие, которому все радовались. Здесь возникала крепкая, навсегда запоминающаяся дружба.

Не был похожим и обслуживающий персонал. В больницах и клиниках были случаи довольно крупных столкновений: больные жаловались на сиделок, сиделки писали рапорта на больных. Здесь же об этом даже странно было подумать.

Медсестры отдавали больным все лучшее, что у них было: жалость, любовь, все свое время, все свои силы. Они не знали ни сна, ни покоя, и раненые отвечали им горячей благодарностью. Иного врача в палатах побаивались, он бывал занят, мог резко ответить и даже прикрикнуть, но сестры... Для каждого больного у них свое доброе слово, свой привет.

И еще одно заметила Гюльнар: больные в госпиталях жили повышенной интеллектуальной жизнью. Вдохновенные импровизации следовали одна за другой. У каждого

был свой жанр. Были солидные прозаики. Они рассказывали о своей жизни медлительно, солидно, взвешивая каждое слово, чтобы не сказать лишнее. Были легкомысленные поэты — звонкие и не особенно дорожащие конкретностью, как, наверно, и большинство лириков мира. У них, наверное, каждое третье слово было вымыслом, в который они сами больше верили, чем слушатели. Были сатирики, и о ень злые даже, так и брызжущие ядом. Были и мягкие юмористы. Около их кроватей всегда сидело по несколько человек, весело хохотавших.

Вот записать бы их рассказы, — думала Гюльнар, — и роман готов.

Самым почетным и желанным слушателем всех этих романов и поэм были сестры. Раненый раненому не всегда поверит и не всегда смолчит! Не то сестры! Как умели они плакать и смеяться. Как заражало их настроение рассказчика. Они или хохотали на всю палату, или сидели тихонько рядом, гладили раненого по голове и утешали.

Мало-помалу и Гюльнар стала втягиваться в эти разговоры. Она даже сама стала рассказывать и о прошлом и о недавних днях. Скоро нашлась у ней и слушательница. Это была палатная сестра марийка Анастасия, ни енькая, полнолицая, со множеством веснушек на красном вздернутом носике, с жесткими щетинистыми волосами цвета красной меди. По-русски она не умела ни читать, ни писать, да и по-марийски знала немного. Но столько человеческого тепла и любви излучалось от этой неграмотной марийской девушки! Она так легко умела подойти к раненому, что с первых же часов встречи Гюльнар полюбила ее крепко и искренне. Больные в ней душу не чаяли, хотя она никогда не подделывалась к ним, не потакала их капризам. Она просто ухаживала за больным, как за своим братом или ребенком.

Когда она утром появлялась в палате, к ней сейчас же со всех сторон протягивались руки, чтобы приветствовать «тетю Аню». Иному больному было лет под пятьдесят, а он называл ее обязательно «тетей». Она и верно была похожа на добрую и заботливую тетку. Палатой она умела управлять отлично. Как опытный педагог, она сразу определяла характер и настроение больного. Только

появившись в палате, она уже видела: вот этот больной не в настроении, ему, видно, снился дом, жена и он, наверное, плакал до побудки. А вот этот проснулся в отличном настроении, поел, аппетит у него с момента перелома отличный. Сейчас он сидит на кровати и на языке у него вертится какой-то замечательный рассказ. И верно, что ему горевать, когда через неделю выпишется!

Аня ведала и женской палатой. Ко времени поступления Гюльнар там собралось до десяти женщин: радистки, телефонистки, саперы, разведчицы, медсестры — русские, украинки, белорусски. Тяжело раненных не было. Постоянно кто-нибудь в палате рассказывал или пел. Главной слушательницей всех десятерых была опять-таки она — Аня. Но слушать всех она не могла — времени нехватало, тогда ввели расписание. После вечернего обхода Аня молча приходила и садилась на кровать очередной рассказчицы. Та тоже поднималась с места и расставались они часто уже поздно ночью.

Была у Ани напарница — медсестра Нина, молодая, красивая. Она очень следила за собой: каждый день подправляла маникюр, волосы укладывала в изящную прическу, любила хорошо одеваться и по праздникам приходила в палату нарядная, подкрашенная и сильно надушенная. На правой щеке ее была родинка — больные заметили: каждый месяц эта родинка меняла свое место. Ресницы у Нины были изогнуты и заострены, как стрелы.

Работала Нина палатной сестрой. Но в палате застать ее было нелегко: обыкновенно она стояла около окна в коридоре и кокетничала с выздоравливающими. В палате не любили ее.

Зато появлению тети Ани радовались все, а Гюльнар больше всех. Даже трудно было понять сначала, что сближает этих двух столь разных женщин? Аня даже говорила по-русски не особенно чисто, тем не менее разговаривали они часами. Аня умела затронуть самые чувствительные струны, заговорить о самом главном и важном и так просто, что не отвечать или не продолжать разговора на эту тему было невозможно.

Гюльнар на фронте заметила за собой одну странную

особенность: она никогда не вспоминала и не говорила о доме. Выходило так, что как только начнет она вспоминать, все эти мысли, когда-то самые важные и нужные, вдруг отступали перед тем, что она видела и слышала на войне. Да, перед этой действительностью, резкой и беспощадно жестокой, меркло все то теплое и задушевное, что осталось позади. Эту странную бесчувственность свою Гюльнар подметила за собой после первого же столкновения с ранеными. И временами ей становилось даже жутко. С чем она вернется домой? Что почувствует, когда увидит своего сына? Что скажет она своему мужу и отцу!? А вот здесь, в госпитале, это чувство отчужденности стало постепенно таять, таять и, наконец, пропало совсем. Она снова почувствовала себя женой и матерью, снова часами могла говорить о своем сыне, смотреть на его карточку и плакать. В госпитале часто вспоминалась почти вся ее жизнь — год за годом, месяц за месяцем. Она просмотрела ее с начала до конца и не осталась довольной. Была в середине ее какая-то порочная пустота, какое-то отсутствие чувств и цели. Со дня встречи с Байжаном все пошло иначе: стало осмысленным и прочным, появилась цель жизни. Но все-таки это было не то. Настоящая жизнь должна была начаться только сейчас.

Вот об этом и рассказывала Гюльнар тете Ане. Рассказчицей она оказалась прекрасной. Отличной слушательницей была и Аня.

Письма Гюльнар получала чуть не каждый день. Когда связист вручал почту тете Ане, та прежде всего бежала к Гюльнар. Та сперва читала их сама, а после вечернего обхода пересказывала их Ане. Не было ни одного такого письма, содержанием которого Гюльнар не поделилась бы со своей подругой.

И вот однажды такое письмо все-таки пришло. Гюльнар прочла его, скомкала и выбросила в окно. А потом целый день лежала на койке мрачная, черная, вся погруженная в себя. Молчала и думала.

Аня сразу заметила что-то неладное, но расспрашивать не стала и даже старалась поменьше попадаться на глаза. И Гюльнар стало стыдно. Она подозвала тетю Аню и коротко рассказала ей все.

Письмо было анонимным, «Доброжелатель», пожелав-

ший остаться неизвестным, сообщал Гюльнар о недостойном поведении ее мужа и ее подруги. Гюльнар сразу поняла, что это ложь, но письмо все-таки огорчило ее, ибо больше всего Гюльнар боялась сплетен и злых разговоров. «Вот пойдут звонить по всей округе, ославят тебя и мужа, а потом приезжай и живи среди этой паскости».

Вечером у Гюльнар повысилась температура. Она спала плохо и бредила. На утро ей передали телеграмму, в которой Байжан сообщал о своем выезде к ней.

— Ну и все,— сказала Аня,— и волноваться нечего. Приедет и объяснится вся эта чепуха!..

— Да, чепуха, — повторила Гюльнар. — Но когда же он будет тут?

Аня притащила карту и стали гадать: очевидно из Алма-Ата в Москву Байжан прилетит на самолете, из Москвы в Казань тоже на самолете, а там прямой путь по железной дороге. Стали вычислять, сколько же дней может продлится этот путь, когда нужно быть готовыми к встрече.

Дни проходили в ожидании. И вдруг однажды Гюльнар вручили объемистый пакет. Она вскрыла его, тряхнула и на одеяло выпала целая кипа исписанных бумажек. Одни были написаны рукой Байжана, другие — рукой Айбарши. Она взяла два первых листка и ей сразу стало жарко. Сомнений не было.

Перед ней лежала любовная переписка, та самая, о которой извещал ее анонимный «доброжелатель». Муж ее объяснялся в любви ее подруге, подруга отвечала ему тем же. Что за чертовщина, подумала она, этого не может быть? Не верю я этому, не верю! А вдруг... а вдруг это действительно так? И Гюльнар стало знобить, ей стало так нехорошо, что она даже прошептала: «лучше бы умереть!»

Вечером пришла Аня и стала расспрашивать, что это за толстый пакет ей принесли сегодня. В первый раз Гюльнар не только отвечала неохотно, но и обманула Аню.

— Пришли,— сказала она,— документы о прежней работе.

Аня поверила этому только в первую минуту. Потом

она поняла, что «это совсем не то». Она задала несколько осторожных вопросов, но Гюльнар с каким-то злобным упрямством либо молчала, либо отвечала невпопад, а под конец просто расплакалась. Слезы Гюльнар окончательно расстроили Аню.

Ей были известны довольно многочисленные случаи разводов и семейных неурядиц, связанных с войной. Но в случае с Гюльнар Аня никак не могла взять в толк одно: хорошо, муж изменил ей, но зачем же он едет сюда?

А Байжан тем временем с каждой станции присылал телеграммы. Вот и еще одна, последняя: «буду завтра утром».

Аня собралась и поехала на вокзал. Она хорошо помнила Байжана в лицо по многочисленным фотокарточкам и поэтому узнала его сразу.

Через час они оба были в палате. Пока они ехали по городу, Аня смотрела на серьезное лицо Байжана и тревожно думала: «Как-то они встретятся, а вдруг он сядет на стул поодаль и начнет разговор о разрыве? Вдруг он и приехал только за этим. Как же в таком случае поведет себя Гюльнар?»

Но Гюльнар оказалась молодчиной. Аня, взглянув на нее, даже выпрямилась от гордости. Она говорила с мужем спокойно, так ясно, широко улыбалась, так искренне рассказывала о себе, что простодушная Аня подумала: «А может быть и в самом деле в толстом пакете были только справки с места работы?»

Байжан сидел перед кроватью своей жены усталый, очень задумчивый, уже совсем не молодой. Лицо его, как ржавчиной, было покрыто красными пятнами. Улыбался он редко, с усилиями и по тому, как опускал и поднимал он веки, Аня поняла: усталый и погруженный в дела человек, не до флирта ему!

Гюльнар подумала другое: «Что с ним говорить сейчас, все равно ничего от него не узнаешь. Коли все это вранье, разве можно тревожить его этим? А если правда, разве он мне скажет что-нибудь, если молчит сейчас». Она верила и знала что все «это» неправда.

После его ухода, поздно вечером, она вытащила из-под матраца все записки и сожгла их.

Глава двадцать четвертая

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

КАЛАКАЙ сделал несколько шагов и вдруг так за вяз, что чуть не упал. Ливни хлестали уже больше неде ли и везде, куда ни ступишь, лежала глинистая липкая грязь.

Калакай шел, спотыкаясь, машинально хватался за деревья и стены домов. Он не замечал ни дождя, ни про мокшей одежды. Ему стали противными и эта темная ночь, и непрекращающийся дождь, и эта липкая, засасы вающая грязь. Все подходило одно к другому, даже жизнь его,— разве не вязнет сейчас она так же в грязи? Разве честь его не готова рухнуть каждую минуту?

Пробираясь к дому с таким трудом, Калакай вспом нил сказку про Каран-бая.

Был, говорит сказка, такой человек, который не только загреб себе все богатства мира, но и обездолил всех... Земля не выдержала тяжести его грехов и вы бросила злодея к небу. Но небо не приняло преступника и он с размаху рухнул опять на ту же справедливую и мудрую землю. И тогда земные недра расступились и поглотили его. Богатство разобрали люди, бесчисленны стада разбежались.

Видимо и я такой преступник? — думал с отчаянием Калакай, проклиная все на свете. Видимо, и меня не смо жет вынести земля. И все это дружба с подлецами. О все знал и ничему не помешал. Значит, он в тупике, вы хода нет. Значит, остается... он остановился под деревом провел рукой по лицу и тут только почувствовал, какой он мокрый и грязный. Значит, остается умереть. Как? Застрелиться? У него есть маузер. Отравиться? Он мо жет достать мышьяку. Да, другого выхода нет. Решив, что утром он умрет обязательно, Калакай почувствовал себя даже как-то спокойнее.

Дальше итти было лучше. Здесь стояли мастерские с огромными окнами, чуть ли не в полстены, в них всегда горел свет. Калакай поднял воротник плаща и зашага быстрее.

Прямо на него ехал всадник. Калакай — он ни с ке

не хотел встречаться — быстро метнулся с дороги, но его окликнули.

— Эй, кто идет?

Это был голос Айбарши.

Всадница крикнула еще раз и, когда ей ничего не ответили, хлестнула коня и поскакала прямо на него. Калакай побежал, но Айбарша быстро нагнала его и подняла плетку. Она думала, что это из окна мастерской вылез вор.

Калакай испуганно крикнул:

— Что ты? Это я — Калакай!

Айбарша опустила плеть.

— Откуда ты? Почему не откликаешься?—спросила она строго.

— А что откликаться? Вот тороплюсь скорее до дому дойти. Видишь, дождик какой! А с чего ты вздумала останавливать да расспрашивать прохожих?

Айбарша раздумывала.

— Откуда ты?

— Из райкома...

— Что делали?

— Обсуждали план посевной.

У Калакая, как молния, мелькнула мысль: Ну, хорошо, я покончу с собой, а кто ж узнает, что не я писал злосчастное письмо? Так и скажут: «Жил грешно и умер смешно; собаке — собачья смерть». И он схватил Айбаршу за локоть.

— Послушай!— сказал он твердо— Моя жизнь и смерть зависит теперь только от того, пойдешь ли ты со мной или нет. Да и не только моя. Слышишь? Может быть, и твоя тоже.

Айбарша махнула рукой.

— Опять ты принялся за свое,— сказала она с досадой.— Мы уже говорили, говорили об этом! Пусти-ка меня, слышишь?

Он не отпускал.

— Айбарша! Дорогая!— взмолился он вдруг.— Пойми, что это все не то, что ты думаешь. Совсем не то! Нет, нет, не то! Если ты не послушаешь меня, то потеряешь все, потому что в другой раз я не найду в себе мужества. Пущу себе пулю в лоб — и все. Во имя твоего жениха, которому это важнее всего, пойдем ко мне.

Он говорил горячо, не запинаясь, и Айбарша подумала: «Шут его знает, может и в самом деле что-нибудь серьезное».

— Ну, хорошо, — сказала она после секундного раздумья.— Едем, только отпусти повод.

Так они дошли до дома — она ехала, он шел рядом. Зашли в дом. Пока она раздевалась, он стоял в передней и думал. Потом вдруг приоткрыл дверь и спросил:

— А ты знаешь, что такое по-казахски «калакай».

— Кажется, что-то вроде шиповника,— нерешительно ответила Айбарша.

Он подошел и сел на диван с ней рядом.

— Точно. Колючий шиповник. Только величиной с молодой тополь. Есть такая легенда. Пришел казах в гости к узбеку. Поели они, выпили кумысу, вот казах и спрашивает: «Как вашего бога зовут?» Узбек и говорит: «Наш бог — рис». Ах, так!— раз, раз ложкой.— «Ну, вот от вашего бога ничего и не осталось. Пустые тарелки стоят. Был бог да весь кончился». Обидно стало узбеку. Он и спрашивает: «А ваш бог кто?» «Э,— отвечает казах,— до моего бога тебе так не добраться. Он у меня в ауле живет. Приезжай, я покажу». Узбек так заинтересовался, что и в самом деле приехал в гости к казаху. «Ну, говорит, показывай мне, где твой бог?» «Мой бог,— отвечает казах,—Калакай». «Давай мне сюда этого Калакая, я его одним махом съем». «Ну, что ж, говорит казах, идем». Вышли они во двор, подвел казах узбека к шиповнику. «Ну, ешь моего бога». Постоял, постоял узбек, откусил одну колючую веточку, залепили ему колючки всю бороду, раскровянили язык. Узбек и взвыл. А казах говорит ему: «Ты, друг, на меня не сердись, но только твой бог неправильный. Какой это бог — рис? Подошел к нему, набрал полные горсти, да и съел. А от моего бога и человек и всякая скотина бежит. С ним только спутайся, потом и не развяжешься. Вот это бог, так бог? Намотай себе это на бороду. Бог должен быть недоступным».

— Да, интересный рассказ,— засмеялась Айбарша.

— Вот мой отец,— продолжал Калакай,— и назвал меня так. Пожелал мне быть колючим. Вырос я этаким поганым колючим кустом и встал между тобой и Даулетом. И понимаешь ли ты,— не виноват я в этом. Совер-

шенно не виноват. Э, да что там говорить. Сама ты знаешь все. Но ведь все знают про то, как я волочился за тобой и получил отпор. Все про плохое-то знают,— крикнул он вдруг тоскливо,— а про хорошее никто ничего не слышал. И вот секретарь райкома сует мне эту фальшивку под нос. Как, по-твоему, хорошо это? Вот и осталось мне одно — пойти да удавиться. Понятно?

— Понятно,— ответила Айбарша.— Но только дурак ты!

— Да, хорошо тебе так говорить. А если бы ты была на моем месте...

— Дурак, все равно дурак. Ну и вешайся после войны. Чорт с тобой! А сейчас ты и вешаться не смеешь. Знаешь, как это называется? Дезертирство это!

— Ух, как я устал от всего этого,— махнул рукой Калакай. — У меня уже голова кругом пошла. Скажи, что же делать-то? И с Рахметом-то как мне быть?

— Ладно!— сказала подумав Айбарша.— С Рахметом уж как-нибудь улажу. Только ты сам не ходи. Ведь вы такие петухи оба...

— Погонит он тебя,— тоскливо сказал Калакай.— Обязательно погонит. Ты знаешь, какой он сейчас?

— Не беспокойся, все будет как надо. За это уж я отвечаю. Давай руку и больше об этом ни слова.

Уже было совсем светло. Окна побелели, по вершинам деревьев пронесся первый утренний ветерок.

— Э, как я хочу спать,— сказала Айбарша.— А ложиться спать и времени уже нет. Надо спешить — домой забежать, а потом на работу...

— Но ты хоть отдохни немного на диване,— посоветовал ей Калакай.

— Нет! Я сейчас уеду.— Она подошла к окну, посмотрела во двор и отшатнулась. Калакай заметил это и также посмотрел в окно.

Во дворе стоял Сырбай. Он держал в поводу лошадь Айбарши.

— Ну, пропали!— ошалело сказал Калакай.— Вот проклятущая моя судьба! Теперь Сырбай житья не даст.

— Почему?— спросила испуганно Айбарша.

— Как почему? Ты знаешь, как ко мне относится старик, а ты на коне его сына прискакала ко мне. Это даром не пройдет.

— Ничего! — сказала Айбарша,— ничего не будет. Я ему расскажу все.

«Так тебе старый мухомор и поверит!»— подумал Калакай.

Они продолжали смотреть в окно. Сырбай постоял около иноходца, подумал, потом взял его за узду и вывел со двора. А там сел на лошадь и приторочил иноходца к своему седлу.

— Совсем пропали!— горько сказал Калакай и махнул рукой.

Глава двадцать пятая

ТРЕВОГА

В РАЙКОМЕ горел свет и Байжан поспешил в кабинет. Навстречу поднялся Рахмет. Кроме него да помощника, заснувшего над кипой бумаг, в райкоме вообще никого не было. Байжан посмотрел на секретаря и покачал головой. Всегда подтянутый, застегнутый на все пуговицы, Рахмет теперь выглядел по-домашнему: ворот гимнастерки был расстегнут, не было и армейского ремня с хитрой пряжкой.

— Садись, гостем будешь, — сказал Рахмет с угрюмой приветливостью.

— Да нет, я только на минуточку, — заторопился Байжан. — Я ведь на машине...

— Садись, садись, — мягко, но настойчиво повторил Рахмет. — Послушай-ка, что я тебе расскажу...

И он очень коротко, в нескольких словах изложил весь разговор с Калакаем.

— Нехорошо! — сказал Байжан задумчиво. — Что бы там ни было, а нехорошо.

— Вот то-то и оно, что нехорошо!—словно обрадовался Рахмет. — Знаешь пословицу: «Много шуму из ничего». По нашему-то это иначе звучит: «Весь аул рыжий жеребенок повернул».—Он вдруг усмехнулся.—Вот я недавно об этом у Чокана Валиханова вычитал. Не знаешь? А интересно.

Он вытащил из ящика письменного стола книгу и прочел: «Было время, когда наш народ враждовал с мон-

гольскими племенами. Однажды калмыки напали на казахов и угнали табун лошадей. Казахи собрали силу и бросились в погоню. Долго им пришлось гнать калмыков. Когда разведка сообщила, что стоянка калмыков недалеко, казахи остановились ночевать, чтобы отдохнуть перед наступлением на врага, поставив караул. Ночью раздалась тревога: «Едут враги!» — кричал караул. Спящие поднялись на ноги и со страхом начали бежать обратно... Но они скоро увидели, что никакого врага нет, тогда их руководитель остановил свое полчище и начал проверять причину тревоги. Оказалось: из угнанного калмыками табуна убежал один пегий жеребенок и на своем пути наткнулся на спящих казахов. Караул, приняв этого жеребенка за нападающего врага, поднял тревогу. Это пустяковое дело подняло такой большой шум... Караул, конечно, был наказан. После этого события, если в народе поднимался какой-нибудь никчемный шум, называли его «шумом пегого жеребенка».

— Да, интересно, — усмехнулся Байжан. — Только к чему вы это?

— А вот к чему. Этого рыжего жеребенка и ты знаешь. Звать его Обгорелый. Он забрал все деньги из колхозной кассы и порядочно что-то — около ста тысяч, и сбежал. До сих пор поймать не могут.

— Здорово, — свистнул Байжан. — Ах, подлец!

— Это еще не здорово. А здорово вот что. Он и с жены своего приятеля Масакпая пятьдесят тысяч содрал. Я, мол, главному врачу взятку дал, глаза ему замажу, муж твой тогда дома останется. Вот и замазал. И ей, и всем нам. Хорошо?

— А знаете, — сказал как-то вдруг Байжан и даже встал с места.— Ведь это он письма писал. Он! Он! Только он!

По тому, как секретарь медленно поднял голову и посмотрел на него, Байжан понял, что Рахмету эта мысль уже приходила в голову.

— Возможно, — сказал он. — А вот с Калакаем-то что делать?

Байжан промолчал.

Рахмет вздохнул, взял телефонную трубку и вызвал районное отделение НКВД. Начался длинный разговор. Речь шла опять-таки о тех же письмах и о ста тысячах.

И вдруг секретарь крикнул:

— Да что вы? Ох, как хорошо! Так слушайте, голубчик, может быть вы ко мне зайдете? Ну, жду, только уж тогда пораньше! Давайте в десять!

Он положил трубку и сказал:

— Ну, теперь все выясним. Поймали подлеца.

— Вот вы увидите, — сказал горячо Байжан, — все будет, как я сказал. Это он. Все это он!

— Увижу, увижу, — успокоил его Рахмет. — Ладно, на сегодня хватит. Пойдем ко мне пить чай. Сейчас жене позвоню.

Сырбай, гостивший у секретаря райкома, между тем уже успел выспаться. Теперь он лежал с открытыми глазами и думал о чем-то своем.

В два часа ночи хлопнула дверь, послышались веселые голоса, по которым Сырбай узнал Байжана и Рахмета. Он полежал еще, потом встал и вошел в столовую.

На столе дымилась кастрюля, доверху наполненная мантами, стояла бутылка красного вина. Появился потом и самовар.

Уселись за стол и не спеша ели манты, пили вино, потом чай. Только крик ишака известил их о наступлении утра. Стали расходиться по комнатам. Сырбай вышел во двор. Было почти совсем светло. Он подошел к стойлу, чтобы задать корм своей лошади и увидел, что лошадь ушла. Сырбай встревожился.

У его любимой лошади была одна плохая манера. Куда бы на ней ни заезжал Сырбай, где бы он ее ни привязывал, она обязательно оборвет веревку и уйдет. И пойдет обязательно не куда-нибудь, а в свой аул. Даже спутанная она будет прыгать, как воробей, по направлению к аулу. Вот и теперь на месте ее не было. Толстая веревка валялась на земле.

— Чтоб ты сдохла, окаянная! — выругался Сырбай. — Ищи теперь тебя!

Сырбай, не задерживаясь, пошел по следу лошади. Поймал он ее только далеко за городом.

На обратном пути проезжал мимо дома Калакая. Случайно взглянув во двор, он увидел за низким заплотом серого иноходца Даулета. Нет, ошибки быть не могло. Это был он. Но как он попал сюда?! Ведь на нем все время ездила Айбарша. Он так и сказал ей: «Дочка,

пусть. иноходец не знает, что нет у него больше хозяина. Пока сын не придет, езди на лошади ты». И вот этот иноходец стоит теперь во дворе его врага. Ну, значит, и Айбарша здесь же. Он соскочил с коня, вошел во двор.

Старику стало плохо, душно, что он должен был прислониться к стене. А когда он открыл глаза, то первое. что увидел: был топор на куче дров. Он взял его и машинально провел пальцем по острию. Топор был новый, острый.

Вспомнилась давнишняя история. Как-то влюбились в одну девушку богатый бай и молодой ладный парень — сын бедняка. Девушка предпочла бедняка. Тогда бай нанял каких-то головорезов и парня пришибли. Дело об убийстве разбиралось чуть ли не год, но когда оно пошло в суд, вдруг оказалось, что улик недостаточно, да и судьи, задобренные баем, не пожелали входить во все темные обстоятельства дела. Следствие прекратили. Тогда отец ночью влез в окно байского дома и вырезал всю семью бая до новорожденного младенца включительно. Потом зарезал и себя.

Все это вспомнил Сырбай, глядя на топор, и он схватил его, сделал шаг к дому и... Вдруг заржал конь Даулета. Старик вздрогнул. Ему представилось: вернувшись домой, сын застанет две могилы—могилу своей невесты и могилу отца. Что он скажет, что подумает тогда об отце... Поймет или осудит,... Осудит, конечно. Сырбай бросил топор, подошел к иноходцу, отвязал и вывел со двора.

У Рахмета все еще спали. Отворила старику дверь жена Рахмета и сейчас же скрылась за занавеску. Но старик крикнул ей:

— Невестушка, разбуди мужа.

Когда, зевая со сна, Рахмет вышел к старику, Сырбай хмуро ему сказал, что надо бы было поговорить.

— Так зайдем в комнату, — предложил Рахмет.

— Нет, нет, — покачал головой Сырбай. — Идем во двор. У тебя в кабинете спит Байжан, а у меня разговор секретный.

Рахмет удивился, но во двор вышел. И Сырбай рассказал ему все. Рассказывал он спокойно, немногословно и очень ясно. Рахмет, глядя на его хмурое, но казалось бы совершенно спокойное лицо, думал: «Какой, однако,

молодец, этот старик, как он умеет владеть собой». Ему вспомнилось сравнение, которое он любил применять к Сырбаю: «Старик этот, как сама земля. Все она хранит в своей глубине, все знает и ничего не выдаст. Что бы ни произошло на ее поверхности — леса погорят, горы разрушатся, реки разольются, — а земля попрежнему хранит свои тайны».

— Ну, вот,— сказал Сырбай, кончая,— и все. Теперь уж я поеду.

— Нет, Сыр-аке, теперь уж вы оставайтесь,— сказал Рахмет. — Это надо выяснить до самого конца. Сейчас же вызову обоих и распрошу. Может быть, ничего и не произошло. Я знаю: Айбарша Калакая терпеть не может. Возможно встретились они по какой-нибудь надобности, разговорились, а время позднее, дождик, вот она и заночевала у него. Это случается.

— Ты райком, тебе и книги в руки, — ответил Сырбай сухо, но сдержанно. —Но меня не держи, я поеду,— и не слушая никаких доводов, сел на лошадь и ускакал.

Рахмет медлить не стал. Он сейчас же вызвал дежурного курьера и велел пригласить Калакая, а если там и Айбарша, то и Айбаршу привести с ним.

Калакая и Айбаршу посыльный застал одетыми. Оба они разговаривали. Лица у них были встревоженные.

— Ну, Калакай,— сказала Айбарша, когда посыльный, передав распоряжение райкома, вышел, — беда. Кажется, заварилась каша немалая. Что теперь Рахмет нам скажет? Старик уже успел нажаловаться.

Калакай подавленно молчал.

— Рахмет сначала, конечно, накинется на нас, но ведь мы объясним ему, что и как, и он замолчит. Не может быть, чтобы не поверил. Он человек рассудительный, умный. Вот со стариком только что делать?

Она подумала еще.

— Впрочем, ты оставайся пока здесь. Я одна с Рахметом поговорю. Если нужно, я вызову.

Как только Айбарша зашла в кабинет, Рахмет поднялся из-за стола и крикнул:

— А та сволочь где?

— О ком это вы, Рахмет-ага? — спокойно спросила Айбарша. — О Калакае?

Он молча и яростно глядел на нее.

— Рахмет-ага, позвольте мне рассказать вам, что случилось. Я была у Калакая недаром.

Она рассказала ему все по порядку.

— Ну, ладно, — согласился секретарь, — пусть будет так. Обвинение с тебя снимаю. А вот что за Калакая ты ходатайствуешь? Знаешь, дорогая, есть у Толстого такая сказочка: расставил мужик сети на конопляник, а в них с конопляниками попал и журавль. Стал мужик вынимать птичку за птичкой. Шейку ей набок, да и в сторону. Тут журавль и взмолился:«Не тронь меня, мужичок, я твою коноплю не клюю, я журавль». А мужик ему и говорит: «Коли ты, брат, с ворами попал, то и отвечай, как вор» — и свернул ему голову. Вот и с Калакаем так же. Видишь, какие у него приятели! Тыртык да Масакпай —один негодяй, а другой и того хуже. Хорошо, если не прямой враг. Вот его сейчас поймали, станут допрашивать и бог знает, что из него полезет, на каких своих сообщников укажет. Может быть, и твоего друга помянет.

— А если нет? — упрямо спросила Айбарша. — Если Калакай все-таки не при чем?

— Как, милая, не при чем?.. При том, что он — коммунист, а пьянствовал с этой сволочью. Вот он при чем! Ну, ладно. Так тому и быть. Возьму на себя его вину. Но только пусть держится. Если еще что за ним замечу... Ну, все, все! — быстро закончил он, видя, как Айбарша хочет броситься к нему. — Кончили разговор. Пусть живет твой Калакай, да помнит, в какую кашу он чуть не попал. Впрочем, я ему это сам скажу. А вот теперь давай решим, как со стариком нам быть? Старик-то ведь ничему не поверит...

Глава двадцать шестая

СТРАЖ „КОТЕРМЕ“

СЫРБАЙ уехал в сильном гневе и тут стали гадать, чем же все это может кончиться.

— Эх, нехорошо, — сказал Рахмет. — Так разозлился старик, что даже с лица переменился, а такие, как он, не гнутся, они сразу ломаются. Как бы не кончилось все это чем-нибудь очень плохим.

— А чем, например? — спросила помощница, знавшая уже всю эту историю.

Рахмет руками развел.

— Как он сорвет свою злобу, этого я и не придумаю. Наверное, попытается расквитаться кое с кем.

— С кем же? — спросила помощница.

— Да с Калакаем, наверное. Боюсь, как бы не наделал он большой беды.

— Неужели он и снохе будет мстить?

— Снохе? Нет, не думаю. У старика в характере все-таки этакое своеобразное рыцарство. С женщинами связываться он не будет. Что касается Калакая, то это другое дело. Старик с характером — у него середины нет. Боюсь: не сдобровать нашему райземотделу.

Боялся этого и Калакай. За последние дни он даже побледнел, все ходил и думал: «Чем же все это, в самом деле, кончится?».

Кто-то посоветовал ему пойти прямо к старику и объясниться. Совесть у него чиста и скрывать ему нечего. Сырбай же человек почтенный, всеми уважаемый. Поэтому пойти к нему и объясниться начистоту, а то и просто попросить прощения, если чем прогневил его, в том нет никакого греха.

Калакай тоже думал так, но пойти все-таки трусил. Как его встретит старик? Что он ему скажет? А вдруг он попадется в его доме в ловушку. Поэтому, обдумав все, он обратился к Рахмету.

— Вас старик уважает больше всех, — говорил Калакай, — и если вы поедете со мной, то старик может и покричит, попетушится, но под конец подаст мне руку.

— Да, это так, — ответил Рахмет.

— Обидно мне ссориться с самым уважаемым человеком района! Кто-то набрехал ему, что-то насплетничал, а вот я — отвечай. А ведь от этого дело страдает, да и сам старик, наверное, ходит, как побитый, чувствует себя обиженным и обманутым.

— Это, — сказал Рахмет, — ты хорошо придумал. Верно, пора кончать. Но сейчас я так загружен, что не до этого, а вот освобожусь и тогда, пожалуй, съездим. Дня через три поедем. Хорошо?

Но прошло три дня, и пять, и неделя, а Рахмету все было не до поездки. Прошла еще пятидневка, у Рахмета дел все не убывало.

Калакай раз напомнил Рахмету о поездке, два напомнил, а на третий раз и напоминать посовестился. Ехать же одному у него нехватало ни совести, ни мужества.

А сплетники продолжали жужжать: был о тебе разговор с Сырбаем. Старик говорил о тебе, а потом, как хватит кулаком об стол, даже посуда запрыгала. Либо я, говорит, либо он, а обоим нам не жить.

Калакай даже на улицу теперь в вечернее время выходил с опаской, а коли выходил, то все норовил кого-нибудь захватить с собой. Дошло, наконец, до того, что он достал откуда-то огромный кривой нож и всегда носил его с собой. А когда на ночь запирал дом, то навешивал замки даже на ворота. Часто он просил кого-нибудь из друзей остаться с ним на ночь. «Чорт ведь его знает, этого старика,— думал он.— Выбьет обухом ставни, да и благословит потом тем же обухом. Потом судись, когда без головы будешь».

Однажды Калакаю донесли:

— Ну, кажется, старик надумал что сделать. Оказывается, старый пес все подходящее время выжидал. Вот как начнет итти по каналу кзыл-су (так казахи называют паводок, что идет по еще нерастаявшему льду), он возьмет с собой пять-шесть кетменщиков да и направится в местечко «Котерме», разрушит плотину и тогда конец каналу.

— Вот разбойник! — Калакай даже побледнел. — И что люди смотрят? Взять его и связать!

— А кто вязать-то будет? Остались старые да малые. Все остальные либо на войне, либо на канале, — печально ответил ему рассказчик.

— Так надо сейчас же послать верховых в район, — сказал Калакай растерянно. — Вот не было еще беды! Ах, старик, старик! Дурная же твоя голова! Что ты задумал такое?

Опасность в самом деле была велика. Котерме — земляная плотина, насыпанная возвышенность, через которую ведется арык, если его приходится пролагать через овраг.

и ложбину. Разрушить котерме, значит, попросту выпустить всю воду из канала в овраг.

Анатолий Кондратьевич советовал Байжану не строить котерме, а удлинить трассу канала и провести его не по прямой, а в обход ложбины. Байжан возражал Анатолию Кондратьевичу: копать так, это, значит, давать крюк и удлинять трассу на целый километр.

— Знаю я это, — сказал Анатолий Кондратьевич, — но ты вот о чем подумай: грунт в овраге ненадежный, как хлынет вода, так и придется каждый год эту насыпь возобновлять. Тогда как по моему варианту канал пройдет по твердому и надежному грунту. Правда, поработать придется больше, но поработаешь раз, а потом будешь спокоен на весь век. А то как весна, так новые заботы.

Правительственная комиссия вняла доводам Полевого и утвердила именно его план. Но когда земляные работы дошли до оврага, все-таки Байжан провел канал напрямик через овраг. Конечно, если бы не война, Байжан не стал бы выбирать этот второй, более легкий вариант. Однако выхода у него теперь не было. Строительство надо было кончать в срок, а рабочих на трассе оставалось в три, а то и в четыре раза меньше довоенного.

Анатолий Кондратьевич в это время корпел над чертежами большой Кзыл-Ординской плотины и о самовольном поступке своего ученика узнал слишком поздно. Траншея была уже прорыта и исправить сделанное не представлялось возможным.

— Эх, лучше бы ты с меня голову снял! — сказал Анатолий Кондратьевич, когда они вернулись с осмотра участка. Потом подумал и добавил: — Да ты хотя бы котерме сделал как следует. А то намешал песку да тростника и на этом успокоился. Ты бы хотя меня спросил — я бы тебе сказал, какую глину брать, как ее с колючками мешать, чтобы запруда крепко стояла.

— Что ж делать?— Спросил Байжан.

— Что делать? Насыпь нужно заново возводить. Надо поставить деревянные срубы, надолбы, вместо песка намешать глину с колючками. Тогда еще...

— Так и сделаем, — сказал Байжан, — завтра же пришлю плотника и техников.

— Молчи уж, строитель, — окрысился Анатолий Кондратьевич.—Сейчас земля, как камень. Ты ее ни кайлом, ни ломом не возьмешь. Разве только динамитом рвать будешь. Да и то не знаю, как выйдет. — Почесал голову, подумал и решил.

— Нет, сейчас ничего уж не поделаешь. Придется тебе попрыгать за то, что меня ослушался. Если паводок прорвет плотину, Сыр-Дарья разольется на всю нашу округу, пожалуй, еще наши постройки снесет. Поэтому жди теперь весну и не зевай. Как только начнется оттепель, строй плотину. Хоть тут-то не проморгай!

— Все сделаю, — угрюмо сказал Байжан.

— Сделаешь ли? — горько покачал головой Анатолий Кондратьевич. — Ох, не верю я тебе теперь ни в чем. Кто мне раз соврет, тому я уже ни разу не поверю. Хорошо, строй, посмотрю еще, на что ты способен!

Он говорил так, а сам думал: «Обязательно нужно будет проследить за Байжаном. Кому только поручить это? Сам он день и ночь сидит над проектами. Помощников у него нет, да и неудобно давать такое поручение какому-нибудь из подчиненных Байжану инженеров. Однако, кому же поручить?» И вдруг он ударил себя по лбу. «А Сырбай? Он все сделает, что нужно. Ему не верить — себе не верить». Он оседлал коня и поскакал к старику.

Разговор был недолгий. Сырбай выслушал и все понял так, как нужно.

— Только на тебя я и надеюсь,— сказал Анатолий Кондратьевич, кончая разговор. — Не подведи, пожалуйста!

— Ладно, не бойся, все будет в порядке, — ответил Сырбай.

Порешили на том, что Сырбай будет только издали наблюдать за работой Байжана. Время от времени он будет наезжать на трассу и смотреть, как и что делается с плотиной. В случае неполадок доложит немедленно обо всем Анатолию Кондратьевичу.

— Пусть только никто не знает о том, о чем мы с тобой говорим, — добавил Анатолий Кондратьевич. — Байжан и так на меня в обиде. Я погорячился, наговорил ему невесть что. Наговорил и хватит! Не надо обижать человека больше, чем он того заслужил.

И вот Сырбай, то под одним предлогом, то под другим, а то и просто так, стал наезжать к плотине. Но плотина хоть и была из песка и камышита, стояла крепко, да и до паводка было далеко. А Байжан, кажется, совсем забыл о своем обещании построить временные предохранительные сооружения из камыша. Да и что было ему бояться? Коли и разольется Дарья, то тоже беда не столь велика. Ведь есть еще шлюз, который задержит половодье. Вот оттает земля как следует, думал Байжан, тогда и возьмемся за плотину. Ничего, ничего, времени еще много.

Сырбай смотрел на Байжана и жалел его. «Трудно ему, бедняге, приходится, — думал он, — всего нехватка: инструменты есть, работать некому; привезут инструменты, людей нехватает; люди есть — одежды нет; оденешь людей, кормить их нечем. И за все в ответе он. А как иногда трудно приходится! Другой бы давно потерял голову, а он ничего. Ходит, улыбается. Вот что значит молодость и горячая кровь! Ну, да ведь за всем ему все равно не поспеть, где же ему еще плотину строить? Да и из чего строить-то? Материал-то где?».

И Сырбай решил помочь Байжану. Собрал стариков и рассказал им о своем намерении.

— Надо строить плотину, а материалов нет. Я сосчитал: камыша нужно не особенно много — самое большое полсотни верблюдов. (Сырбай всякий строительный материал мерил по верблюдам). Для того, чтобы намесить и сцементировать глину, еще верблюдов сорок колючки надо. Все это надо нам будет собрать и подготовить до разлива реки.

Предложение было дельное, и старики сейчас же отправились на заготовки. Но работа шла с большим перерывом. Тем не менее молва побежала по аулам, домам, дошла до районного центра, до Байжана. И хотя забота Сырбая тронула его до глубины души, он сделал вид, что ничего не знает.

Заготовка строительного материала была реальной помощью, а в ней Байжан, ой, как сильно нуждался. Поэтому, когда работа вдруг остановилась, Байжан страшно встревожился. «В чем дело? — думал он. — Что случилось?», и решил про себя, что виной всему склока. То Сырбай с Масакпаем поссорились, то с Айбаршой что-то он неполадил, а работа стоит.

Байжан подумал, подумал, да и решил напрямик объясниться с Сырбаем. О своем намерении рассказал Рахмету.

— Нет, тут что-то не то,— сказал Рахмет.— С другими он действительно не в ладах, но с чего бы на тебя ему сердиться? Ну, скажем, с Калакаем он поссорился, положим, даже решил мстить ему, но ты-то при чем? Он тебя знает и любит не меньше зятя. С чего он будет разваливать работу? Нет, ты даже виду не подавай ему, что подозреваешь его в чем-то. Потом само-собой все объяснится.

— Хорошо,— ответил Байжан,— только я вижу, что что-то тут не так.

Сырбай по отношению к Байжану вел себя попрежнему и даже после сплетни, сочиненной Масакпаем, старик своего отношения к нему, Байжану, не изменил.

Правда, из попытки Байжана поговорить со стариком после того, как он, разгневанный и убитый скорбью, ускакал из дома Рахмета, ничего не вышло, но разговаривали они хорошо и свободно. Байжан приехал тогда к нему и стал доказывать, что все это чепуха, одни пустые разговоры. Неужели же он не верит Рахмету?

Сырбай выслушал все до конца и ответил:

— Эх, что там говорить, сынок. Правда это или сплетни, но топиться я из-за этого не буду. Об одном я молю аллаха: пусть вернется скорее сын. Он сам разберется.

Как бы там ни было, а работа по сбору строительного материала замедлилась, а тут еще Байжана спешно вызвали для доклада в Алма-Ата. Перед своим отъездом Байжан вызвал к себе Калакая и сказал, что придется строить плотину против паводка, а как это сделать, он не знает. Материалов нет.

— Хотел поговорить обо всем с Рахметом, — кончил он, — да нет его. Опять где-то в командировке. От сырбаевских же стариков большого толка, видать, не будет. Придется тебе собрать бригаду.

— А как посмотрит старик на то, что я свою бригаду сколочу? — усомнился Калакай. — Я теперь у него, как сучок в глазу.

— Чепуха все это, — сказал Байжан. — Он личную обиду к работе не будет примешивать. Не сомневайся и заготовляй необходимый материалы.

На другой день Байжан уехал в Алма-Ата.

Калакай сам следить за Сырбаем не посмел и перепоручил это одному из своих друзей. Но случилось так, что как внимательно ни следил агент Калакая за стариком, но как раз его отъезд на плотину он и проспал. Помог только один паренек, юркий и пронырливый. Заметив, что старик пошел утром по дворам, собрал шесть кетменщиков, что все они сели на лошадей и ускакали, паренек разбудил агента Калакая и, задыхаясь от волнения, рассказал ему обо всем.

— Надул нас старый сыч! — выругался друг Калакая. — Вот теперь что хочешь делай. Он оседлал коня и поскакал прямо к Калакаю.

Калакай встревожился по-настоящему. В 8 часов утра он побежал в райком, рассказал все второму секретарю и стал требовать, чтобы в погоню за стариком послали милицейский отряд.

— Вряд ли это будет удобно, — поморщился секретарь, — тоже, нашел разбойника — Сырбая. Раз собрал бригаду, значит, поехал что-то строить или заготовлять, или копать. Лучше поедем и посмотрим. Не нужна ли ему наша помощь? Эх, Калакай, Калакай! На таком ответственном посту ты, а людей не знаешь.

Вместе со вторым секретарем райкома и Калакаем поехали еще три районных работника.

На самом деле произошло вот что:

Приехав в Кзыл-Орду, Рахмет сейчас же пошел к Анатолию Кондратьевичу. О многом они говорили, но больше всего опять-таки про строительство. О чем бы и с кем бы ни начинал говорить Анатолий Кондратьевич, он все сводил к каналу имени Сталина и к проекту Кзыл-Ординской плотины.

Сейчас разговор коснулся будущего паводка и мер, которые надлежит принять для предотвращения катастрофы.

— Все произошло потому, — задумчиво говорил Анатолий Кондратьевич, — что не послушался Байжан моего совета. Не там бы нужно было канал вести! А вот теперь и возись каждую весну, и чуть зазевался — катастрофа. Но Байжан сейчас так работает, что я на него по-настоящему и рассердиться не могу. Не об этом теперь речь, а вот что нужно делать мне, посоветуйте.

— Что делать?—усмехнулся Рахмет.—Строить надо, временную плотину надо возводить, но вопрос упирается в людей. Нет у нас людей! Вот мы и решили создать специальную дополнительную бригаду из старух и инвалидов. Этим мне придется заняться как только я приеду. Как вы, Анатолий Кондратьевич, отнесетесь к тому, если мы поставим Сырбая бригадиром? Выдержит он? Как вы думаете?

— Выдержит ли? — переспросил Анатолий Кондратьевич.— Он все выдержит! Это такой старик...

Уснули они только на рассвете.

Когда Рахмет проснулся, Анатолия Кондратьевича в комнате уже не было. Вернулся он только через час и сильно расстроенным. В бюро погоды ему сказали, что в горах, где берет свое начало Сыр-Дарья, прошли сильные ливни; следует ожидать большого разлива реки.

— Значит, все дело в шлюзе, — сказал Анатолий Кондратьевич.— Последнее время я был так занят, что даже не было времени поехать посмотреть. А там все в порядке?

— Как будто в полном порядке. Требуются, правда, кое-какие достройки, но это уж детали.

— Значит, шлюз может задержать половодье?

— Вполне, — улыбнулся его вопросу секретарь.

— Вот вы улыбаетесь, — обиделся Полевой, — а знаете ли, что вся наша работа пойдет прахом, вода все размоет, все снесет, если что не так.

— Нет, нет! Все будет в порядке. Иначе я бы не сидел здесь.

— И все-таки нужно быстрее укреплять котерме, что на «Жиланшике». Начнется весна — все силы будут переключены на прокладку канала и опять никто ничего не сделает. Вы вот что, пожалуй: возьмите Сырбая, привезите его вместе с бригадой к оврагу и пусть он на ваших же глазах начнет работать. Хорошо?

— Хорошо.

В «Жиланшик» секретарь приехал поздно вечером и остановился в избушке сторожа.

— Приведи-ка ко мне Сырбая, — попросил он.

— Да ведь он спит, — сказал сторож. — Еще рассердится, пожалуй. Он старик с характером.

— Он сейчас у меня, как встрепанный вскочит,— улыбнулся Рахмет.— Поди и скажи: разлилась река, все поля затопила, все снесло. Он босиком будет тут...

— Так и сказать?— обрадовался сторож.

— Что ты, что ты!— замахал руками Рахмет.— Этак у него разрыв сердца получится. Нет, просто привези его сюда.

Но сторож был шутник. К тому же с Сырбаем они были погодками, часто шутили друг над другом, а в последний раз Сырбай так забавно пошутил над своим старым товарищем, что тот до сих пор не мог придумать, как бы ему отыграться.

Он добежал до избушки Сырбая и стал барабанить в дверь кулаками.

— Скорее, скорее!— кричал он, задыхаясь.

Вышла Тарбия.

— Что такое?— спросила она испуганно.

— Аксакал дома?— крикнул гонец.

— Что такое, что случилось?— подал голос из другой комнаты Сырбай и, как был в одном белье бросился к двери.

— Сыр-Дарья вышла из берегов,— сказал гонец, а для большего эффекта охнул и схватился за сердце.

Сырбай вцепился в его плечо.

— Кто тебе сказал?— крикнул он.

— Райком сказал.

— Рахмет?— совсем испугался Сырбай.

— Он, он, он самый, только что приехал с Сыр-Дарьи. Так волнуется, что на месте не сидит. Пришла телеграмма, что залило Ташкент, и вода идет сюда?

— Да нет, ты шутишь?— отмахнулся от него Сырбай.

— Что я, сумасшедший, что ли?— обиделся гонец.— Была неволя у меня скакать за тобой в этакую темь. Рахмет строго приказал — веди, мол, сюда Сырбая со всей его бригадой, пусть он возьмет с собой всех, кто еще способен кетмень держать в руках.

— Тарбия,— крикнул Сырбай,— пока я буду оседлывать коня, ты собери мне...

И он быстро назвал шесть фамилий.

До «Жиланшика» доскакали они утром.

Рахмет еще мирно спал, когда в его комнату ворвался Сырбай.

— Что такое? — спросил он зевая. — Ах, это ты, Сырбай, а что так, ни свет ни заря? Случилось разве что?

Сырбай поглядел на его сонное лицо, на недоумевающие глаза и накинулся на сторожа.

— Ты с ума сошел! — кричал он. — Ты чем шутишь? Вода ушла, говоришь? Вода ушла, значит, и жизнь наша ушла. Понимаешь это?

Только с большим трудом Рахмет успокоил старика.

Через несколько часов прискакал второй секретарь райкома, Калакай и еще несколько человек.

Когда все разъяснилось, когда Сырбай рассмеялся и стал разговаривать мирно и тепло, Рахмет предложил ему стать бригадиром на постройке новой плотины.

— Нет, сынок, — сказал Сырбай, — бригадиром я не буду, работы у меня всякой и так хватает. А вот помочь — помогу.

Так и не понял никто, что случилось со стариком. Почему он первым занялся сбором материала для плотины, а теперь вдруг, когда все уже было сделано, вдруг отступил? Впрочем, об этом много и не говорили: всем было известно, что старик часто чудит.

Глава двадцать седьмая

ВОДА ИДЕТ

КОГДА Анатолий Кондратьевич пришел в обком, секретарь подал ему телеграмму. Правительство и Центральный Комитет партии Казахстана поздравляли с успешным завершением работ первой очереди строительства канала имени Сталина. При этом они сообщали состав Правительственной комиссии по приемке строительных и монтажных работ. В числе пятнадцати членов комиссии были Анатолий Кондратьевич, Сырбай и Рахмет.

— Позвольте, — сказал секретарь, — и мне пожать вам руку. Благодарю вас от своего имени и от имени всех трудящихся области! Вот она — ваша работа. Есть на что посмотреть.

Секретарь встал, подошел к длинному столу, за кото-

рым происходили заседания, взял тяжелый альбом, переплетенный в кожу, и, держа его в руке, сказал:

— Это подарок мы готовим стране!

На альбоме золотое тиснение: «Строительство канала имени Сталина» и герб республики.

Секретарь открыл альбом. Первые страницы были заняты портретами вождей, а дальше шел раздел: «На старой Сыр-Дарье».

На картонных толстых листах с золотым обрезом были наклеены снимки, относящиеся к патриархальному прошлому Казахстана.

— О, — воскликнул Анатолий Кондратьевич, — откуда у вас эта древность.

— Их отыскал и принес уполномоченный Союзфото по нашей области.

— Интересно, — улыбнулся Анатолий Кондратьевич. — А он не сказал вам, откуда к нему попали эти снимки?

— Нет, не помню, чтобы говорил, — сказал секретарь обкома. — А что?

— А то, что я могу вам сказать — откуда. Однажды ко мне явился один из фотокорреспондентов и попросил просмотреть фотоматериалы, относящиеся к первой ирригационной экспедиции в Голодной степи. Помню: я спросил — зачем, он ответил, что они нужны для иллюстрации ученого труда по истории мелиорации в Средней Азии. Ну, я и дал свои картоны. Оказывается, — вон куда попали мои снимки!

— Ну, ничего, — сказал секретарь, — зато теперь мы заказали Союзфото пять роскошных экземпляров альбома и распределяем их так: один экземпляр лично товарищу Сталину, другой ЦК КП(б)К ,третий — будет находиться у нас в обкоме, четвертый — мы подарим клубу колхоза «Кен-Тогай», ну, а пятый — преподнесем вам.

— Спасибо, большое спасибо, — сказал растроганно Анатолий Кондратьевич. — Это, действительно, драгоценный подарок.— Немного подумав, он добавил: — Вот вам и роман не надо писать — он уже написан. Его бы следовало озаглавить: «Вода и песок».

— Правильно!—сказал секретарь.— Написан уж наш роман, Анатолий Кондратьевич, написан! Будем ждать,

что скажет критика! — и обнял Анатолия Кондратьевича за плечи.

— А сейчас идемте ужинать.

* * *

Комиссия стала съезжаться на другой день. Рахмет и Байжан приехали по железной дороге, но Сырбая с ними не было. Рахмет на вопрос о нем сначала махнул рукой, а потом сел и начал раздраженно рассказывать.

— Я просто отказываюсь с ним говорить. Потому не приехал, что, видишь ли, обиделся на Айбаршу. Отвечает сквозь зубы, да этак недовольно, бранчливо, словно ругается! Ну, что ж, я пробыл у него с час и уехал, не в ножки же кланяться!

— А как он работает? — спросил секретарь.

— В том-то и беда, что и работает неладно. Я-то сам у него не был, дождик помешал, а вот послушал рассказы, так и руками развел. Что-то неладное с ним творится.

— А именно?

— Делает он все как-то не по-людски. Например, начал рис засевать прямо на целине. Кто же так делает? Рис на таких участках не вырастает. Говорят ему, а он рукой машет. Второе: держит он семена риса в воде чуть ли не полмесяца, а ведь известно, семена опускаются в воду за день до высева. В середине зимы еще лучше придумал: открыл шлюзы и затопил свое поле. Я в это время был в Алма-Ата и ничего не знал. По приезде спрашиваю. Он только улыбается. Говорит: «Ничего, от этого большая польза будет». Я говорю: «Какая же польза? Вы возьмите любое руководство по агрономии». Он опять только смеется. А вот вчера Калакай рассказал: — старик приказал поливать еще нераспаханную целину.

— Не может быть! — озлился секретарь. — Врет твой Калакай.

— И я тоже думаю, что врет. Хотел сам поехать посмотреть, да вызов ваш получил. Звал с собой старика, он и слушать не хочет. «Не могу» и все. Ну, что ж, не в ножки же мне ему падать!

— Нехорошо, — покачал головой секретарь.

— Вот то-то, что нехорошо, — сказал Рахмет. — А уж

как я надеялся на этого старика, как выдвигал его, а теперь не знаю, что делать, хоть с работы сейчас снимай.

— Нет, нет, — энергично закачал головой секретарь.—Надо проверить все. Расспросить его, как и почему. Может, старик и прав. Не верю я, чтобы он так с бухты-барахты своевольничал. Вот что мы сделаем! Пошлем к нему Анатолия Кондратьевича. Они ведь друзья, так пусть поговорят. Его-то уж он не прогонит.

Так и сделали.

Сырбай в дружбу верил крепко, да встречался с ней редко. Вот однажды ему попался в руки двухтомник Абая. Он заставил Даулета прочитать вслух ему всю книгу. Абай много говорил о дружбе, но часто выражался так:

И в дружбе, и в вражде разочарован я.

Или еще:

Друзья, родные милые мои, —
Коварны вы, двуличны и неверны.

Или, наконец:

И нету у меня ни друга, ни любимой.

Сырбай слушал эти горестные признания и качал головой.

— Ай, ай-ай! Плохо было старику! Совсем было плохо ему.— Он искренне жалел Абая. Когда же Даулет прочел:

Скотам бесчувственным я уподоблю тех,
В ком ненависть к другим — единая заслуга.
Когда иных лишаешься утех,
В жене своей ты обретаешь друга.

— Ах, как это верно, — говорил старик, — именно друг и какой еще друг!

Когда же его спрашивали, каким должен быть, по его мнению, истинный друг, он отвечал словами неизвестного акына:

Дружи лишь с тем, кто настоящий друг,
Кто денежных не требует услуг.
Когда ж позорные он переносит вести,
То как с таким дышать ты можешь вместе?

За семьдесят лет только один друг и нашелся у Сырбая — Анатолий Кондратьевич. От него он никаких тайн не имел.

Его-то и послали проведать старика.

— Слушай, я тебе все толком расскажу, — сказал Сырбай в ответ на его расспросы.—Вот пристали ко мне, зачем я на целине рис высеваю? А ведь очень просто. Целины бояться нечего. Ее потому боятся, что почва распаханной целины твердая и неподатливая, ну, а если ее распылить, так разве она не даст урожая? Вот посмотри-ка, какой рис у меня взойдет на такой целине. Теперь второе дело. Зачем я зимой обводнил свой участок? А тоже очень просто. Спросить их, зачем они зимой снег задерживают? Чтобы влага лучше впиталась. А в эту зиму, как нарочно, снега было мало, да и растаял он рано. Вот я и выпустил весенние воды.

— Это хорошо, аксакал, — сказал Анатолий Кондратьевич. — А вот зачем ты полил нераспаханную целину?

— Ага, там, наверное, подумали: совсем старик рехнулся,—криво усмехнулся Сырбай.—Нет, тут особое дело. Вот, слушай-ка, в своей жизни я семь или восемь раз видел большой разлив Дарьи. И вот что замечательно. Как река должна разлиться, прежде всего, чувствуют это мыши. Все грызуны прибрежной стороны покидают свои норы и идут в степи. Там они и селятся. Да это и ты, наверное, видел.

— Видел, видел, конечно, — сказал Анатолий Кондратьевич.

— И вот, представь себе, смотрю: только что вспахали, только что заборонили землю, а мыши уже везде норки понарыли. Где же по земле борона еще не прошла, там они не селятся, бороны боятся. Ну я и понял: ожидают мыши разлива. Что поделаешь, каждый свою пользу блюдет и я ее соблюл. Набрал я ребятишек, да и приказал очистить норки от земляных насыпей, так чтобы одна чистая дыра оставалась. А потом взял, да и выпустил воду на степь. Да еще какую — ледяную воду! И все обложил соломой, а потом зажег ее. Догадался и собак выпустить. Ну, вот и вышло так: некоторые мыши сгорели, некоторые в дыму задохлись, часть их собаки съели или задушили, а часть вода залила. Двое суток воду на полях держали, чтобы все кругом очистить.

— Молодец, аксакал, — сказал Анатолий Кондратьевич. — Вот оно, оказывается, в чем дело.

— Но мыши-то — это полбеды, а вот другой есть зверь. Пока его не видать, а придет сюда — беда будет.

— Что же это за зверек?

— Не дай бог, что за зверь! — покачал головой Сырбай. — Величиной с кошку, морда длинная, щетинистая. У нас его называют «Егеу-куйрык». А как он по-вашему зовется — не знаю.

— Сейчас я покажу тебе этого зверя, — сказал Анатолий Кондратьевич. Он вытащил из полевой сумки брошюру «Борьба с вредителями риса» и ткнул пальцем в многокрасочную обложку. «Егеу-куйрык», большой, зубастый, злой, был нарисован на колосе риса.

— Вот, вот, он самый! — обрадовался Сырбай, тыча пальцем в страшного зверя. — Как он по-вашему называется?

— По-научному это «Крыса Карако».

— Ну-ка, прочитай мне про нее.

И только Анатолий Кондратьевич стал читать, как Сырбай перебил его.

— Точно! Резцы такие, что бриться ими можно, обоюдоострые, как кинжал. С размаху они срезают стебель толщиной в палец. А норы роет эта крыса обязательно на холмах и буграх, так что нора не вниз, а вверх идет. Поселится пара таких шайтанов и так пойдет плодиться, что... — Сырбай махнул рукой.

— Да, это так, — улыбнулся Анатолий Кондратьевич. — За лето они три раза приносят детенышей и каждый раз по девяти штук. Учитывая скорость, с которой растет молодь, можно высчитать, что за год от одной пары крыс расплодится пятьсот-шестьсот взрослых особей. Это значит, в свою очередь, вот что: если на одном гектаре риса завелись пятьдесят крысиных нор, то за год съедят эти пятьдесят семейств пятьдесят же гектаров посева.

— Боже ты мой! — воскликнул Сырбай с каким-то суеверным ужасом.

— Ужасаться этого пока нечего. Во-первых, у этой крысы много врагов — ласки, собаки. Они их поедают сотнями. Во-вторых, здесь и крыс-то этих еще нет.

— Нет, нет, то есть пока нет. Я смотрю за этим. Каждый день все поле осматриваю, нет ли в каком-ни-

будь бугорочке норы снизу вверх. И еще, еще одного врага я боюсь. Это саранчи. Если не заметить да не уничтожить ее во-время, она пожрет посевы чище проклятого Карако.

— Ничего, сейчас осоавиахимовские отряды работают. Они саранче и появиться не дадут. Ну, хорошо. Последний вопрос: зачем ты замачивал зерно задолго до посева?

— Я так плохое зерно от хорошего отобрал. Плохое наверх всплывает, а хорошее остается внизу. Зерно не стал сушить на солнце, а соорудил высокий навес, устлал землю камышом и рассыпал по нему зерно. Солнце, значит, его не сушит, только легкий ветерок и продувает. Это для зерна очень полезно. Я каждый день его перелопачиваю. Ну, вот и все.

Анатолий Кондратьевич покачал головой.

— Смотри, аксакал, — предупредил он, — большой риск себе на плечи берешь.

— Знаю, — сказал Сырбай, — но я так решил: либо выращу такой урожай, какого еще и не видывали, либо вообще больше никогда за лопату не возьмусь. Не рискнешь — не выиграешь.

— Это, конечно, правильно, — согласился Анатолий Кондратьевич. — Ну, ладно. С этим покончено. Теперь скажите, что это вы с Рахметом не поделили? Ведь такие приятели были! Чем он тебе не угодил?

— А тем он мне не угодил, — сердито ответил Сырбай, — что я сам человек открытый, бесхитростный и от других хочу того же. А он, видишь ли, петлять начал, с Калакаем и Айбаршой спутался. Для чего? Не знаю! То ли их сторону держит, то ли глаза мне хочет замазать. Но как бы там ни было, все равно нехорошо это. Так друзья не поступают. Ну, а я человек такой: если мне кто раз соврал, я с ним больше ни разу разговаривать не стану. Вот и все.

— Так! Понятно! Ну, а какие у вас отношения с невесткой?

— А с невесткой вот что. Я ее сначала и видеть не хотел. Она со мной здоровается, а я лицо отворачиваю. Однажды получил письмо от сына. Пишет мне Даулет: «Очень меня убивает, отец, твое обращение с Айбаршой. Расписывать долго некогда, да и не для письма все

это, — но только я знаю: ее оклеветали, а ты поверил. Если хочешь, чтобы я был спокоен и весел, обращайся с ней снова, как с дочерью». Ну, что поделаешь? Не больно мне все это по вкусу, да ведь как сына обидеть? Как раз в это время приезжает начальник отделения НКВД. Я его вот еще каким знал (Сырбай присел и показал рукой, каким маленьким был тогда этот начальник, когда Сырбай увидел его первый раз). Парень хороший, честный, к старости почтительный. Я таких люблю. — Здорово, говорит, аксакал.—Здорово, говорю, сынок, коль не шутишь.—А какие шутки, говорит. Вот невестку к тебе привел. Ты, слышал я, на глаза ее к себе не пускаешь, а она не виновата.— А кто ж, спрашиваю виноват? — Виноват Тыртык.— Это как же так? — Это он письма писал. А ты знаешь, что с ним сделали? — и щелкает себя по виску. — Это за что же, спрашиваю. — У него, говорят, такие дела были, что их и не расскажешь. Военная коллегия судила — сам должен понимать, за что военная коллегия судит. А с дочкой мирись, мирись, нечего вам друг на друга дуться. И без этого ей нелегко живется... Ну, посмотрел я на Айбаршу, а она стоит, плачет и ко мне тянется. Жалко мне ее стало. Ну, ладно, говорю,—кто старое помянет, тому глаз вон. Так мы и помирились.

* * *

Наступил день открытия шлюза. Заранее была продумана вся программа торжества. Собрание открывалось словом Анатолия Кондратьевича. Затем с докладом выступал Байжан Бекбосынов. Его речь транслировалась по радио. После этого открывается шлюз, и вода течет в степь. Первый шлюз, головной, открывает Сырбай, остальные — лучшие стахановцы строительства.

Сырбай стоит на кирпичной кладке шлюза. С одной стороны под ним теснился народ, реяли красные знамена, блестела медь оркестра. А дальше — расстилалась степь. Такая широкая, такая безжизненная, однообразная, такая серая, тусклая была она, что глаз слипался, если он долго смотрел вдаль. Сырбай отвернулся и посмотрел налево. Он видел огромные бетонированные норы, похожие на каменные подземные коридоры. Они бежали в эту пустыню и терялись в ней. Как будто какой-то гигантский зверь с железными ногтями прорыл каменную скалу.

И снова Сырбай смотрел вдаль: степь, одна голодная, мертвая степь. Всю жизнь провел старик здесь. И постоянно у него было мучительное чувство неудовлетворенности. Ведь кто-кто, а он-то знал, что если бы удалось напоить эти огромные, безводные пространства, то не было бы таких цветов, таких плодов и таких густых причудливых рощ, которые не взрастил бы здесь человек. Вся жизнь Сырбая прошла в том, что он прокапывал то один арык, то другой, открывая воде доступ в разные уголки пустыни. Куда попадала вода, там над мертвой землей этой рос рис, поднималась пшеница, просо, кое-где выглядывали из обожженной земли степные чахоточные цветы. О деревьях и садах, конечно, он мог только мечтать. А вот теперь мечта его исполнилась — в степь хлынет вода. Так он стоял неподвижно, задумавшийся, забывший про все и очнулся лишь только тогда, когда к нему подошел председатель Правительственной комиссии и сказал:

— Ну, что ж, аксакал, пора.

— Да, да, пора. — Старик сошел со своего возвышения, подошел к механической двери шлюза, положил на нее руку и, открывая ее, крикнул:

— Вода идет в степь!

Все повторили за ним:

— Идет вода! Вода идет в степь!

Во все уголки мира радио донесло весть о том, что еще одним желтым, бесформенным пятном стало меньше на великой карте Советского Союза, что еще в одной пустыне расцветут весной яблони, нальются виноградники, вспыхнут цветы.

Глава двадцать восьмая

МОЛОДЫЕ ПОРОСЛИ

— НЕТ, милый мой, ты уж со мной не спорь, — говорил Сырбай. — У всякого живого законы одни и те же. Вот, например, ребенок толстенький, розовый, полные ручки и ножки, глазенки веселые и волосы блестящие, —

значит, у матери молока много. Другой — черный, как грачонок, живот, как тыква, ноги, что кривые саксаулины, — значит, ухода нет и мать голодует. Правду я говорю или нет?

— Правда, конечно, — отвечал слушатель несколько изумленно. Он не понимал еще, к чему заговорил старик о ребенке.

— А коли правда, то и дальше слушай. Земля — тоже мать. Посевы — дети. Коли мать сыта, то и дети родятся хорошие. Вот и надо накормить землю, чтобы она уродила.

До сих пор Сырбай знал только один способ кормления земли, это — унавозить ее получше, а вот на седьмом десятке удалось ему узнать и кое-что новое.

Рассказала об этом новом Наталья Полещук. Она была лучшей ударницей его звена, и старик нередко поверял ей свои планы. Часто они были дельными, иногда сомнительными и сумасбродными, но Наталья (она к этому времени уже научилась порядочно говорить по-казахски) все равно согласно кивала головой, поддакивала. Она знала: старика-то все равно не переспоришь. А между тем поспорить с ним она бы могла. Еще в Киеве, параллельно с учебой в пединституте, Наташа поступила вольной слушательницей в сельскохозяйственный институт. Пожалуй, она и закончила бы его, если бы не война.

Приехав сюда и устроившись в колхозе, она под разными предлогами не пошла учительствовать в колхозную школу, а стала работать рядовой колхозницей. За это ее пуще всего и полюбил Сырбай. Скоро она окончила краткосрочные курсы рисоводов и стала настоящим специалистом.

На эти курсы должен был бы поехать Сырбай, но он отказался.

— Передайте Рахмету,—сказал он,—что я уже старик, чтобы учиться. С меня хватит и того ума, что я скопил за семьдесят лет. А вот помощница моя пусть едет, ей поучиться не мешает.

Решили послать Наталью.

Старик, правда, несколько опасался, как бы, приехав с курсов, она не стала задирать перед ним нос, не стала бы соваться в его дела. Но Наталья свое место помнила, старика уважала и уступала ему попрежнему.

— К нему нужен подход особый,— говорила она Айбарше.— Так его не возьмешь. Сначала, когда я приехала, он мне показался старым дубом или столетним тополем, а он не дуб и не тополь, а тысячелетний саксаул, что вырос в пустыне.

— Какая же разница?— спрашивала, смеясь, Айбарша.— И то, и другое дерево.

— Да деревья-то разные — в этом вся и суть! Дуб весь на глазах, глубже пяти метров в землю он никак не проникает, а саксаул корнями на пятьдесят метров под землей сидит. Оно и понятно почему: в наших степях да в лесах грунтовые воды у самой поверхности текут, а в ваших пустынях, чтобы до воды добраться, нужно под землю на пятьдесят метров уйти. Вот я и хочу сказать — глубоко, глубоко ушел в себя старик. Слился со степью своей в одно и стал мудр, как эта степь. Все он знает. Кажется, по камню ударит и из камня вода потечет. Он еще когда Сыр-Дарью взнуздал! Между тем, попробуй-ка, покачни его! Пусть он отречется хотя от какого-нибудь одного из своих суеверий. Нет! Он корнями ушел в столетья, ему часто и наша наука — не наука. В этом-то все и дело.

И она была права. Во многих вопросах Сырбай был наивен, как ребенок, но упрямства у него хоть отбавляй.

Из всех культур, взращенных человеком, он уважал больше всего рис. Когда его подводили к другим колхозным посевам, он смотрел и качал головой. «Это хорошо, но лучше бы, конечно, если бы здесь росли не пшеница или рожь, а рис!» Он знал, что для получения хорошего урожая нужны хорошая земля, много воды и обильное удобрение. И землю он пахал старательно, глубоко, а воды ему всегда хватало. Значит, дело было за удобрениями.

Несколько раз ему приходилось слышать, что, кроме навоза, существуют и другие удобрения — химикаты, как называл их Калакай, но Сырбай только головой качал: «Аммиак, аммоний, уж больно непривычны для нашего уха эти названия».

— Я о них и слышать не хочу,— говорил он.— Семьдесят лет без аммиака хлеб ем, авось и сейчас обойдусь.

И обошелся бы, наверное, если бы не Наталья. Вернувшись с курсов, она привезла и вывалила около участка Сырбая несколько бочек этих удобрений.

Сырбай сначала хмурился и делал вид, что не замечает этих бочек, а потом, когда Наталья обратилась к нему с прямой просьбой разрешить использовать удобрения, махнул рукой.

— На твое усмотрение, дочка,— сказал он.— Посмотрим, какой рис из твоих порошочков вырастет! Объясника сначала, что это за порошки.

Наталья рассказала, что она привезла с собой сульфаты, то есть препараты трех химических элементов: азота, фосфора и калия. Добываются эти вещества из соли, что отложилась на месте бывших морей и океанов. Моря высохли сотни миллионов лет тому назад, а соль от них осталась.

Наталья далее рассказала ему, что в Советском Союзе таких залежей много. Впервые соли эти подметили рыбаки у берегов Камы, но прошло немного лет и где-то возле Каспийского моря, в заливе Кара-Бугаз, ученые обнаружили такие залежи сульфата, что их хватит на сотни лет. Подобрав понятные слова, Наталья объяснила Сырбаю и технику добычи этой соли.

Потом она подвела Сырбая к бочке, наполненной суперфосфатом.

Вот эта белесая, сыпучая, сухая глина содержит много фосфора, а без фосфора вообще невозможен рост никакой клетки. Этот фосфор содержится как в растениях, так и в нас самих, все кости у человека пропитаны фосфором. Для жизни человека и прорастания семян нужны одинаковые питательные вещества. Старик слушал и согласно кивал головой. Ему, который всю природу признавал как один целостный живой организм, эти рассуждения были очень близки, и он обрадовался, когда услышал, что Наталья думает так же.

— Вот, вот,— сказал он возбужденно.— Я это же и говорю. Мать плохая — и ребенок у нее заморенный, худой. Земля плохая — и посевы на ней плохие. Все мы одной земли дети.

Но Наталья тут сказала, что химикаты—это не навоз, химическими удобрениями нужно уметь пользоваться. Разбрасывать их кое-как нельзя — все пропадет.

— А как же?— спросил Сырбай.

Наталья пояснила, что эти вещества следует сначала смешать друг с другом, только потом посыпать ими пашу

ню. У каждого вещества свои особые свойства. Если разбросать, например, один азот, вырастет стебель длинный да тонкий, а колос и совсем может не завязаться. Фосфор же на целину и вовсе кидать не следует.

— Та-а-ак!—протянул Сырбай.—Выходит, что после курсов ты все на свете знаешь. Кто же тебя этому научил?

— Преподавателем по почвоведению был у нас Калакай Артыков,— уклончиво ответила Наталья.

— Вот оно что,— задумчиво прошептал Сырбай и умолк.

Наталья так и не поняла того странного выражения лица, с которым старик произнес: «Вот оно что!»

Но Наталья, оказывается, понимала толк не только в удобрениях. Однажды она спросила Сырбая:

— Что за рис мы будем высевать?

— Рис, как рис,— удивился старик.— Рис здесь всюду один. Только у меня отборный он.

— А вот нас учили,— бойко сказала Наталья,— что существует пятьдесят сортов риса. Вот слушайте-ка...— Она стала быстро загибать один палец за другим.

— Э, нет, голубка,— прервал ее Сырбай.— Что мне слушать все это, когда наша земля родит только три сорта: «Дунган-шалы», «Кыр-мызы-кышлыки» и «Карақылтык». Эти пятьдесят сортов нам здесь ни к чему.

Перед вспашкой приступили к удобрению. Первой шла Наталья. Рот у нее и нос были повязаны платком, сзади же с повязанными ртами шли колхозники. Они доставали из мешков горсти белого порошка и бросали его на землю. Чертыхаясь и кашляя, последним шел Сырбай. Он не пожелал закутать лицо.

После разброски удобрения поля стояли белыми, как после снегопада. Сырбай смотрел на них и качал головой: «Не тот вид у пашни, совсем не тот».

Подошло время посева. Высевал рис Сырбай собственноручно. Тут он ничего никому не доверял.

— Сеять рис — дело хитрое,— говорил он.— Рис любит, чтобы с ним обращались, как с малым ребенком. Вон какой-то умник предложил его с самолета сеять, ну и что же? Кидали, кидали добро в воздух, да и остались с пустыми полями: ничего не взошло на них. Рис — растение нежное, хрупкое, он и сеялку даже не признаёт.

Это тебе не пшеница. Вот потрудись над ним, тогда он даст урожай. А ты посмотри — ростки-то какие у него! Видела пух филина, которым наши ребята украшают себе шапки? А всходы риса и еще мягче. Попробуй-ка, разбросай семена машиной. Ты вот курсы кончила, а скажи, как бы ты его стала сеять? Небось, прямо в сухую землю семена бросала бы? Да?

— Нет,— сказала Наталья,— перед посадкой на поля выпускают чистую воду так, чтобы она покрыла их на десять сантиметров.

— Воду, говоришь!— улыбнулся Сырбай.— Еще и чистую воду, наверное, ты выпустила бы. Вот и выходит, что дай тебе сеять, ты и погубишь все. А еще на рисовода училась! Рис, дочка, сеется во взмученной воде, даже в жидкой грязи. Только такую легкую почву и пробивают его нежные ростки. Вот, подожди, посмотришь, как я сеять буду.

И Наталья увидела. Это было любопытное зрелище.

Сначала Сырбай распрудил арыки и залил поля, потом пошел в колхоз и привел дряхлого одноглазого верблюда. Он понимал Сырбая: старый верблюд был умен и опытен. Он бороновал здесь землю и привык ко всем командам Сырбая. Вот и ходили два старика целый день по грязи, месили ее до тех пор, пока все десять гектаров не обратились в болотистую жижу. Только после этого Сырбай приступил к севу.

Посеял, подождал несколько дней. Потом отвел воду и дал земле однодневную передышку. Через день снова открыл все арыки и затопил поля. Всходы, которые появились через некоторое время, были так тонки и слабы, что гибли от первого неосторожного прикосновения. Сырбай ходил вокруг них, беспокойно мотал головой и повторял: «Лишь бы ветер не подул. Да! Лишь бы не подул ветер. Как пойдут по участку бегать волны, так и оторвутся стебельки от корней». В такие минуты он любил повторять: среди скота самый нежный — верблюжонок, среди растений — самое нежное — рисовый росток.

Веря, что это действительно так, Сырбай и ночью не спал. Он, как верный страж, ни на час не оставлял свое поле.

Однажды ночью Сырбай вбежал в землянку своего звена и крикнул:

— Беда, беда! Вставайте скорее!

Он кричал так, что всполошил всех. Не ожидая вопросов, он кричал:— водяные змеи — «Аб-жалки!» Скорее! Иначе они сожрут все наши всходы. Скорее, скорее!

И, не дав как следует одеться, он погнал людей на участок. Началась борьба. Верно, «Аб-жалки» — ужей было много. Их гнали лопатами, били палками, просто ловили руками и выбрасывали.

Дней через двадцать, когда молодые всходы окрепли, начал завязываться колос. Сырбай смотрел на колосья риса, потирая руки, и радостно повторял:

— Вот это дело! Будем живы, так поедим рису! Вон какой рис нам земля уродит — высокий да дружный.— И он ласково смотрел на Наталью.— Значит, верно, доченька, помогли твои белые порошочки.

В ожидании урожая Сырбай начал снова исполнять обязанности мираба. Ходил по колхозным полям, открывал и закрывал арыки, регулировал подачу воды. И вот за последнее время он стал что-то уж очень часто встречать Калакая на своих полях. И не одного Калакая, а и Наталью с ним рядом. Сырбай сразу понял все. Калакай не такой парень, чтобы зря тут крутиться. Видел Сырбай, что и Наталье нравится молодой, красивый и образованный агроном.

Однажды ночью шел Сырбай по полю. Ночь была лунной, светлой, и старик издалека еще заметил: сидят на холмике обнявшись две фигуры и о чем-то тихо разговаривают.

Сырбай подошел ближе и крикнул:

— Эй, кто тут?

Обе фигуры быстро вскочили. Женщина закрыла лицо руками, мужчина же схватил ее за руку и потащил за собой.

— Да ты постой, не беги!— крикнул Сырбай вдогонку.— Слышишь, Калакай! От меня ты ведь не убежишь. Нарбата, держи его крепче за руку, а то у него пятки сами от земли отскакивают.

Он подошел, положил Калакаю руку на плечо и глубоко заглянул в глаза.

—Смотри, Калакай,—сказал он,—теперь уж я тебя добром не оставлю, не дай бог, что случится, эта русская девушка все равно, что моя дочка. Заруби себе это на носу!

— Нет, нет, аксакал,— заторопился Калакай.— Что вы, что вы? Мы уже обо всем сговорились,— и он обнял Наталью за плечи.

— Парень уж ты больно не надежный,— сказал Сырбай. — Ишь ты, новые сапоги, галстук, хорошие брюки одел, щеголяешь, крутишь девушке голову...

— Благословите нас, аксакал,— попросил вдруг Калакай.

— В поле благословенья не просят,— сурово сказал Сырбай Калакаю.— Обычаев, что ли, наших не знаешь? Ну-ка, вставай, пойдем, посмотрим наш участок.

Сырбай впереди, а Наташа и Калакай сзади.

— Вот уж посев, так посев!— говорил Сырбай, оглядывая поле.— Спасибо, дочка! Видно пригодились и твои порошочки. Семьдесят лет на свете живу, а таких дружных всходов еще не видел. А то самолеты! Рис, как ребенок, он любит руку бережную, ласковую.— Он повернулся к Калакаю.— Скажи, хорош посев? Что твоя наука говорит об этом?

— Нет, такого посева моя наука не знает,— ответил Калакай. — Самый высокий урожай, какой мы знаем,— девяносто центнеров, а тут, Наташа, сколько будет?

— Здесь не меньше ста тридцати центнеров,— сказала Наташа.

— Больше! — возразил Калакай.—Мне кажется, что тут будет больше чем сто тридцать. Вчера я тут ходил и высчитывал, сколько рису мы соберем.

— Как же ты сумел?— спросил Сырбай.

— А вот как. Известно, что плотность нормального высева пять миллионов зерен на один гектар, а колосья на вашем участке ядреные, один к одному, в каждом не меньше девяноста зерен. Вот и получится на га сто тридцать три центнера.

— Масло бы тебе в рот,— счастливо улыбнулся Сырбай.

— Я говорю — минимум сто тридцать три центнера,— возбужденно крикнул Калакай.— А то и все сто сорок будут.

— Ладно, пусть уж будет сто тридцать три,— великодушно согласился Сырбай.— Не будем жадными. Знаешь, старики говорят: «Коли овца принесет двух ягнят, поля тогда травы дойные родят». Хватит нам и ста

тридцати трех центнеров риса для будущих тоев и для будущих свадеб наших.

Калакай и Наталья переглянулись.

— А коли риса хватит, то на этой свадьбе баранью голову будете вы кушать, аксакал! — сказал Калакай.

— Еще бы,— отозвался Сырбай.— Еще бы я не кушал на твоей свадьбе баранью голову. Ведь Нарбата — дочь моя.

Глава двадцать девятая

ПОДАРКИ

С ДАВНИХ ПОР односельчане величали Сырбая великим упрямцем. Если старик заберет себе что-нибудь в башку, то его никак не переубедишь. Позовут Сырбая, например, на свадьбу или на похороны к богатею, он ни за что не пойдет. «Я бедняк,— скажет он,— у меня и одеться не во что и принести в подарок нечего. Таких, как я, на свадьбу не зовут». И тогда как ни проси, ни за что не уступит.

Рахмет этой черты его характера еще не знал и потому можно себе представить, как он был неприятно поражен, когда Сырбай вдруг отказался сопровождать эшелон с подарками на фронт.

— Нет, с пустыми руками я на фронт не поеду,— ответил он коротко. А когда Рахмет стал ему говорить, что привезти этот эшелон на фронт отнюдь не значит приехать с пустыми руками, что один колхоз «Кен-Тогай» посылает семьдесят пять гусей, двести пятьдесят уток, тридцать пудов копченой рыбы, сто бараньих туш, пять ящиков сушеных дынь, Сырбай спросил:

— А рису сколько?

— Пятьдесят мешков,— ответил Рахмет.

— Вот то-то и оно,— покачал головой Сырбай.— Ты пойми, сынок, я не выращиваю ни дынь, ни гусей,— все это не мое,— рисовод я! Вот и скажут там: «Э, видно, каков хозяин, таково и хозяйство его». И мне будет стыдно. Я не поеду.

Как ни уговаривали его, уперся как бык и не поехал. Но в начале следующей зимы, когда Рахмет снова повторил свое предложение и сказал, что ехать придется в Сталинград, старик даже руками всплеснул.

С начала войны Сырбай только два названия и знал — Москва, Ленинград. Он даже карту Европейской части СССР купил себе, повесил ее на стене и все время стрелками отмечал направление боев. Правда, кроме этих направлений, он ничего не знал: названия русских городов, сел и местечек звучали для него странно. Но вот места боев да эти две несокрушимых твердыни он помнил хорошо. Когда бывало в дни первого немецкого наступления на Москву его спрашивали: «А где, аксакал, идут сейчас бои?», он безошибочно тыкал пальцем в кружки подмосковных станций и городов. Потом его стали спрашивать о ленинградской блокаде. Отвечая тоже очень точно, он всегда прибавлял:

— Нет, этот город наши не сдадут; ведь там бьются особые люди,— и с гордостью, по слогам чеканил:— ленин-град-цы!

Однажды Айбарша обвела пальцем сталинградский плацдарм и сказала:

— Здесь теперь решается судьба войны. Вот Волга. Течет эта река на три с половиной тысячи километров, впадает в нее триста рек, она полстраны хлебом кормит. Поэтому и называют ее русские «матушкой-рекой».

— Ой, какая она большая!— воскликнул Сырбай, присматриваясь.

Айбарша объяснила далее, что если сложить все притоки Волги, ими можно будет два раза опутать земной шар.

Сырбай погладил Айбаршу по голове.

— Какая ты ученая!— похвалил он ее и задумчиво повторил. — Матушка! Значит, если немцы захватят ее, они захватят мать русского народа. Нет, русский народ никогда этого не потерпит.

— Да и мы не потерпим,— запальчиво сказала Айбарша.— Тут и казахи, и татары, и буряты, и чукчи — все поднимутся, как один.

— Все, все поднимутся,— согласился Сырбай.— Но помни, все они должны в ножки поклониться за науку русскому народу. Русский народ — наш старший брат,

мы его младшие братья. Старшему брату больше всего испытаний и выпало. Так ли, дочка?

— Так, — согласилась Айбарша.

— И я думаю, что так. Значит, русский народ — гора, а все остальные народы перед ним — пригорки... — Он опять посмотрел на карту.—Значит, вон куда уперлась проклятая звериная морда,—он ткнул пальцем в красный кружок—Сталинград.—Это город Сталина. Так, что ли, будет по-вашему?

— Так, дедушка, — подтвердила Айбарша.

— Ну, вот, видишь. Разве можно отдать город с таким именем? Не видеть им города Сталина, как своих грязных ушей.

С этого дня к двум известным названиям русских городов в лексиконе Сырбая прибавилось и третье —Сталинград.

В ноябре 1942 года Сырбай услышал радостную весть: в районе Стилинграда окружена и зажата в кольцо немецкая армия. Старик сильно обрадовался.

В тот же день его вызвал Рахмет. Речь опять шла о подарках. Секретарь райкома сказал ему, что с этим эшелоном Сырбай должен обязательно поехать, пусть не отговаривается бедностью. Его звено собрало невиданный урожай — 145 центнеров риса с гектара.

Ученые полагали, что с гектара рисовых посевов можно собрать не более ста центнеров зерна. Но и это только полагали — никто тогда не видел урожая, превышающего 80 — 90 центнеров. Вы же собрали 145! Ведь это мировой рекорд! Вы — второй знатный хлебороб нашей республики—Чаганак Берсиев и вы, Сыр-аке. Чаганак собрал сто шестьдесят центнеров проса с гектара, но вы догоните.

— Ну вот, видишь,—сразу опечалился Сырбай,—он сто шестьдесят, а я сто сорок пять.

— Ничего. Сразу изба не строится, говорят русские. Берсиев начал со ста десяти центнеров и только дошел до ста шестидесяти, а вы начнете со ста сорока пяти и дойдете до двухсот. Я слышал, вы говорили, что для проса и риса предела в урожайности нет. Так это?

— Я и сейчас скажу, что так, — кивнул головой Сырбай. — Но ты вот что скажи: ты меня хвалишь за успехи, а про моего друга Анатоля забываешь. А я так

считаю: если бы он не дал воды, то я бы не только сто сорок пять, а и сорок пять центнеров не вырастил.

— И это правда, — согласился Рахмет. — Перед Анатолием мы кругом в долгу. Всем тяжело, а ему особенно: единственная дочь у него на фронте.

— Нет, он не за дочь, он за всю нашу землю страдает крепко! — сказал Сырбай.. — Включи его в Сталинградскую делегацию. Заслужил старик.

— Да он и так уже включен, — ответил Рахмет.

— Ну, тогда другая просьба. Еще одного человека не мешало бы включить туда же.

— Кого?

— О баловнице нашей говорю я. Об Айбарше. Хотя мы с ней немного и поскандалили, ну да это давно прошло. Вижу я, как она по Даулету страдает. А Даулет-то сейчас с полком под Сталинградом стоит. Вот ты и послал бы ее туда с эшелоном, может, и повидаются, а?

— Что же, поговорю с обкомом. Сам-то я этот вопрос решить не могу, — ответил Рахмет.

— Поговори, поговори, сынок! Ничего, что двое из одной семьи поедут, они и подарков вдвое больше повезут. Скажи там в обкоме, что Сырбай ни у кого еще не выпрашивал «кеусен».

— Что, что?— не понял Рахмет.

— «Кеусен», говорю. Разве ты не знаешь, что такое «кеусен»? Вот так казах! Ну, а что такое «закят» и «усыр»?

—Ну, это-то я знаю. Это налоги, которые взимались раньше с казахов — со скота и с посева. А вот, что такое «кеусен», не слышал.

— А «кеусен» — это третий вид налога. Вот как было у нас: только что человек выплатит «закят» и «усыр», как налетят на него друзья да приятели и подавай им «кеусен»! Это то же самое, что доля с хорошей охоты.

— Понимаю, это добровольный налог...

— Ох, какой уж там добровольный! Нет, и этот не легче был тех двух. Попробуй-ка, не дай-ка гостю долю. Уедет обиженным да и проклянет тебя и твою землю на веки веков. И не будет тебе добра. Так вот я и говорю: — «кеусена» никогда Сырбай не выпрашивал. И голодный был, а не побирался! Слава богу, и на старости лет сам еще могу кое-кому подсобить. Хлеба у меня хватит!

— И куда вы только его деваете?— спросил Рахмет.

— Куда? Продаю,— спокойно ответил Сырбай.— Теперь у меня третий работник прибавился — Айбарша. У матери, мол, своя дочка теперь есть — Нарбата, она ей свою долю несет, а я —ваша дочка, значит, моя доля должна быть у вас. Спорил я с ней спорил, да и рукой махнул. Что ж, пусть несет, мы ее добро на плохое дело не используем. А ты знаешь, как она работает? Только искры из-под кетменя летят!

— Сколько вы нынче, аксакал, получили на трудодни?

— Сто семьдесят центнеров, из них продал уже сто пятьдесят.

Рахмет взглянул на него недоверчиво. Нет, старик смотрел прямо, серьезно и не улыбался.

— Не вру, сынок, не вру. Будь спокоен, ничего я тебе не вру,— сказал Сырбай.— Продаю не сам, конечно, есть у меня внучатый племянник — такой прыткий, да жукастый парень, как говорят, у кобылы на ходу подкову сорвет. Вот он и продает. А чему ты удивляешься — я тоже понимаю. Был, мол, семьдесят лет человек человеком, а на семьдесят первом с ума сошел — хлеб продает. Так ведь ты думаешь, да?

— Нет, что вы,— махнул рукой Рахмет.

— Да не «нет», а так точно. Эх, сынок, разве ты один? Сколько мне за эту мою торговлю попало! Друзья говорят: «Совсем взбесился, старый пес! Совести у тебя нет — вот что!» А другие так чуть в глаза мне не плюют. Я все молчу. Про себя я знаю и ладно. А тебе вот объясню: помнишь, в газетах пропечатали, как один колхозник внес в фонд обороны сто тысяч рублей и ему за это Сталин благодарность прислал. Помнишь или нет?

— Так это вы про Кашакпая Примова, наверно, говорите.

— Про него, про него, сынок! Вот как прочли мне эту газетку, крепко я задумался, а старуха-то мне и говорит: «Что ж думать-то, вон есть у нас в сундуке пятьдесят тысяч, отдадим их туда же. Я говорю: «Э, дорогая, нет! Он сто тысяч, а я пятьдесят внесу. Не знаешь ты своего мужа. Я с такими деньгами и мараться не стану. Подождем следующего года, а там уж я себя покажу». Прошел год, сняли мы новый урожай, получили зерно на трудо-

дни, я и говорю Айбарше: получил я сто семьдесят центнеров риса. Двадцать себе оставим, а остальные продадим. Если килограмм риса стоит шестьдесят рублей, то сколько мы получим за все сто пятьдесят центнеров? Она раз-раз карандашиком и выводит мне итог — девятьсот тысяч рублей! Хорошо, говорю, значит вносит моя семья в фонд обороны — миллион! Ну-ка, потягайся кто со мной! Вот поэтому я и сделался торговцем.

Рахмет невольно улыбнулся.

— А что? — истолковал по-своему эту улыбку старик. — Нет, нет, ты не думай, я ведь как сообразил: базар открыт, торговля свободная, цены на рис не я устанавливал. Так что же... Если бы я деньги себе в карман прятал, да дома каменные строил, ну, тогда, конечно... А теперь я чист! Правда?

— Правда, правда, аксакал. Правильно вы все рассудили,— согласился Рахмет.

— Ну, ладно, слушай дальше. Рис у меня был неочищенный, значит, для продажи не годится. Съездил я на пункт и сделал обмен. За сто пятьдесят получил сто тридцать. Но тут цены на рис поднялись. Выручил я девятьсот двадцать пять тысяч, да пятьдесят тысяч, что у меня в сундуке лежали, вот и получается девятьсот семьдесят пять. Нехватает двадцати пяти. Беру я двух волов и одного верблюжонка, гоню их на рынок. И вот в кармане у меня миллион, как одна копеечка. Хорошо?

— Очень хорошо,— похвалил Рахмет Сырбая.— Молодец вы, старик. Только как бы вам опять вторым не остаться. Вот я слышал один узбек собирается сдать миллион в фонд обороны, а они — хлопководы — люди зажиточные, на трудодни получают много. Вот бы вам обогнать его, прибавить хотя бы еще пятьдесят тысяч. Тогда бы вас уж никто не обскакал.

— Нет! Меня и так не обскачут. Я ведь еще и подарки повезу. У меня сейчас шестьдесят голов овец, так я из них двадцать на фронт. Это уж от себя лично. Захвачу еще десять центнеров риса,— мне со своей семьей шестидесяти пудов за глаза хватит. Скопил пять пудов топленого масла,— тоже отвезу! Да и девки у меня сидят, вяжут фуфайки, чулки, варежки, одной шерсти целый центнер извели. Сюда и их! Да шкурок бараньих домашней выделки на два тулупа я скопил, старуха та-

кая мастерица их выделывать, что и не найдешь такой. Сама и красит и краску эту сама из корешков вываривает. Такая краска у ней получается, что кожа истлеет, а не выцветет. Тулупы туда же! Старуха все не хотела их отдавать. «Я, говорит, их для Даукена берегу, он у меня ведь тоже фронтовик!» Еле-еле отнял. Лишь бы вернулся, говорю, благополучно, а шубу мы ему найдем...

Это было сказано таким серьезным тоном, что Рахмет громко расхохотался.

Сырбай вопросительно посмотрел на него.

— Нет, нет, ничего!— сказал Рахмет.— Это я от того, что уж больно вы замечательный человек. Ваше звено сдало в фонд обороны в полтора раза больше риса, чем два года тому назад собрал весь колхоз. И, кроме того, вы всем нам показали пример.

Он встал и обнял старика.

— Значит, дней через десять, никак не позднее, вы поедете, — добавил Рахмет. — Теперь следите за газетами. В тот день, когда узбекистанский хлопкороб сдаст свой миллион...

— Я внесу свои миллион и сто тысяч, — быстро закончил Сырбай.

— Молодец, Сыр-ake! — похвалил Рахмет. — Знай наших!

Перед прощанием Сырбай что-то задержался.

— Ты присядь-ка, сынок, еще на минутку, — сказал он Рахмету. — Мне с тобой поговорить нужно еще по одному вопросу. Ты Нарбату знаешь? Ту, которая живет у моей свахи Даметкен? — и коверкая добавил по-русски: — Полещук Наталью Остаповну.

Рахмет кивнул.

— Так вот, продолжал Сырбай уже шопотом, — ты ничего не замечал за ней? Нет? А я тебе скажу: она в Калакая влюбилась.

— Да что вы? — вскочил с места Рахмет.

— Сиди, сиди смирно. Так точно — влюбилась. Я зря не скажу. Мне уж давно сваха моя говорила, а вот я их на поле видел: сидят и обнимаются. Ну, я его взял за ухо и говорю: «Хоть ты и штаны галифе носишь и галстучек у тебя с булавкой, а смотри: коли ты шуточки шутишь, лучше уходи, а если серьезно, что же, я сам

тебе буду за тестя». Он и покаялся, наклонил голову и говорит «вымоли нам у неба счастье, отец».

— Ловок! Вот оно что!—удивился Рахмет.—Ну, что ж, она девушка хорошая, вы ее за дочку считаете, значит, как говорят, совет да любовь. Но вот с Калакаем-то как у вас... — Рахмет не закончил своего вопроса и с сомнением посмотрел на Сырбая.

— Ничего, я с ним обо всем говорил, — быстро сказал Сырбай. — А тут письмо пришло от Даулета — ему Айбарша обо всем, оказывается, написала. Что ж! Раз он верит ей, моего дела тут нет. Поэтому с Калакаем теперь у меня все кончилось, и я дал Калакаю и Нарбате слово быть тестем. Прошу вас, Рахмет, пожаловать на свадьбу.

— Здорово!—присвистнул Рахмет.—Когда же свадьба будет!

— В будущую среду. Да только не у меня, а у свахи. Она же братишку Нарбаты усыновила. Ну, значит, вроде, как тоже родная невесте стала. А ты видел мальчика. И не узнать его. Был, как скелет, а стал, как мячик! Я теперь вот и думаю — отыщется родная мать, так ведь мальчишка этот ни за что не пойдет к ней.

Сырбай ушел.

Миллион рублей знатный узбек внес в фонд обороны за день до свадьбы Нарбаты. В тот же день и Сырбай сдал в районное отделение Госбанка миллион сто одиннадцать тысяч, о чем была послана телеграмма товарищу Сталину, составленная Рахметом.

На следующий день в сталинградском эшелоне Сырбай и Айбарша выехали на фронт.

Глава тридцатая

НА ФРОНТЕ

ЭШЕЛОН был большим. Шли двадцать вагонов, груженых маслом, бараньими тушами, сушеными фруктами, мукой и сладостями. Двигался состав медленно. Сначала еще члены делегации выбегали на станциях поглазеть, а потом и это им надоело. Тогда стали заниматься кто чем

хотел — одни играли на гармошках, гитарах, другие до ночи резались в домино и шашки. Сырбай и Анатолий Кондратьевич из своего купе почти не выходили. Им вполне хватало друг друга. Темой разговоров была война и ее участники. Так они дошли до Масакпая.

Сырбай рассказал, что бывший председатель колхоза встретился на фронте с Даулетом и Даулет (он в то время был уже подполковником) взял Масакпая в ординарцы. Об этом говорили особенно много.

— Да, — сказал Сырбай, — видно, верно говорят: «Если долго гнать труса и трус обернется храбрецом». Вот, судя по всему, хорошо воюет человек — два ордена получил, а ведь раньше такого труса, как Масакпай, во всем районе не сыскать.

— Однажды, — продолжал рассказывать Сырбай, — Масакпай купил на базаре чудесную холмогорскую корову. Она, по словам хозяина, давала в сутки двадцать литров молока. Действительно, корова так прочно вошла в быт Масакпая, что жена его уже и не представляла себе, как она могла бы жить без нее. И вот эту корову чуть было не украли. Дело было так: вышел Масакпай на двор и видит, что около коровьего сарая стоят двое. Он спрашивает: «Кто это?». В ответ ни звука, молчат и прячутся. Тогда Масакпай (он ночью во двор даже не выходил без оружия) выхватил наган и наугад в темноту раз-раз. Один из воров охнул и упал. Масакпай бросился в дом, по дороге раскровянил лицо об косяк и стал кричать жене: «Скорей, скорей, я убил человека». Жена впустила его и набросилась с ругательствами. Уже она его и так костерила и этак. Как он посмел стрелять? Ведь он даже не знает, кто стоял около сарая и что ему было надо. А может быть, это какой-нибудь прохожий. — «Выходи сейчас же, приказала жена, и узнай, что с ним. Может быть, ты его только ранил?». Но Масакпай дрожал и чуть не плакал. Ну, нет, во двор он не выйдет. Он хорошо разглядел, что их было двое, а убил-то он только одного. А что, если другой ждет его в засаде. Жена оказалась умнее. «Несчастный, закричала она на него. А ты не подумал, что ты пропал и так и этак. Ты, что же, думаешь, за убийство по головке погладят. Иди сейчас же и посмотри, в чем там дело». Он так и не пошел. Тогда во двор вышла жена. Она захва-

тила с собой фонарь и первое, что она увидела в луче света, это была туша коровы — пуля пробила ей череп.

— Да он совсем дурак! — сказал Анатолий Кондратьевич, выслушав этот рассказ.

— Стой, я тебе еще не то расскажу, — пообещал Сырбай, и рассказал о том, как Масакпай и Тыртык однажды ночью повстречались во дворе того дома, в котором они остановились, приехав в командировку. Почему-то Обгорелый принял Масакпая за вора и так как он был человеком отчаянным, то, недолго думая, смазал Масакпая промеж глаз. Масакпай упал, но на земле схватил врага за ногу и повалил. Так они лежали в полной темноте, сопели и бутузили друг друга. Все это совершалось в полном молчании. Наконец, Масакпаю удалось как-то увернуться и шмыгнуть в ворота. Он сейчас же побежал в милицию.

— Было уже очень поздно,—рассказывал Сырбай,—но Масакпай всех поднял на ноги. Крича, он стал рассказывать о том, что дом, где он остановился, осажден бандитской шайкой. Масакпая завели в камеру и оставили на ночь, а начальник отделения послал небольшой отряд, чтобы изловить бандитов. Через некоторое время в отделение явился Обгорелый. Вид у него был страшный, один глаз совсем заплыл, одежда была в грязи и крови. Рассказывая о нападении бандитов, он все время шмыгал носом и стирал с лица кровь. Обгорелого завели в другую камеру. Утром на допросе друзья опознали друг друга и только тут выяснилось, кто их лупил. Весть об этом пошла по городу и им долго нельзя было на улицу глаз показать. «А ну, расскажите, как на вас бандиты напали», — спрашивали их.

— Да, — сказал Анатолий Кондратьевич, — а теперь имеет два ордена. Видно, совсем переменился человек.

Так проходили дни.

Подарки предназначались армии, сражавшейся на Сталинградском участке. Кзыл-Ординская делегация хорошо знала и командующего этой армией генерала — уроженца Казахстана. Анатолий Кондратьевич как-то провел с ним около месяца в Сочи.

Когда генералу представили Сырбая, а Анатолий Кондратьевич добавил, что этот старик и является отцом подполковника Даулета Сырбаева, генерал крепко пожал

ему руку. Он поздравил его с тем, что сын его представлен командованием фронта к присвоению звания Героя Советского Союза.

Разговор начался с положения на фронте.

— Ну, что тут много говорить? Вы читали, конечно, доклад товарища Сталина, — сказал генерал, — и знаете, наверное, что немцы хотят во чтобы то ни стало взять Сталинград. Это является частью их общего плана захвата Москвы. Но город Сталина оказался таким орешком, о который немцы переломали все свои волчьи клыки. После того, как наша армия 19 ноября перешла в общее развернутое наступление, армия врага оказалась зажатой в клещи.

— А не вырвутся они? — спросил Сырбай Айбаршу, которая стояла, наклонившись над ним, и переводила ему слово в слово речь генерала. Айбарша улыбнулась и отрицательно покачала головой.

— Что говорит аксакал? — спросил генерал

Айбарша перевела.

— Нет, нет, дедушка,—засмеялся генерал и кратко, без излишних подробностей, но в то же время очень ясно обрисовал общее положение на фронте.

В это время Сырбай, который не мог сразу всего понять, задал еще какой-то вопрос.

— Слушайте, аксакал, это ведь, наконец, просто неудобно, — резко вмешался один из членов делегации. — Дайте же послушать генерала.

— Ты слушаешь и не понимаешь, тебе лишь бы глазами хлопать, а я вот все понять хочу. Для этого я сюда и приехал, — все хочу понять, — сердито отрезал старик и снова, обращаясь к Айбарше, сказал:

— Ты объясни генералу: они воюют, а мы для них день и ночь кетменем землю обрабатываем и засеваем лучшим зерном в мире — рисом! Скажи, что даже тогда, когда мы стоим по колено в грязи, мы и то думаем о них. Значит, весь народ интересуется положением на фронте. Будут меня спрашивать после приезда, как и что, а я сам ничего не пойму. Что ж мне тогда отвечать придется?

Генералу перевели речь Сырбая. Он улыбнулся, подошел к старику и обнял его за плечи.

— Золотой вы человек, аксакал, — сказал он растро-

ганю. — Переведите ему, пожалуйста, что когда я говорю с ним, мне кажется, я это со всем его народом говорю. Вот побудьте здесь недельку, посмотрите, авось, за это время и произойдут какие-нибудь события. — Он помолчал, подумал и осторожно добавил: — Но ведь это война, тут каждую минуту убить могут...

Сырбай захохотал.

— Я сам еще парочку немцев убью, — сказал он. — А смерть — что? Мне уж семьдесят лет, пора мне и честь знать.

Анатолий Кондратьевич перевел это и прибавил:

— А вы знаете, ведь это и мое желание — обязательно убить хотя бы одного немца.

— Да что вы? — засмеялся генерал. — А я вас считал таким мирным человеком, что кроме как с теодолитом да с рейсфедером и не представлял вас. Значит, плохо я вас знал!

— Значит плохо знали, Иван Михайлович,—серьезно ответил Анатолий Кондратьевич.— Я прежде всего патриот. Всю жизнь я провел в Средней Азии, но работал не покладая рук для всей России. И вот теперь, когда я читаю в газетах, что такой-то город взят немцами, что взорван такой-то мост, разрушено столько-то школ, больниц, театров, клубов, мне кажется, что у меня из груди вырывают мясо — кусок за куском. Вот поэтому я и хочу убить хоть одного немца.

— Ну, хорошо, поговорим за обедом, — улыбнулся генерал. — А пока вот что: сходите в баню, помойтесь, белье перемените. Вечером жду вас всех к себе.

Сырбаю уже приходилось бывать на званых обедах. Старик держал себя на них обычно строго: никогда не прикасался не только к водке, но даже кумыса не пил. Сейчас же, взглянув на генерала, он вдруг встал с бокалом в руке.

— Я никогда в рот не брал вино, — сказал он громко, — а вот сейчас выпью. Потому я выпью, что армия перешла в наступление, что после этого наступления ему (он кивнул головой на окно) уже не подняться. Верно?!

— Мы его так погоним, — сказал генерал, — что он до Берлина не оглянется.

— Нет, он и в Берлине не оглянется, — сказал Сырбай. — Некуда ему будет оглядываться. Я пью за нашу

армию, пью за сегодняшнего хозяина, за здоровье Сталина, который ведет нас к победе.

Сырбай и генерал чокнулись и опрокинули стаканы.

В полночь гостей отвели в особый блиндаж. Раньше в нем помещался член военного совета фронта, но теперь его вызвали в Москву и блиндаж пустовал. Сырбай и Анатолий Кондратьевич заняли вместе отдельную комнату. Анатолий Кондратьевич как пришел, так и свалился. А Сырбай все ворочался, все не мог никак уснуть. События последних дней, вся дорога и все пережитое и передуманное встало перед ним снова.

Заснул Сырбай только под утро, приснилось ему что-то светлое и радостное. Горит веселый огонь, на огромных кострах кипит жирное варево. Туши жареных баранов чуть ли не целиком подаются на столы. А потом все сразу запуталось. Пошли какие-то хлебные поля, затем его вызвал Рахмет и повез на канал, а потом оказалось, что и не канал это, а едет он на фронт. И тут около состава ухнула бомба. Он вскочил на ноги и закричал.

В комнате было темно, но около двери на полу лежала тонкая полоска света. Значит, там не спали. Сырбай бросился туда.

В ярко освещенной комнате стояли члены делегации и о чем-то громко, тревожно переговаривались по-русски.

Вошел Анатолий Кондратьевич, на ходу застегивая пальто. Он подошел было к Сырбаю, но тут, опережая его движения и слова, в комнату зашел сержант, знакомый казах из Кзыл-Орды.

— Немецкая атака, — сказал он.

— А генерал... — заикнулся Анатолий Кондратьевич.

— Генерал уехал на передовую, — сержант посмотрел на Сырбая и улыбнулся. — Не бойтесь, аксакал. Говорят же у нас: «козленок перед смертью дрыгает ногами». Вот немцы и задрыгали. Ничего, теперь им уж конец.

— Да я не боюсь... А только что за грохот стоит там! — сказал Сырбай.

— А вам лучше и не слышать его, аксакал, — сказал сержант, — и интересного мало и голову в два счета снесут. Сейчас немцы зажаты в двойные клещи, ну вот и лезут они на смерть. Кроме смерти-то им больше ничего и не осталось.

— Ну, а если вырвутся из кольца? — спросил Сырбай.

— Коли волк мордой в капкан увяз, ему уже не вырваться,— спокойно улыбнулся сержант.

Вечером делегации рассказали, что немцы, зажатые в пространстве между Сарпинскими озерами (им показали на карте много голубых мелких подковок), захотели выйти из окружения, но ничего не добились. Генерал при этом подозвал к себе Сырбая, Анатолия Кондратьевича и Айбаршу и сказал:

— Был в полку Сырбаева, сообщил ему о вашем приезде. И вот я хочу передать вам, аксакал, привет от вашего сына, Анатолий Кондратьевич, от вашего друга, а вам — улыбаясь, он посмотрел на Айбаршу, которая так и вспыхнула, — от вашего жениха. Он просил меня дать ему возможность увидеть вас. Сделать это, по ряду соображений, можно только сегодня. Я хочу подбросить вас туда ночью. Вы, согласны?

Глава тридцать первая

ЗА РУССКУЮ ЗЕМЛЮ

ТОЙ ЖЕ ночью в юрком виллисе Сырбай, Айбарша и Анатолий Кондратьевич выехали в расположение части Даулета.

По всему видно было, что готовится большая игра. То и дело они обгоняли машины, груженные оружием, снарядами и каким-то другим военным имуществом; колоннами шли солдаты; то и дело над ними проносились самолеты. От беспрерывного потока машин грохот стоял необыкновенный. Иногда откуда-то отрывались белые, красные, синие, зеленые огни и, описав полукруг, исчезали во мраке.

— Трассирующие пули,— объяснил шофер.

По небу все время шарил огромный луч прожектора. Он вырывал из темноты то один, то другой кусок ночи, иногда вслед за этим начинали реветь орудия. То наши зенитные части били по самолетам противника.

Сырбай, Айбарша и шофер говорили, шутили, смея-

лись. Только один Анатолий Кондратьевич сидел мрачным, насупленным, молчаливым. Он никак не мог примириться с развалинами городов, трупами изуродованных людей, обожженной, изрытой ямами, словно вывернутой наизнанку, землей.

— Это только цветочки,— сказал он, наконец, Сырбаю, показывая то на ту, то на другую громадную воронку, в которой валялись перекрученные и смятые, как консервные коробки, части автомобильных кузовов. Мы еще не видели самого поля сражения. А ведь все, что было на месте этих ям,— все это мы покупали потом и кровью. Вот в газетах пишут: звери, зверства. А что такое вообще зверство в подлинном смысле этого слова? Много ли бед приносит самый страшный зверь? Вот, например, змея. Какая тварь может быть подлее и гаже гадюки? А что эта гадюка перед оккупантами? Так себе — пустое место. Чума — вот более подходящее слово!— Но, подумав, добавил:— Нет, пожалуй, и с чумой его не сравнить! Часто ли теперь появляется чума? А как появится, ее сейчас же зажмут в кольцо и — конец! Здесь не то, не то!

И еще одна мысль угнетала его. Ему было стыдно и больно разговаривать с людьми, которые каждую минуту были готовы либо к смерти, либо к убийству врага. Ему все казалось, что на них, тыловиков, здесь смотрят, как на гостей. Вот приехали, поговорили и до свидания!

— Ничего, ничего, Анатоль, — утешал своего друга Сырбай. — Ведь ты дочь отдал фронту, я сына, а нам с тобой уже поздно воевать, силы не те. И вдруг посоветовал: — А если уж тебе так не терпится, пойди в штаб да попроси: так и так, отпустите мне, мол, человек шесть пленных, я с ними сразу за все разделаюсь...

— Ишь ты какой умный! — засмеялся Анатолий Кондратьевич. — Нет, дорогой, так не делается. Мы не немцы. Мы бьем врага только пока он не сдается...

В таких разговорах и проходило время. Но каждый все-таки думал о своем: Анатолий Кондратьевич — о Гюльнар, Сырбай — о Даулете и Масакпае, Айбарша — об одном Даулете. Она все-таки порядком трусила. Правда, Даулет, по ее просьбе, написал письмо Сырбаю, и у них опять установились хорошие отношения. Но значит ли это, что жених вполне поверил ей. А что, если

при встрече с первых же слов начнутся упреки да расспросы?

У Сырбая были другие мысли. Он думал о Масакпае. Вот Даулет пишет, что они встретились на фронте и он взял к себе Масакпая ординарцем. Интересно, каким же стал теперь его враг? Как они встретились? Какой разговор повели? Почему сын взял в ординарцы не кого-нибудь, а своего самого злейшего врага?

Полк Даулета помещался в одной полуразрушенной деревне. Даулет ждал гостей и спать в эту ночь не ложился. И все-таки прозевал приезд гостей. Он выскочил из дома, когда гости уже шли к нему. Первый, кого он увидел и к кому бросился, был отец. Но Сырбай, улыбающийся, прямой и строгий, поднял руку.

— Поздоровайся сначала с Анатолем. Я к сыну приехал, а у него никого нет.

Даулет обнял Полевого.

Сырбай тем временем увидел Масакпая.

— А-а, старый друг лучше новых двух. Ну, ну, не прячься за начальника. Давай руку. Чистая ли она теперь?

Масакпай сунул ему руку. Они обнялись.

— Ну, ну, — сказал Сырбай уже почти растроганно, — ладно, коли так. Видно, на войне огнем да кровью все руки отмываются.

К нему в это время опять шагнул сын, но он и на этот раз остановил его.

— На невесту, на невесту гляди, а не на меня. Что ты со мной лезешь обниматься? Я-то и так от тебя не уйду. Я отец. А ты смотри, что с ней стало? Ну, обнимай, обнимай же ее скорее! Скажи, что во всем ей веришь и зря она тебя боится.

— Милая ты моя, хорошая ты моя, единственная ты моя! — сказал Даулет и обнял Айбаршу.

Поставили самовар, заварили крепкого чаю. Анатолий Кондратьевич так был утомлен, что сразу же ушел и прилег за перегородкой. Сырбай посмотрел на Масакпая.

— Ну, а теперь рассказывай, — сказал он. — Все хочу знать. Вот ордена у тебя. Откуда они?

Масакпай полез в затылок.

— Да вот наградили, — ответил он как будто не осо-

бенно охотно. И, понизив голос, округлив глаза, сказал: — А Тыртык-то? Вот меня бог спас, что я на фронт угодил. Ведь он обязательно бы меня запутал, окаянный!

— Это уж так, — подтвердил Сырбай. — Ты у него был в руках, как рыба в сетях.

— Да, да, как в сетях, — согласился Масакпай. — Вот я и стал об этом думать, о сетях этих. Лежу я этак и размышляю: до того доходило, что еще бы чуть-чуть и капут Масакпаю! А ведь я не маленький, не глупый, сам всякое видел, а вот видишь, как запутался! — Он замолчал. — И что такое Обгорелый? — вдруг крикнул он с тоской. — Так, навозная куча, а вот видишь, что вышло, чуть-чуть на повод к нему не попал.

— Хорошо что понял во-время, — сказал Сырбай великодушно. — Раз ты раскаялся, значит, у нас с тобой все счеты кончены. Помнишь, в песне поется:

Земля хранит бесценные металлы,
В пучине моря кроются кораллы,
Как хочешь будь, но под конец пути
Сумей себя очистить и найти.

— Да я... — заикнулся Масакпай.

— Ну, ладно, ладно... — прервал этот напряженный разговор Даулет. — Мало ли что когда то было? Ты лучше расскажи, за что ты первый орден получил?

— Ну, что ж, расскажу, — улыбнулся Масакпай. — Ехал я на фронт и видел из окна вагона: налево — воронка, направо воронка, а впереди путь завален, поезда под откосом валяются. Страшно стало и скорее на нары. Закроюсь с головой шинелью и лежу так. А как начнут стрелять, как загудят самолеты над нашим вагоном, совсем переставал жить. Все мне казалось, что коли упадет бомба, так обязательно в мой вагон. Каждый день голову щупаю и думаю: сегодня я жив, а завтра что? В таком страхе провел я четыре месяца. И вот однажды кончились все страхи мои. Вызывает меня командир и говорит: «Товарищ Курмеков, нужно достать языка. Даю вам девять бойцов, идите и без языка не возвращайтесь. Приказание понятно?» Понятно, отвечаю. Вышел я из землянки, провел рукой по лицу и думаю: ну, вот и конец тебе, Масакпай Курмеков.

Айбарша рассмеялась, но Сырбай досадливо махнул на нее рукой.

— Хорошо, пошли. А как на грех снег выпал и такой полный месяц, что все кругом ясно видно, как днем. Ползем врассыпную. Правда, все в белых маскировочных халатах, но все равно, если присмотреться, всех пересчитать можно. На счастье местность попалась такая, как в учебниках пишут, — пересеченная. То яма, то холм, то до пояса провалишься; а то ползешь по такому жесткому насту, что все руки об него окровавишь. Доползли почти до самого рубежа, остановились. Еще сто шагов и немцы! А немцы в то время нахальные были. Тогда они еще к Москве лезли и ничего, казалось, не боялись. Расположились на холме, зажгли костры, поют, на аккордеонах играют. Точно на гулянку пришли. Попробуй-ка, выкради тут одного, когда они все в куче.

— Опасное дело, — сказал Сырбай.

— Вот в том-то и дело... Ну, а я, вроде как и не боюсь ничего. Только одно думаю: как бы мне это половчее сообразить. Стали мы осматриваться. И вот вижу: ведет к ним в тыл глубокая канава. Везде снег, а в ней снега почти и нет. Выгребли его, должно быть. Что это за канава такая, для чего она проведена и не поймешь. На арык она не похожа, да и не бывает здесь арыков. Вот я и пополз на брюхе, проползу шагов десять, подниму голову, выгляну. Нет, не замечает нас немец. Поет, играет, ровно он один и есть на свете. Я опять ползу. И вот — смотрю: шагает вдоль канавы рыжий, в руках автомат, шатается, горланит что-то и ничего не замечает. Дал я ему шагнуть мимо меня и сразу за ноги. Да так рванул его, что он хлопнулся, даже не успев вскрикнуть. Лежит и молчит, словно одурел. Тут я его в канаву, снял шарф, в рот забил, и потащили мы его. Приползли обратно, а я думаю: что ж, шума не было, они его, видать, не скоро хватятся, пусть ребята тащут, а я опять поползу, посмотрю, что там делается. Взял у своих ребят две гранаты, подполз опять к немцу — ничего никто не заметил. Добрался так до самого блиндажа. Приподнялся, сотворил молитву аллаху, да как швырну одну гранату — только дым пошел. Я вторую — и сейчас же во весь рост бегом назад. Даже и в голову не пришло, что стрелять в меня могут. Да им было и не до стрель-

бы. Они спьяну да со страху подумали чорт знает что... Ну, а мы и сами уползли и языка унесли.

— Молодец! — сказал Сырбай, — заслужил орден. Теперь расскажи о втором ордене.

— Ну, а о втором и рассказывать нечего. Охранял я военный груз, вдруг из-за угла на меня немец. Видно, хотел меня без выстрела взять. Хватает меня за шею, а я его головой в лицо как ударю — все зубы выбил. Он так и кувыркнулся. Вот и все!

— Все ли? — спросил Даулет. — А ты расскажи, как с ним в рукопашную вступил.

— Что об этом рассказывать! — махнул рукой Масакпай, и лицо у него дрогнуло, как от отвращения. — Видишь ли, — повернулся он к Сырбаю, — пока я собирался его связать, он на меня опять накинулся. Так уж я и не помню, как с ним справился... Поверишь ли, зубами вцепился ему в горло и начал его, как волк, грызть. Тьфу! И вспоминать-то не хочется.

— Тогда расскажи, как ты мне жизнь спас, — сказал Даулет.

— Да, вот об этом я, пожалуй, расскажу. Вот как, Сыр-аке, было дело. Мы еще тогда отступали. Отбились мы от своих частей и заплутались. Целую ночь шли, только к трем часам утра пришли в небольшой поселок. В нем ни наших, ни немцев. Спрашиваю: не обошли ли немецкие части ваш поселок? Стоят где-нибудь тут наши части? Никто ничего не знает. Но мы так устали, что решили отдохнуть: двое будут спать, а один — дежурить. Бросили жребий, кому дежурить, выпал мне. Вот вышел я на улицу, хожу взад и вперед около ворот, никого нет. Такая тишина, что только снег у меня под ногами хрустит. И вдруг показалось мне, что ровно кто-то песенку мурлычет. Прислушался я, ну так и есть. Поет кто-то. Слушаю дальше и кажется мне, что песенка-то знакомая, казахская. Я даже за голову схватился. Неужели, думаю, я рехнулся? Нет, точно: поет по-казахски. Даже теперь мотив ее помню. Спрятался я за ворота и жду. И вот выезжает офицер на лошади. Свой или чужой? Пес его разберет, но я вышел навстречу — ведь песенка-то казахская, — и приветствую его. А он за маузер схватился. Я ему кричу по-казахски: — Браток, свой я, казах, не стреляй! Соскочил он с коня — и вижу: Даулет.

Ну, тут я всякую церемонию забыл. Он офицер, а я рядовой, а все равно бросаюсь ему на шею. И вот...

— Стой, теперь я расскажу,— сказал Даулет.— Нужно сказать, что я тоже еле-еле на ногах стоял. Первое мое слово Масакпаю было: Ты постой еще на карауле, а я пойду засну хоть с полчаса. Зашел во двор и привязал лошадь. Как до кровати добрался — это еще помню, а как заснул, совсем вылетело из головы. И вдруг меня ровно в бок кто толкнул. Сразу вспомнил: караулит-то кто? Твой злейший враг. Думаешь — он позабыл, что из-за твоего отца штрафником на фронт угодил? Так я испугался, что хотел сейчас же выскочить на улицу. Но тут меня ровно кто по ногам ударил. Упал на скамейку, и уж больше ничего не соображаю. Раздались выстрелы. Ну, теперь пускай он опять рассказывает, как он меня караулил.

— А караулил я так,— сказал Масакпай.— Стою и, чтобы не заснуть, себя тихонько за щеку . щипаю — не спи, мол, не спи! И вдруг — раз. Надо мной сосульки зазвенели. Я присел. Смотрю — немецкий разъезд. Как это они въехали в деревню, я не знаю, но все равно, не до рассуждений тут было. Снял автомат и лег на землю — лежу и смотрю. Выскочил Даулет и с ним два моих бойца. Ну и пошла потеха! У нас две гранаты было. Мой боец как шарахнет одну, только снег да дым закрутился — немцы за угол, а Даулет через забор. Я за ним. Побежали. А пули из-за угла, чок-чок — все по снегу. Только белый дымок курится. И вдруг Даулет крикнул, да прямо лицом в снег. Я к нему. Что с тобой?— спрашиваю. Он лежит, лицом в снег зарывается. Вижу я, на боку черное пятно выступило. Ах ты господи! А пули опять чок-чок. Что делать! Схватил я его на руки и по саду бегу, даже не пригибаюсь. Пули надо мной веточки срезают. И вдруг начинает наша артиллерия подавать свой голос. Я почему-то сразу понял, что наша, а не немецкая это артиллерия. Ага, думаю, вот вам и конец! И, действительно, ни один немец, кажется, не ушел обратно. Вот и весь мой рассказ.

Он хотел сказать еще что-то, но поднялась из-за стола Айбарша и бросилась к нему на шею.

— Спасибо тебе, дорогой Масакпай!

Когда гостям сообщили, что немцы стали очищать

один крупный населенный пункт, они пристали к Даулету, чтоб он позволил им доехать туда не на автомашине, а в танке. Даулет отказал наотрез. Но как раз в это время посетил расположение полка Даулета командующий фронтом. Он выслушал Анатолия Кондратьевича и сказал:

— Только не дальше тракта, и сейчас же обратно.

Так они и поехали. Даулет в свой танк взял Айбаршу, а Анатолия Кондратьевича и Сырбая посадили в другой, — в нем обычно ездил начальник штаба.

До населенного пункта они добрались уже утром. То был небольшой городок, центр района. Были в нем пять-шесть улиц, довольно большая площадь, обсаженная деревьями, клуб и школа-десятилетка. Эту школу и занимали немцы. Правда, там была небольшая группа противника — 50 — 60 человек, но сидели они крепко и сдаваться не хотели. У немцев были автоматы и несколько пулеметов. Огнем они контролировали всю площадь.

— Вышибить любой ценой,— приказал Даулет.

И танковая колонна направилась прямо к школе. Танки окружили здание. Огонь, который они открыли, был такой мощности, что после первого же залпа рухнули стены и крыша здания. Бурно запылал огонь. Поднялась густая, горькая, пропитанная острым запахом, гарь и пыль.

— О аллах! — сказал Сырбай, — вот так чудо! — рявкнули один раз — и дома нет!

Он посмотрел на Анатолия Кондратьевича. А тот, прильнув к стене танка, где были прорезаны щели, с любопытством смотрел, как на землю летит пыльный поток щебня и камня, как поднимается клубами дым.

Сырбай дотронулся до его плеча. Тот оглянулся и в перерыве между двумя залпами крикнул:

— А не боишься?

Сырбай только усмехнулся. Чего же ему бояться в такой железной крепости!

Анатолий Кондратьевич хотел что-то сказать, но в это время раздался орудийный залп, и они опять прильнули к узкой щелке на боковой стороне танка.

Школа пылала. Густой дым застилал площадь.

— Жаль школу!— сказал Сырбай и пощелкал языком. — Смотри, как пылает она, а какое здание было.

— Человек нам дороже дома,— ответил Анатолий Кондратьевич, не отрывая глаз от щелки.— Знаешь, раненый медведь гонится за охотником до тех пор, пока тот шкуру с него не спустит.

— Да, так рассказывают.

— Ну, вот и немцы, добром они этот дом не покинут. Приходится его разрушать. Что ты усмехнулся?

— Я вот что вспомнил: был в нашем роду один батыр. Гнался он раз за волком, а волк от него в пещеру ушел, да такую узкую, что человеку никак не пролезть. Вот батыр сунул руку и вытащил волка прямо за хвост. Вот и здесь бы так!

— Ну, немцы — это не волки. У волка автомата нет, его можно за хвост вытащить, а тут сунься только.

— Да, сюда не сунешься.

— То-то и оно, что нет! Ничего, здание мы новое выстроим, еще лучше этого. А вот немцу отсюда уже не уйти. Правда?

— Истинная правда, Анатоль.

Стрельба стала утихать. Сквозь оседающую пыль показались развалины здания. Несколько бойцов с автоматами в руках бросились к этим развалинам, но немцы дали по ним пулеметную очередь и заставили их залечь. Завязалась беспорядочная перестрелка.

Танк, в котором находились друзья, получил приказ: протаранить стену здания.

— Лучше бы вам сойти, товарищи,— сказал командир, поглядев на Анатолия Кондратьевича.

— Мы останемся здесь,— ответил Анатолий Кондратьевич.— Что бы там ни случилось, а мы хотим видеть конец сражения.

— Да и ничего не случится, пожалуй,— улыбнулся командир.— Танк — надежное прикрытие, его пулей не пробьешь.

Когда танк тронулся, Сырбай вопросительно взглянул на Анатолия Кондратьевича.

— Куда это мы?

— А вот сейчас мы через стену пройдем,— ответил Анатолий Кондратьевич.

— А не раздавит она нас?— посмотрел на Анатолия Кондратьевича Сырбай.

— Не раздавит, стена — кирпич, а танк — железная глыба. Смотри, что сейчас будет.

Танк загудел и рванулся вперед. И вдруг в проемах его стало темно, как ночью, только кирпичи барабанили по железу. Сырбай сидел, сгорбившись, вобрав голову в плечи. Еще толчок, и танк пошел уже ровно и плавно.

— Вот это чудо, — сказал Сырбай, разводя руками, — это настоящее чудо! А знаешь, что мне приходит в голову? И мы тоже к нему руки приложили. И наш рис тоже пошел на его постройку.

— Еще бы,— ответил Анатолий Кондратьевич и сразу крикнул:

— Ага, побежали, побежали! Смотри-ка, смотри-ка, бегут.

Они снова припали к щели. Теперь немцы действительно отступали. За ними бежали наши автоматчики, преследуя и уничтожая разрозненные группы.

Экипаж получил приказ, — сообщил Полевому командир танка,—вылезти из танка и преследовать немцев в пешем строю:

— А почему мы должны сидеть?— обидчиво спросил Анатолий Кондратьевич.

— Нельзя, шальная пуля,— ответил быстро командир и полез к выходу.

Танк быстро опустел.

— А мы что же? — спросил Сырбай, недоуменно глядя на Анатолия Кондратьевича.— Мы что не вылезаем?

— А нам,— сказал Анатолий Кондратьевич,— запрещено.

— Кем же это, выходит, запрещено?—удивился старик.

— Даулетом,— улыбнулся Анатолий Кондратьевич

— Ах, Даулетом?— гневно фыркнул Сырбай.— Ну, коли он Даулет, так я Сырбай. Лезем!— и он первым выпрыгнул из танка.

Немцы бежали по площади.

— Дайте мне автомат,— попросил Анатолий Кондратьевич, обращаясь к командиру танка. Тот молча подал ему свое оружие.

Анатолий Кондратьевич прицелился. Несколько немцев упало на землю.

— Ага,— воскликнул Анатолий Кондратьевич удовлетворенно,— вот вам за русскую землю!

Он снова прилажился к автомату.

— За наш город!— сказал он торжественно.

— За тех, кого вы убили!— прибавил он через минуту.

Он был метким стрелком, и его стрельба не пропала даром.

Сырбай стоял сзади, сжимая кулаки, и после каждого выстрела восторженно кричал.

— Бей, Анатоль! Бей их.

В тот же день Даулет устроил для делегации прощальный ужин. За столом, между прочим, зашел разговор и о сегодняшнем сражении.

— Да,— сказал Анатолий Кондратьевич,— и я сегодня потрудился на славу. Сырбай вел мой счет, да спутался. Видно, плохой ты учетчик!

— Не плохой я учетчик, а счет у тебя путаный. Твои ли пули попали в них, сосед ли твой стрелял. Разве разберешь? Но ты зря не стрелял. Это я точно знаю.

— На этот раз мне повезло,— сказал Анатолий Кондратьевич. — Давно у меня не было такой поживы.

— Папа, а на твоем счету сколько?— спросил Даулет Сырбая.

— Ну, какой я стрелок,— махнул рукой Сырбай.— Я уж лучше рис тебе буду выращивать, а ты постараешься и за себя и за меня.

Потом заговорили об Айбарше.

— И она тоже заслуживает ордена. И как она от меня ушла, что я даже не заметил?— засмеялся Даулет. — Не успели мы сойти с танка, как она словно сквозь землю провалилась. Куда девалась, спрашиваю, а мне отвечают: В школу побежала. Как? Одна? Да нет,— говорят, с нашими бойцами. У меня даже в глазах потемнело. Бросился я в школу, и вот смотрю: бежит по лестнице моя Айбарша. Я за ней...

— Ну, хватит, хватит!— недовольно прервала его Айбарша.— Есть о чем рассказывать.

Но Даулет, сияя от гордости, продолжал рассказывать. Айбарша с тремя бойцами ворвалась на второй этаж. Двери были открыты и через весь длинный коридор можно было разглядеть, что за библиотечными шкафами

притаились три немецких солдата. Около открытого окна сидели еще два немца с пулеметами. Когда наши бойцы ворвались в комнату, откуда-то, не то из средней комнаты, не то из поваленного шкафа, появился огромный немец с кинжалом в руке. Айбарша выхватила было браунинг, но стрелять не решилась: пуля могла задеть и ее спутников. Тогда она прыгнула и схватила врага сзади. Немец упал. Она стукнула его головой об пол, да так сильно, что он на секунду потерял сознание, но только на секунду. Потом он высвободил руку и выхватил кинжал, но колоть, однако, снизу вверх было трудно. К тому же он прогадал во времени — здесь уже был Даулет. Он схватил занесенную руку и так сжал ее, что немец крикнул и выпустил кинжал.

— Ну, и что дальше?— спросил Анатолий Кондратьевич.

— Айбарша схватила этот кинжал,— сказал Даулет,— и ударила великана прямо в горло.

— Молодец, дочка,— похвалил Сырбай.— Вот ты, оказывается, какая!

— Но ведь это еще не все,— сказал Даулет.— Она и второго немца, что сидел с пулеметом, заколола этим же кинжалом. Просто прыгнула на него сверху, как рысь. Тот даже пикнуть не сумел.

Поговорили еще о сегодняшнем сражении и Анатолий Кондратьевич решил пройтись.

— Что-то голова болит!

Он вышел на улицу.

Было очень тихо. Белый снежок застилал площадь, посередине которой стоял какой-то полуразрушенный, покосившийся на бок автомобиль.

Что такое, подумал Анатолий Кондратьевич, откуда он? Надо посмотреть.

Дошел до автомобиля, и рассматривая его конструкцию, положил руку на крыло. И вдруг под ним взорвалась земля.

Очнулся он только тогда, когда его голову подняли чьи-то сильные руки. Он услышал голоса Даулета, Айбарши и Сырбая и слегка улыбнулся.

— Анатоль, Анатоль мой!— сказал Сырбай тихо и болезненно.

Старый инженер смотрел на своего друга прямо и

пристально ничего не видящими, затуманенными глазами.

— Земля,— сказал он.

Его не поняли.

— Русская земля моя!— повторил он и стал подниматься. Тут же захрипел и тяжело упал на бок, чтобы никогда уже не подняться.

— Анатоль!—дико закричал Сырбай.—Анатоль мой!

Глава тридцать вторая

ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ГРОБ с прахом Анатолия Кондратьевича был доставлен в Алмалык. Похороны старика превратились в массовую демонстрацию трудящихся района. Похоронили его на высоком берегу Сыр-Дарьи, именно там, где от излучины ее отходит и бежит в степь новый канал. Насыпали там высокий холм. Весной вокруг него разбили цветник, провели воду, насадили целую рощу деревьев. Об этом больше всего заботился Сырбай.

Весной, когда стали лопаться почки и появляться первые клейкие и душистые листочки, на могилу отца пришла Гюльнар. Она узнала о его гибели из письма Даулета. Рассказав обо всем, Даулет кончил свое письмо так:

«Это, пожалуй, и все, дорогая. Тебе, конечно, нелегко будет перенести это горе — новое тяжелое горе на твоем пути, но оно хотя и новое, но ведь не первое. Ты сама солдат, и даже страшно подумать, сколько наших людей умерло на твоих руках. На твою закалку, на твое мужественное сердце я и надеюсь, дорогая. Иначе конечно, не писал бы.

И еще хочется мне тебе сказать вот что: думается мне, что оставаться тебе дальше в военном госпитале бессмысленно. Ведь как-никак полевая хирургия не твоя основная специальность. Я думаю, что сейчас ты больше пользы принесешь в Алмалыке, чем там на линии огня. В Алмалыке ты можешь взять на себя хотя бы заведование райбольницей, а это, ох, как нужно. Во всяком

случае, доктор на одной ноге — это ведь уже не военврач. Да и могилу отца тебе пора бы посмотреть».

Прочитав письмо и посоветовавшись с друзьями, Гюльнар решила, что и в самом деле ей пора скинуть с себя военную шинель. Она оформила демобилизацию по инвалидности и очень скоро Байжан получил телеграмму: «Еду, встречайте. Гюльнар».

Байжан немедленно сообщил об этом Сырбаю. Тот растерялся. Дело-то в том, что он никак не хотел, чтобы Гюльнар узнала о смерти отца. Вот кончится война,— говорил он,—поправится она как следует, ну, тогда уж, как хотите, а теперь надо от нее все скрыть. На все, про все, должен быть у вас один ответ: жив, мол, отец, а не пишет потому, что уехал в Москву или куда-нибудь в другое место, но о смерти Анатолия—ни слова.

Байжан согласился с доводами старика и о смерти отца ничего не писал жене. То, что Гюльнар могут написать другие, например, хотя бы Даулет, ему почему-то даже и в голову не приходило.

Узнав, что Гюльнар завтра будет в Алмалыке, он прежде всего спросил Байжана:

— Об Анатолии ты ничего не писал?

Байжан отрицательно покачал головой.

— Так, значит,— сказал Сырбай, подумав,— она не на могилу отца едет, а просто отпуск выхлопотала. Ну, ничего, скроем тогда на время наше горе. Встречать ее надо в Кзыл-Орде. Только поезжайте вы, а я стар уж, того и гляди, посмотрю на дочку друга своего да и... расплачусь, как баба. Сына захвати с собой, пусть она над ним поплачет. Это ничего, это слезы хорошие, радостные. Только старуху мою, смотри, не бери, она того и гляди растреплет все. И смотрите: встретите ее — обо всем говорите, а об отце ни слова,— уж коли суждено ей узнать, пусть на месте узнает.

Байжан и Айбарша встретили Гюльнар на Кзыл-Ординском вокзале.

Когда поезд остановился, дверь международного вагона открылась и очень бойко, опираясь на оба костыля, Гюльнар показалась в раме дверного пролета. Они обнялись. Сначала она заключила в объятия мужа, потом подругу, на сына же почему-то особого внимания не обратила.

Все трое остановились на платформе, восклицали, смеялись и перебивали друг друга. Потом Гюльнар увела их в свое купе.

— Так!— сказала она, усаживаясь на диван и осторожно отставляя костыли.— Я все знаю: папа погиб на фронте и скрывать от меня нечего. Но сейчас я спрашивать ни о чем не буду, поговорим обо всем потом. Лучше скажи, Байжан, как твои дела с каналом?

Айбарша долго смотрела в лицо Гюльнар, похудевшее, осунувшееся, постаревшее лет на 10, на ее сухие почерневшие губы, и не выдержала, кинулась ей на шею, обняла и расплакалась.

— Бедная ты моя!— прошептала она,— хорошая ты моя!

Гюльнар положила ей на голову свою тонкую, худую белую руку и стала тихонько перебирать ее волосы.

— Ну, ну,— ласково сказала Гюльнар.— Ну, что ты расплакалась? Видишь, я не плачу. Я столько горя видела, что у меня, кажется, и слезы все высохли.— Она поглядела на Байжана. — А старик, видно, думал, что я в истерике буду биться?

Ей подали Бахытжана. Она взяла его, но как-то чересчур уж бережно погладила по головке, поцеловала его и посадила на диван рядом с собой. Был в этих движениях и в осторожных ласках какой-то холодок, что-то чужое и неприятное.

Айбарша поглядела на нее с удивлением и с беспокойством. Нет, не походила ее подруга на любящую мать! Слишком уже спокойно она принимала все — и смерть отца, и встречу с сыном и даже свое уродство.

На Алмалыкском вокзале гостью встретили Рахмет и Сырбай. Гюльнар спокойно, радостно, но чуть-чуть отчужденно поздоровалась со всеми, низко поклонилась Сырбаю, потом осторожно обняла и поцеловала его в щеку.

Секретарь райкома, встречавший ее вместе с Сырбаем, покосился на Байжана. Тот понял его и взглядом ответил: «Знает».

Гюльнар, Байжана и Айбаршу Рахмет отправил на своей машине, сам остался с Сырбаем. Они стояли и смотрели вслед машине.

— Все знает,— сообщил Рахмет.

Сырбай только развел руками:

— И смотри, не плачет!

— Чему тут удивляться?—заметил Рахмет.—Человек огонь и воду прошел, тысячу раз смерти в глаза заглядывал, вот и привык не распускаться. Так держится, что и не узнаешь ее горя. Она молодец!

Сырбай быстро взглянул на секретаря — было в похвале его что-то неискреннее, натянутое, и старик сразу уловил это. Сырбай не вполне и не до конца понимал чувства Гюльнар, и это очень печалило его. Ведь она женщина все-таки, тревожно думал он. Она так любила своего отца, и ни слова, ни вопроса,— села да и уехала! Как же так?!

Когда же Рахмет и Сырбай приехали на квартиру Байжана, они сразу поняли: нет, Гюльнар не забыла своего отца, она помнит и страдает. Она стояла в кабинете Анатолия Кондратьевича и пристально всматривалась в портрет отца. Сырбай хотел что-то сказать, но Гюльнар перебила его:

— Не надо, аксакал, не надо. Ничего тут не поделаешь!

Ее голос был печален, но очень ровен.

На другой день утром она была на могиле отца. Ей многое не понравилось и через три дня она вернулась туда с рабочими. Некоторые деревья были пересажены, другие совсем убраны. Повторяла она эту операцию несколько раз, и летом этот печальный могильный холм сделался самым цветущим местом побережья.

В конце же года Гюльнар, Байжан и Сырбай съездили в Ташкент и заказали большую мраморную плиту.

На плите было высечено:

Ороситель Голодной степи
АНАТОЛИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ ПОЛЕВОЙ
1882—1942

Сначала Сырбай в Алмалыке бывал только наездами и потому далеко не каждый месяц ему удавалось посещать могилу своего друга. Это очень печалило его, ему казалось это почти изменой. Но вот случилось так, что старик стал чуть ли не жить в Алмалыке. И тогда в

двух местах он появлялся неизменно каждый день: на могиле Полевого и на железнодорожной станции. Сюда приходили грузы, здесь старый мираб принимал удобрения, прибывающие в адрес колхоза. Это особенно было дико для тех, кто знал старика: никто не верил, что Сырбай станет возиться с минеральными удобрениями.

Был он человеком старых правил и непоколебимо верил, что все будет так, как бог пошлет. Прирост и падеж скота, урожай и недород — все это, по его мнению, зависело от божьей воли, божьего гнева или божьей милости. Вмешиваться в нее Сырбай считал и бесполезным и преступным. Вот почему всюду, где рука человека шла по пути искусственного умножения благ, Сырбай останавливался в недоумении и тревоге. Вот, например, искусственное осеменение скота. Его убеждали, а он качал головой и отплевывался. Но вот «искусственные» кобылицы принесли настоящих жеребят, «искусственные» овцы во-время объягнились и дали хороший приплод. Старик со страхом стал ждать божьей кары. Но время шло, жеребята уже превратились в красивых кобылиц, искусственных ягнят уже зарезали, а бог все не карал. Сырбай недоумевал, но оставался при своем.

Когда дело дошло до его рисовых посевов, старик встревожился еще больше. Только два средства и признавал мираб — навоз и воду. Все остальное было, считал он, принадлежащим аллаху. Но вот привезли какие-то едкие белые порошки. Они странно назывались, дурно пахли, ели глаза. И было странно, что именно они-то, по словам Нарбаты, и должны были выгнать из земли небывалый урожай. Этому старик никак не хотел верить. Однако истощенная земля выгнала на этот раз такие колосья, что Сырбай серьезно задумался. Стал он присматриваться к другим звеньям. Там тоже говорили об удобрениях, там тоже, в результате применения их, получали богатый урожай.

И вот старик решил, что, пожалуй, бог не совсем и против того, чтобы человек выжимал своим трудом, умом, хитростью и сноровкой из созданной им земли все, что она способна дать. А поверив в это, Сырбай начал делать все для того, чтобы урвать своему колхозу как можно больше мешков с этими белыми порошками, едкими, скверно пахнущими, с названием, странно и да-

же оскорбительно (аммоний!) звучащим для его азиатского слуха.

Не все колхозы поспевали во-время вывезти отправленные в их адрес грузы. Сырбай был на-чеку. Он, как беркут, бросался на этот бесхозяйственный груз, быстро разгружал вагоны, клал мешки на подводы и гнал их в свой колхоз. К весне 1943 года ни у кого в районе не было столько минеральных удобрений, как в колхозе «Кен-Тогай».

Это всполошило другие колхозы. Они потребовали от райземотдела, чтобы и их обеспечили удобрениями наравне с рекордсменом. Райзо включило их заявки в план и выделило особых инструкторов. Конечно, это создавало Сырбаю сильных конкурентов, но старик радовался. Пусть и соседи, друзья и сверстники его увидят, как одаривает человеческий труд благодарная сыр-дарьинская земля. Пусть и им уделит Голодная степь кое-что от своих богатых даров.

Вот на этой почве и пришлось столкнуться старику со своей невесткой.

Началось с того, что Айбарша создала свое звено. Сперва намечали председателем колхоза, но на это она не согласилась, за организацию же звена взялась с большой охотой.

Звено Айбарши состояло из девушек и подростков. Называлось оно комсомольским, и дисциплина в нем была военной: два раза приказаний повторять уже не приходилось.

Сырбаю это понравилось, но он не доверял ни звену, ни его руководительнице и решил взять девушек под свое руководство.

— Дорогая,— говорил он Айбарше,— я совсем не против того, что ты бригадир,— да поможет тебе аллах в этом деле!—но знаешь, у нас говорят так: «нож, который сделал ребенок, не надежен и очень тонок». Молодость есть молодость, ей бы только петь да плясать. Вот ты и просчитаешься. Я не говорю тебе—откажись от молодежи, нет, но возьми человек десять опытных пожилых работниц. Они девчонкам будут примером служить.

Айбарша, однако, совета не послушалась, возрастной ценз своего звена не повысила и даже родную мать

в звено не приняла. Создав свое звено, она предупредила девушек:

— На нас первое время будут коситься и верить нам не будут, но криком, девушки, ничего не сделаешь. Надо свое право доказывать работой. Не справимся — проходу нам не дадут Поэтому давайте обсудим по-порядку: дело ли мы затеваем, уверены ли в своих силах, не осрамимся ли перед целым колхозом?

Говорили долго. И девушки решили, что звено организовать стоит, что в своих силах они уверены.

И вот результат: звено Сырбая сняло рис по 150 центнеров с гектара, девушки — по 135.

В январе 1944 года два знатных рисовода Алмалыкского района были награждены орденами: Сырбай Даирбаев — орденом Ленина, Айбарша Сарымсакова — орденом Трудового Красного Знамени.

К Сырбаю приехал Рахмет. Он поздравил с высокой правительственной наградой, пожелал дальнейших успехов. Друзья поужинали, а после, когда уже легли в постель, начались у них особые разговоры.

— Видишь ли,— говорил Рахмет задумчиво и медленно, стараясь приноровиться к пониманию старика,— мне сегодня пришло в голову: растет, скажем, куст саксаула среди степи, кругом пески, ни одного деревца — только он один и торчит. Едет путник мимо и думает: «экий высокий куст здесь степь вымахал». Ну, а скажи, аксакал, рос бы этот куст в лесу, кто б на него внимание обратил? Правильно я рассуждаю?

— Правильно, сынок,—ответил Сырбай, не понимая еще, к чему клонит секретарь.

— Так,—протянул Рахмет,—правильно, никто и внимания не обратил бы на него. А раз он в степи один, то на него все и смотрят. Потому и смотрят, что хоть и не высок куст, да один. Ну, а вот заметили ли вы, что в лесной чаще деревья выше, чем на опушке?

— И это правильно,— ответил Сырбай.— В самом лесу деревья много выше.

— А происходит это,— продолжал Рахмет,— вот отчего: каждое дерево тянется к солнцу, а для того, чтобы из пущи продраться к свету, нужно быть очень высоким. На опушке деревьям тянуться нечего — там для каждой травинки солнца хватает.

— А ведь верно,— сказал глубоко заинтересованный Сырбай. —И камыш растет так: чем заросли глуше, тем камыш выше.

— Верно, и камыш растет так же, да и вообще всякое существо тянется к солнцу, за светом и теплом. Но чтобы получить больше света, нужно быть и выше других. А как думаешь, аксакал, это к человеку относится?

— А человеку с человеком что спорить,— ответил Сырбай.—Ему солнца нехватает, что ли? Не бойся, света да тепла у солнца на всех хватит.

— Не про этот свет я говорю,— улыбнулся Рахмет. — Почет, уважение, слава, знатность,— все это ведь тоже называется светом. Разве каждый не хочет опередить своего соседа? Разве умник не хочет быть еще умнее, а талантливый человек еще талантливее?

Сырбай растерянно молчал. Он все еще не улавливал, к чему клонит Рахмет.

— Вот скажем,— продолжал рассуждать Рахмет,— в колхозе два пастуха. У каждого пастуха свое стадо и свой выгон. Так разве каждый пастух не старается, чтобы его скот был жирнее, чтобы его коровы лучше доились, а овцы давали больше шерсти? Ведь в этом-то его слава! Разве одна бригада не старается перекрыть урожай другой бригады? Разве не спорят они так за свою славу, за свою доблесть и трудовую честь, а коли спорят, то разве не называется это спором?

— Соревнованием,— поправил Сырбай.

— Правильно, соревнованием! Всякий хочет быть первым, ибо первому весь почет и вся слава, ибо первый и есть герой.

Сырбай молчал, всем этим он раньше мало интересовался.

— Вот и выходит, дорогой аксакал, что везде спор, везде соревнование. Каждый хочет быть знатным и именитым. Но и то сказать нужно, что по разному и выдвигаться можно: можно соперникам голову сворачивать и в гроб их вгонять (так бывает у капиталистов), а можно для общего блага стараться своим трудом социалистическое общество строить (так бывает у нас, в советской стране). Как видишь, разница большая.

Рахмет, не спеша, толково рассказал Сырбаю, что такое социалистическое соревнование.

Сырбай молчал и слушал, а когда Рахмет, наконец, замолчал, он сказал:

— Я, сынок, понимаю так: хочешь богатым быть — работай не покладая рук, а лениться будешь, так вовсе с сумой по миру пойдешь. Хочешь, чтобы твой колхоз богатым был — и сам работай и других заставляй. Кроме честного труда я другого пути для богатства не знаю.

Рахмет глубоко вздохнул.

— Труд, конечно, это главное,— сказал он,— но одного труда мало. Если бы одним слепым трудом можно было добиться богатства, не было бы у нас, пожалуй, бедных колхозов. А ведь среди них и миллионеры, и середнячки, и просто бедняки—всякие есть колхозы. Отчего же это так? А от того, что к труду нужно еще прибавить и умение. Надо знать, как работать и над чем работать, иными словами, нужно уметь управлять, ибо народ, как море — мощь его неисчерпаема. Дело только в руководителе и руководстве. А каждый руководитель всегда старается именно свой колхоз сделать самым передовым. Не так ли, аксакал?

— Вот что,— сказал Сырбай суховато,— коли про меня говоришь, то я работаю не для почета. Мне эту знатность и даром не надо. Я работаю, чтобы жить лучше стало, а чинов я не прошу и не добиваюсь.

— Вот мы и дошли до главного, аксакал. Для чего нужно соревнование? Для чинов, для личного обогащения? Нет, не для этого! Вот скажите, например: для чего в колхозах на свадьбах устраивают конские гонки или борьбу? Для чего люди стараются один перед другим показать свое уменье? Для почета—скажете? Да и для почета, конечно. Но больше всего для того, чтобы еще лучше это свое уменье развить, да и другим пример показать. Вот вы собрали 150 центнеров с гектара,— честь и почет вам, аксакал! Но разве это не похоже на одинокий куст саксаула в степи? 150 центнеров — 900 пудов риса с гектара — рекордный урожай, небывалый мировой урожай. Но спросите: почему он рекордный и мировой? А разве выше нельзя? Вы сами знаете, что предела для урожая риса нет, значит, все дело в том, что никто вашу славу не оспаривал, никто большего урожая, чем эти 900 пудов, не выгонял. А коли выгнал бы, так и вы

бы засуетились, аксакал, забегали бы, потянулись бы выше.

— Да что же суетиться? — пожал плечами старик. — Кто умнее и сильнее, тот и возьмет верх.

— Да, но кто же сильнее? Ведь вот это-то и нужно выяснить. Легко ли вы со своим первенством расстанетесь? Не постараетесь ли сохранить его за собой дальше?

Сырбай невесело рассмеялся.

— С душой нелегко расстаются, сынок,— ответил он.

— Ну вот и договорились, — засмеялся Рахмет.

За перегородкой сначала застрекотали, зашипели, а потом и пробили часы — два полновесных тяжелых удара долго текли и таяли в воздухе.

— Два часа, — сказал Сырбай. — Пора спать.

— А мне что-то не хочется, — ответил Рахмет.

— Да, — протянул Сырбай, о чем-то размышляя, а потом вдруг добавил: — вот Абай писал когда-то:

«Старый я стал, печальны мои думы,
Не надежен и не крепок сон».

— И верно, — продолжал он, — сон не дружит со стариком. Я теперь сплю мало. Кобылу жена выйдет доить — я засну, войдет в дом с полным ведром — я встаю. Так что можно и еще потолковать.

Но Рахмет молчал.

— Ну, что же ты, сынок, молчишь? — спросил Сырбай, поднимаясь на локте. — Говорят, кто много по миру ездил, у того и язык длиннее. Тебе начинать, сынок!

— Я думаю, аксакал, вот над чем: хорошо было бы, если два орденоносца — вы и ваша невестка — вступили в соревнование...

— Соревнование? С ней? — спросил Сырбай после небольшой паузы.— Какой она мне соперник? Помогать я ей должен, советовать, на ум наставлять, а соревноваться... — он покрутил головой и усмехнулся.

— А коли она захочет вас оставить позади — тогда что?

— Ну и что же? — развел руками Сырбай после небольшой паузы. — Разве старик молодого джигита обскачет? Уступлю ей и все.

— Значит, ты гони коня во всю, а я своего за узду подержу, — рассмеялся Рахмет. — Ловко!

— А что же мне делать, по-твоему? — вдруг рассер-

Сырбай молчал и слушал, а когда Рахмет, наконец, замолчал, он сказал:

— Я, сынок, понимаю так: хочешь богатым быть — работай не покладая рук, а лениться будешь, так вовсе с сумой по миру пойдешь. Хочешь, чтобы твой колхоз богатым был — и сам работай и других заставляй. Кроме честного труда я другого пути для богатства не знаю.

Рахмет глубоко вздохнул.

— Труд, конечно, это главное,— сказал он,— но одного труда мало. Если бы одним слепым трудом можно было добиться богатства, не было бы у нас, пожалуй, бедных колхозов. А ведь среди них и миллионеры, и середнячки, и просто бедняки—всякие есть колхозы. Отчего же это так? А от того, что к труду нужно еще прибавить и умение. Надо знать, как работать и над чем работать, иными словами, нужно уметь управлять, ибо народ, как море — мощь его неисчерпаема. Дело только в руководителе и руководстве. А каждый руководитель всегда старается именно свой колхоз сделать самым передовым. Не так ли, аксакал?

— Вот что,— сказал Сырбай суховато,— коли про меня говоришь, то я работаю не для почета. Мне эту знатность и даром не надо. Я работаю, чтобы жить лучше стало, а чинов я не прошу и не добиваюсь.

— Вот мы и дошли до главного, аксакал. Для чего нужно соревнование? Для чинов, для личного обогащения? Нет, не для этого! Вот скажите, например: для чего в колхозах на свадьбах устраивают конские гонки или борьбу? Для чего люди стараются один перед другим показать свое уменье? Для почета—скажете? Да и для почета, конечно. Но больше всего для того, чтобы еще лучше это свое уменье развить, да и другим пример показать. Вот вы собрали 150 центнеров с гектара,— честь и почет вам, аксакал! Но разве это не похоже на одинокий куст саксаула в степи? 150 центнеров — 900 пудов риса с гектара — рекордный урожай, небывалый мировой урожай. Но спросите: почему он рекордный и мировой? А разве выше нельзя? Вы сами знаете, что предела для урожая риса нет, значит, все дело в том, что никто вашу славу не оспаривал, никто большего урожая, чем эти 900 пудов, не выгонял. А коли выгнал бы, так и вы

бы засуетились, аксакал, забегали бы, потянулись бы выше.

— Да что же суетиться? — пожал плечами старик. — Кто умнее и сильнее, тот и возьмет верх.

— Да, но кто же сильнее? Ведь вот это-то и нужно выяснить. Легко ли вы со своим первенством расстанетесь? Не постараетесь ли сохранить его за собой дальше?

Сырбай невесело рассмеялся.

— С душой нелегко расстаются, сынок,— ответил он.

— Ну вот и договорились, — засмеялся Рахмет.

За перегородкой сначала застрекотали, зашипели, а потом и пробили часы — два полновесных тяжелых удара долго текли и таяли в воздухе.

— Два часа, — сказал Сырбай. — Пора спать.

— А мне что-то не хочется, — ответил Рахмет.

— Да, — протянул Сырбай, о чем-то размышляя, а потом вдруг добавил: — вот Абай писал когда-то:

«Старый я стал, печальны мои думы,
Не надежен и не крепок сон».

— И верно, — продолжал он, — сон не дружит со стариком. Я теперь сплю мало. Кобылу жена выйдет доить — я засну, войдет в дом с полным ведром — я встаю. Так что можно и еще потолковать.

Но Рахмет молчал.

— Ну, что же ты, сынок, молчишь? — спросил Сырбай, поднимаясь на локте. — Говорят, кто много по миру ездил, у того и язык длиннее. Тебе начинать, сынок!

— Я думаю, аксакал, вот над чем: хорошо было бы, если два орденоносца — вы и ваша невестка — вступили в соревнование...

— Соревнование? С ней? — спросил Сырбай после небольшой паузы.— Какой она мне соперник? Помогать я ей должен, советовать, на ум наставлять, а соревноваться... — он покрутил головой и усмехнулся.

— А коли она захочет вас оставить позади — тогда что?

— Ну и что же? — развел руками Сырбай после небольшой паузы. — Разве старик молодого джигита обскачет? Уступлю ей и все.

— Значит, ты гони коня во всю, а я своего за узду подержу, — рассмеялся Рахмет. — Ловко!

— А что же мне делать, по-твоему? — вдруг рассер-

дился Сырбай. — И к чему ты клонишь, я не пойму. Лучше уж прямо говори, без всяких этих крючков. Я человек темный и тонкостей я не понимаю.

— Хорошо. Есть два рекордсмена-рисовода: это вы, Сырбай Даирбаев, и невестка ваша, Айбарша Сарымсакова. Других подобных во всем мире нет.

— Ну, ты не перебарщивай! — испугался Сырбай.

— Чистую правду говорю — других таких нет. Но не в том дело. Главное — предела вы еще не достигли. Вот вам и нужно попытаться перегнать самих себя, а за вами и все рисоводы поднимутся. И тогда, знаю я, придет такое время, когда ваш рекорд будет нормой, а вы за другие высшие рекорды будете биться. Вот для чего я и говорю, вступайте, аксакал, с невесткой в социалистическое соревнование и вы поднимете урожай еще выше.

— Там видно будет, — уклончиво ответил Сырбай. — Давайте спать лучше.

Рахмет уснул, а Сырбай лежал с открытыми глазами и думал:

Да, социалистическое соревнование — большое это дело, великое это дело. Но чего же мне бояться? Что кит в океане, что беркут в воздухе, то и я на своих рисовых болотах. Ну-ка, попробуй, догони меня — только спину наломаешь, да руки зря натрудишь. Конечно недурно было бы попробовать свою силу. И коли есть на свете такой силач, почему бы и не потягаться с ним? Но добро бы то был мужчина — чужой, незнакомый, а то ведь собственная невестка! А тягаться тестю с невесткой — это, пожалуй, весь мир засмеет, коль узнает.

Пробило три часа, потом четыре, потом совсем светло стало, а он сидел на постели, вздыхал и думал:

«Тягаться с женщиной! Да он и с женой-то не советуется. Если и советуется, то уж так, потихоньку. А разве не умница его Тарбия? Разве не распутает она любой узел? Если нужно кому совет — иди смело — она поможет. Но ведь то Тарбия, она молчаливо признает первенство мужа; умно ли он говорит, чепуху ли он порет, она всему покоряется, все слушает, и не согласится если — так все равно смолчит. А Айбарша? Ну, нет, совсем не такая эта комсомолка. Вот ведь в чем дело! Как бы не было урона для чести?».

А Тарбия, и верно, во всем покорялась ему. Она хорошо знала своего мужа. Вспылит он — она промолчит, успокоится — она опять одно слово сенароком скажет.

В эту ночь она лежала за занавеской и слышала весь разговор. Потом Сырбай сказал, что пора спать. Рахмет сонным голосом начал последнюю фразу, но не докончил ее и уснул. А Сырбай все ворочался, кряхтел да кашлял — видно, все не мог успокоиться. Пойти бы, — быстро подумала она, — да поговорить с ним, вон он как волнуется, и еще быстрее решила: Нет, не стоит. Вдруг Рахмет проснется и услышит.

Она вполне понимала муки старика. Соревноваться с невесткой, — этого, кажется, еще и свет не видел. Так ему ли, старику, удивлять мир своей прытью. Он и так показал, чего он стоит — вывел невиданный урожай риса. Можно было бы и оставить человека в покое! Нет, надо с Айбаршой поговорить, решила Тарбия, пусть она сама откажется.

Проснулась Тарбия утром. Сырбай мерно посапывал за занавеской. Значит, все хорошо, — подумала она. Она знала: сон на ее старика навалривался внезапно, и тогда он может заснуть на чем угодно и где угодно. Прикурнет, бывало, на черенок лопаты среди поля и спит, а то прямо на земле растянется. Пройдет часа два и он встает здоровый и бодрый, словно всю ночь на кошме пролежал.

Тарбия откинула краешек занавески и выглянула. Так и есть: спят оба. Она встала и быстро оделась. И вдруг новая мысль пришла ей в голову: Итти к Айбарше говорить об услышанном... Да ведь она, наверное, сама и вызвалась на это? Потому, наверное, и Рахмет заговорил о соревновании, что его на то Айбарша подговорила. Самой-то стыдно, так она секретаря подослала. Иначе нечего бы ей и прятаться от людей. Раньше, в это время она уже давно на ногах! Нет, все это надо узнать по-порядку.

Тарбия накинула платок и вышла.

Дом, где жила Айбарша был недалеко. Около ворот его играл мальчишка. Это был Искандер.

— Тетя встала? — спросила Тарбия.

— Нет, спит еще, — ответил Искандер.

Тарбия прошла в спальню.

Там за пологом из марли спала Айбарша. У них

давно установился такой обычай: коли Айбарша просыпала, Тарбия приходила, щипала свою названную дочь за нос и, когда та начинала сонно ворочаться, приподнимала ее за плечи и осыпала поцелуями. Она и теперь откинула занавеску, ущипнула дочь за нос, но целовать не стала.

Айбарша что-то буркнула во сне. Тогда Тарбия крепко встряхнула ее за плечо. Айбарша сейчас же вскочила и села.

— Не обеспокоила? — холодно спросила Тарбия.

— Что такое? — встревожилась Айбарша, вглядываясь в ее расстроенное лицо, — случилось что-нибудь?

Тарбия молчала.

— Что такое случилось?! — спросила Айбарша и соскочила на пол.

— Вот что,— ответила Тарбия, легонько отстраняя ее,—послушай-ка, что я тебе расскажу,—и она передала ей ночной разговор.

Айбарша все поняла с первого же слова. Дня три тому назад они с Рахметом целый день обсуждали этот вопрос. Айбаршу тревожили те же соображения, перед которыми встал втупик Сырбай. С Рахметом они тогда договорились так: пусть Рахмет поговорит со стариком, нащупает почву. Коли согласится старик, то и она согласна. Если же нет, то и разговора незачем поднимать. Тогда они условились держать все это в тайне. И Айбарша была верна своему слову: никому ничего не говорила. Но теперь, когда Тарбия стала спрашивать, она не выдержала и рассказала ей все. Тарбия только руками всплеснула.

— Как же ты согласилась, дочка? — спросила она жалобно.

— Да так и согласилась,— ответила Айбарша.— Посмотрите: во всех колхозах развертывается соревнование. Мы оба получили ордена, значит, нам и соревноваться друг с другом. И она долго еще объясняла Тарбии почему ничего нет обидного в предложении Рахмета.

— Я человек темный,—сказала Тарбия,—и не знаю, все ли тут хорошо. Ведь тут один другого перегонять должен, а где спор, там и драка. А ты моего старика знаешь: поссориться с ним легко, а вот помириться трудно. Вот ты о чем подумай!

И Тарбия и Айбарша пришли, наконец, к одному решению: как Сырбай скажет, так тому и быть.

Сырбай, в свою очередь, после долгого раздумья пришел к решению посоветоваться с Нарбатой. Наталья продолжала работать в звене Сырбая и старик ей крепко верил. Ведь чем опасна для старика Айбарша? Тем, что она хорошо грамотна. А Наталья образована не хуже ее, и если согласится помочь — Айбарше ни почем не перегнать старика. Как Наталья скажет, что она готова, так я сейчас же и договор подпишу, — решил старик.

Он пришел к Наталье и рассказал ей все.

Однако оказалось, что Наталья и рада бы помочь Сырбаю, да не может: до июня нечего ей и думать о том, чтобы оставить без материнского надзора своего ребенка.

— Но,— сказала Наталья,— вы, конечно, смело можете принять вызов Айбарши. Не один же вы будете работать, на помощь вам придут агрономы с новыми методами посадки, с целыми тоннами минеральных удобрений, словом, вся наша наука поможет вам.

Сырбай задумчиво почесал лоб.

— Так-то так,— сказал он, наконец,— да мне ведь вся наука и не требуется. Мне такую науку нужно, чтобы она всегда со мной рядом, как ты, например, стояла. Ты мне, дочка, агронома найди.

— Калакая разве попросить? — спросила Наталья.

Сырбай молчал.

Сегодня же с ним поговорю, — решила Наталья.

— Да помощь твоего мужа мне, ох, как была бы нужна,—выговорил, наконец, Сырбай.—До сих пор он мне мало чем помогал, но вот если бы он решил мне помочь, тогда бы я и минуты не колебался. Поговори, поговори, дочка, с ним!

Калакай, конечно, согласился, и Сырбай известил Рахмета, что он согласен вступить в соревнование со своей невесткой.

Рахмет поручил новому председателю колхоза разработать проект договора, а потом вызвал к себе Калакая.

— Видишь ли,— сказал ему Рахмет,— достижение новых рекордов в рисоводстве — только одна сторона дела и, пожалуй, даже не самая важная. В соревнова-

ние вступают свекор со своей невесткой — вот совершенно небывалый для казахов случай, я специально подчеркиваю: для казахов. 24 года тому назад невестка даже глаз поднять не смела на своего свекра, вопроса задать ему не могла. К сожалению, эти варварские традиции казахский аул не изжил полностью до сих пор. В этом-то все и дело. Правда, и среди казахских женщин есть такие имена, как Салика Онгарбаева, Нурипа Досхажанова и наша Айбарша. Но все-таки работа предстоит нам огромная. Вот и я предвижу, какой резонанс вызовет в нашей республике это соревнование. Уломать Сырбая мне стоило изрядного труда. Уперся старик да и все. Я уже думал, что ничего не выйдет. Но вот сегодня, наконец, он согласился. И знаешь как объяснил он свое упорство: «не был, мол, тогда я еще уверен в своих возможностях, а теперь все подсчитал, все подытожил и вижу: нет, в грязь лицом я не ударю!»

— И мне он говорил так же,—подтвердил Калакай.

— Значит, дорогой, сговоримся мы с тобой вот как, — сказал Рахмет после небольшой паузы.— Ты завтра же утром поезжай в колхоз и привези оттуда мне проект договора, разработанного во всех деталях так, чтобы его можно было положить в основу всякого подобного договора. Скажу по секрету: на-днях будет решен вопрос о проведении в Алма-Ата республиканского совещания рисоводов. В проект решения по этому вопросу я внес и твой доклад.

— Мой доклад? — испугался Калакай.

— Да, твой доклад. Это, значит, придется тебе подработать материал. Доклад будет называться «О внедрении в практику рисоводческих совхозов и колхозов опыта Сырбая Даирбаева, установившего мировой рекорд урожая риса». Если мы сумеем возглавить это движение,—сказал Рахмет после некоторого раздумья, — большую благодарность от партии и правительства заслужим, еще большую, чем сейчас,— и он слегка кивнул на свою грудь.

Одновременно с Сырбаем и Айбаршой ордена за трудовую доблесть получили еще 17 человек. Рахмет получил орден Трудового Красного Знамени, Калакай — орден «Знак почета».

— Теперь, — сказал Рахмет, — мы будем стараться,

чтобы победителю присвоили звание лауреата Сталинской премии.

— А если оба звена соберут одинаковый урожай? — спросил Калакай.

— Тем лучше, обоих и представим на это звание.

— Сколько же центнеров должен собрать лауреат?

— Да я думаю, не меньше чем 60 центнеров с га.

— Да,— немедля откликнулся Калакай,— все возможности для такого урожая налицо. Земли им отвели самые плодородные, воды в этом году в Сыр-Дарье много, удобрений заготовлено столько, что еще на два года хватит. Остается только одно — руки приложить к земле.

Калакай, считая разговор оконченным, встал и протянул Рахмету руку, но Рахмет вдруг повернулся к нему спиной и подошел к стене. Огромная карта Советского Союза была вся усажена красными флажками.

— Смотри-ка,— сказал Рахмет, показывая на линию красных флажков,— как далеко теперь отодвинулся фронт, а ведь еще прошлой осенью немцы были на Днепре. Вот как его двинула в эти месяцы наша армия!

— А вдруг он попытается задержаться на каком-нибудь рубеже? — спросил Калакай.

— Нет, теперь ему нигде не удержаться. Была бы у него сила, не стал бы он так отступать... Мне сейчас вспоминается один случай. Было мне тогда лет 8, и вот однажды услышал я разговор: мать говорила отцу, что кто-то поймал и привез волка, что сейчас волк у нас во дворе. Я, конечно, сейчас же соскочил с кровати и спрашиваю кто и где поймал его? Оказывается, это наш деверь отличился. Волк у него задрал последнюю кобылу, так вот он поставил капкан и поймал своего злодея. Выбежал я на двор. Кругом народ, а посередине лежит связанный волк. Морда у него веревкой закручена... Деверь стоит тут же и рукавом пот утирает — видно, нелегко волка, даже связанного, живьем в аул притащить. Смотрю я на деверя, а у него кровью глаза налиты. «Отойдите,—говорит он,—я сейчас его живьем освежую». Достал нож, подошел к волку и схватил его за хвост. Народ заволновался: «Как ты не боишься греха?» — спросил кто-то. А он: «Врага бить не грех, за врага бог не накажет!» С этими словами он вонзил нож волку в брюхо и начал шкуру сдирать. Он дерет, а волк

ревет. Под конец все ушли, я один остался. Содрал деверь с волка шкуру и развязал ему ноги. «Ну, теперь, говорит, беги, коль можешь». Волк вскочил, забежал за холм и упал. Там ему и конец пришел. Так вот, кажется мне, что немецкий волк уже и сейчас без шкуры и далеко ему не убежать. Вот и все, Калакай, поезжай в аул.

Обсуждение договора в колхозе началось сразу же после приезда начальника райзо. Сырбай входил во все подробности, прикидывал, считал, соглашался или не соглашался. Иногда заходили споры: иной пункт казался совершенно ясным и Калакай готов был уже переходить к следующему, но тут Сырбай высказывал такое соображение, что текст договора приходилось пересоставлять заново.

В окончательном виде договор состоял из 39 пунктов. В нем было предусмотрено все: уход за рабочим скотом, состояние и ремонт хозинвентаря, различные агротехнические мероприятия, — все, все, вплоть до сбора и вывозки урожая.

После того, как договор был утвержден директивными организациями, соревнующиеся звенья приступили к работе.

Сразу же стало видно, что первым идет звено Сырбая. И, действительно, подготовительные работы к севу старик окончил раньше Айбарши. Но старик никак не хотел смотреть на невестку, как на своего конкурента, и всячески стал помогать ее звену.

Как-то в середине марта Сырбай поехал по делам колхоза в район. Не успел он слезть с лошади, как его потащили в райком, к Рахмету. Тот сообщил ему большую новость: 25 марта состоится республиканское совещание рисоводов. На него приглашаются Сырбай, Айбарша и Калакай.

— Смотрите, к этому времени надо кончить все подготовительные работы к севу, — сказал Рахмет.

И вот 21 марта все участники совещания собрались в Алмалык, чтобы оттуда ехать в Алма-Ата. Сырбай и Айбарша остановились на квартире Байжана. В доме, кроме Матрены, не было никого. Можно представить себе, как старуха обрадовалась гостям. Она начала что-то им рассказывать, но вдруг вспомнила и закричала:

— Суюнши! Суюнши!

— Бери все, что пожелаешь, — быстро ответил Сырбай и даже побледнел.

Старуха достала из кармана передника телеграмму и сунула ее Айбарше.

— Читай! — приказал Сырбай.

Айбарша молча и быстро пробежала желтоватый листок, потом повернулась к Сырбаю, хотела что-то сказать и расплакалась.

— Что такое? — испугался Сырбай.

— Да вот, — сказала Айбарша, с трудом справляясь со своим голосом, — пишет Даулет, что едет в командировку в Ташкент, 27 будет здесь. А я в это время...

— Вот какое дело, — сказал Сырбай сурово, — ну, ну, не плачь! Теперь войне скоро конец, еще успеете увидеться.

Он понял: Айбарша плачет потому, что ей не придется встретиться с женихом; 27 он приедет, а 25 в Алма-Ата открывается совещание. Отказаться от участия в нем она никак не может. Сырбай и Айбарша основные докладчики совещания.

Часом позже Рахмет высказал Айбарше все:

— Остаться, конечно, ты не можешь, — сказал он, — об этом и говорить нечего. Но не плачь. Ты напиши ему, объясни свое положение, он поймет и не обидится.

Даулет приехал в точно назначенный день. Его встретили Гюльнар и Байжан. Гюльнар объяснила Даулету, почему отсутствует его невеста, и передала ее письмо.

Даулет прочитал письмо до конца и сунул его в карман.

— Молодчина!—сказал он.—Ах, какая она все-таки молодчина! Впрочем, не только Айбаршу надо поздравлять с победой. Вас, Байжан, тоже следует поздравить.

— С чем же? — спросил Байжан, улыбаясь.

— Как с чем? С постройкой канала. Не поработали бы вы и урожая такого не было. Поэтому, без всяких громких слов, спасибо вам!

Они обменялись рукопожатиями.

Через несколько недель Айбарше вручили открытку. В ней было всего несколько торопливых слов: «Выле-

таю в свою часть. Ждите подробную телеграмму. Целую всех, ваш Даулет».

ЭПИЛОГ

КОГДА Сырбай узнал, что Рахмет едет в Москву учиться, он сперва даже не поверил этому. «Учиться? Чему же учиться Рахмету? Разве он не ученый человек?»

— Когда же он поедет туда? — недоверчиво спросил он Гюльнар, которая и привезла ему это ошеломляющее известие.

— Да, долго теперь не задержится, — ответила Гюльнар.—На этой неделе, я думаю, и выедет в Москву.

— Так я к нему сейчас поеду!—решительно заявил Сырбай и стал вслух рассуждать: — Зачем едет он учиться, я и ума не приложу. Но так как он очень хороший парень, все равно надо его с почетом проводить. Созовем гостей, устроим прощальный пир. Большому человеку и почет большой.

— Поедем вместе, — сказала Гюльнар.

В Алмалыке они получили телеграмму из Берлина от Даулета. Датирована она была 23 июлем 1947 года, и слов в ней было немного: «3 августа с Масакпаем будем в Москве. Оттуда выезжаем в Алмалык».

— Поедем в Москву встречать их! — захлопала в ладоши обрадованная Гюльнар.—Поедем! Поедем! Сейчас же и поедем!

— Да, обязательно надо поехать, — поддержал ее Байжан.

На семейном совете стали обсуждать — кого же послать в Москву.

— А мне, похоже, придется дома оставаться, — печально сказал Сырбай. — У меня уже колоски начинают наливаться молоком, не досмотришь, все пропадет!

— Как же так? — набросилась на старика Гюльнар. — Пять лет не видели сына и даже шага не желаете сделать ему навстречу! А ведь он тысячу раз мог погибнуть, мог вернуться калекой, мог совсем не вернуться, и теперь, когда он приезжает живой и здоровый, вся грудь в орденах, — родной отец не желает и встречать героя! Колоски наливаются! Ну и пусть наливаются, а мы с вами поедем. Тут я не уступлю вам!

Пришлось Сырбаю уступить. Затем заговорили о том?

может ли поехать с ними Айбарша. С ней дело было куда сложнее, у нее на-днях должен был родиться ребенок — прошлой осенью она ездила в Берлин к мужу.

Гюльнар решительно заявила, что Айбаршу трогать сейчас нельзя. Вместе с тем отпал и вопрос о поездке в Москву Тарбии: раз Айбарша оставалась дома, долг свекрови быть в это время возле своей снохи. Поэтому и решили: в Москву поедут встречать дорогих гостей Сырбай, Гюльнар, Байжан, их сын Бахытжан и жена Масакпая — Уркия.

Сырбай зашел к Рахмету. Он все еще не мог поверить тому, что Рахмету следует учиться.

— Как же так, дорогой?—сказал Сырбай.—Неужели и тебе надо учиться? Я думал, что ты коли не десять наук, так одну-то свою райкомовскую, наверное, прошел!

— Ах, аксакал, — улыбнулся Рахмет, — я и свою, райкомовскую, науку как следует не знаю, меня иные люди десять раз вокруг пальца обернуть могут!

— Ох, не верится мне что-то, сынок, — покачал головой Сырбай, — никак не верится мне! Где же эти люди, перед которыми ты как ученик перед учителем? В нашем районе нет тебя умнее и ученее.

Рахмет захохотал.

— Ну, аксакал, — сказал он, — за доброе слово благодарю, но только вы слишком уже меня высоко возносите. Правда, опыт и смекалка у меня есть, подчитал я к тому же кое-что, но с этим багажом далеко не уйдешь. Ведь знания не стоят на месте, посмотрите, люди вокруг умнеют с каждым часом. Нехорошо, чтобы секретарь райкома был глупее других, а я иногда чувствую, что отстал, что и науку-то свою знаю не всю.

— Отстал? — удивленно воскликнул Сырбай.

— Есть такая наука, — сказал Рахмет, — которую надо знать всем, а тем более партийным работникам. Эта наука называется марксизмом-ленинизмом. Она дает знание законов развития человеческого общества. Изучив эту науку, можно знать не только то, как развивается человеческое общество сейчас, но и то, как оно будет развиваться в будущем. И тут, аксакал, отставать нельзя—надо вместе с наукой итти все вперед и вперед.

— Понимаю, понимаю теперь, сынок, за какой наукой ты едешь в Москву.

В немногих словах Рахмет рассказал далее, что его посылают в Академию общественных наук, что он к этому уже подготовился, отлично закончив Алма-Атинский заочный университет марксизма-ленинизма.

— Значит, ты уезжаешь от нас надолго,—сказал Сырбай и после некоторого раздумья добавил: — а я ведь приехал пригласить тебя в гости. Можешь ты сейчас со мной поехать, сынок?

— Нет, сегодня никак не могу, аксакал. На сегодня я хочу предложить вам другое: давайте, вместе с Байжаном, проедемся по полям вашего колхоза. Хочу посмотреть, что там у вас делается? Какие виды на урожай? Кажется мне, что вы и в этом году заслужите звание лауреата.

— Как уж бог пошлет, — смиренно ответил Сырбай.

— Заслужите, заслужите, но думается мне и другое: как бы на этот раз вас все-таки не опередила невестка ваша? Уж больно посевы у нее хороши.

— Да так оно и будет, — кивнул головой Сырбай. — Я уже ходил и прикидывал: у ней есть пять таких гектаров, с которых она снимет не менее 170 центнеров, а у меня на круг выходит всего 160! Вот какое оно мое лауреатство! Еще надо посмотреть, достанется ли оно мне?

— Ну, что же, есть лауреаты и второй степени, — улыбнулся Рахмет.—Вы и Айбарша из одной семьи, так уж не будете, наверно, завидовать ее успехам, поделитесь как-нибудь славой...

— Не буду, нет, не буду, — взмахнул руками Сырбай. — Ладно, сынок, давай посмотрим наши поля, но сперва проедем ко мне, сообщим старухе о телеграмме, иначе обиды не оберешься.

Рахмет подумал и согласился.

В колхоз они выехали на маленьком юрком виллисе. Дорогой Сырбай предложил заехать на могилу Анатолия Кондратьевича.

Кладбище, на котором был похоронен старый инженер, издали можно было принять за небольшую рощу, — так густо за эти годы разрослись здесь посаженные Сырбаем деревья. По узкой тропинке, заросшей бурьяном и полевыми цветами, доехали они до могилы. Здесь машина остановилась. На розовой плите сверкала золотой насечкой фамилия старого инженера. Все было ок-

ружено широким квадратом узорной чугунной ограды. Цветы на клумбах были сгруппированы так, что образовывали надпись, повторяли розами, астрами и тюльпанами имя великого оросителя степи.

Рахмет остановился около решетки ограды. Ему бросилось в глаза, что могила инженера придвинута к одной стороне ограды, что в другой стороне есть место еще для одной могилы. Рахмет с недоумением посмотрел на Сырбая. Тот догадался.

— Ничего, ничего, сынок, это я для себя место приготовил. Лягу я здесь рядом с Анатолием.

— Ай, не годится, аксакал, — улыбаясь закачал головой Рахмет, — плохо вы придумали. Не простит вам аллах того, что вы, правоверный мусульманин, ложитесь рядом с неверным. Не будет вам за то ни счастья, ни покоя.

— Ты шуточки со мной не шути, — сурово обрезал его Сырбай. — Я своему другу клятву дал: живыми мы не разлучались, а когда умрем, тоже лежать вместе будем.

Ночевали они в этот день у Сырбая. Утром старик вышел на двор и увидел: стоит у него во дворе оседланная лошадь Гюльнар, а самой Гюльнар нет. Это удивило его.

— Где же твоя жена? — спросил Сырбай Байжана.

— Не поедет она, — ответил Байжан, — останется с Айбаршой.

Сырбай встревожился. Ему давно не нравилось ни лицо Айбарши, ни состояние ее и он часто спрашивал Тарбию: все ли у нее благополучно? На все вопросы она отвечала: «ничего, ничего, все будет в порядке. Не она первая рожает». Но сейчас, когда оказалось, что Айбарше так плохо, что Гюльнар даже отказалась от поездки, Сырбай забеспокоился по-настоящему.

— Ну-ка, милая, — приказал он Наталье, — пойди и узнай, где Гюльнар и почему ее с нами нет?

Наталья ушла и скоро вернулась с сообщением, что Гюльнар плохо выспалась, устала и теперь отдыхает.

— А невестка?

— А невестка так крепко спит, что я ее и будить не стала.

— Ну, хорошо, коли так, — успокоился Сырбай.

Между тем Наталья сказала неправду. Когда она вошла в комнату Айбарши, та лежала, уткнувшись лицом в подушку, и плакала. Гюльнар сидела рядом и тихонько гладила ее по голове.

— Что случилось? — спросила Наталья.

Айбарша громко всхлипнула.

— Да вот, — сказала Гюльнар, — обидно ей, что она не может сама свой участок Рахмету показать. Сырбай поедет, а она нет. Вот и плачет от этого.

Наталья сделала вид, что поверила этому и стала утешать подругу. Она сказала, что сама поедет с секретарем райкома и представит ему участок Айбарши не хуже, чем это могла бы сделать она сама. Айбарша немного успокоилась, встала и привела себя в порядок.

Сырбай, Наталья, новый председатель колхоза уже выехали за ворота, когда к ним подъехал Рахмет.

— Хочется мне на прощание,—сказал он Сырбаю,— осмотреть все наши посевы, все сады и все цветники, то есть все, все, на что упали воды нашего канала.

— Ну, что же, — похвалил его Сырбай, — дело хорошее, да только для того, чтобы осмотреть все наше хозяйство, дня четыре потребуется, а нам нужно выехать во-время, чтобы Даулета не пропустить.

— Да, это так, — согласился Рахмет.

Подъехал Байжан и, узнав, о чем идет речь, сказал:

— Зачем ездить по всему району орошения? Хватит с нас и одного нашего аула. Посмотрите хорошенько его. Хотите вы увидеть улицы, утопающие в зелени, — вот они перед вами. Хотите погулять по цветущим фруктовым садам — вот они. Цветники, бахчи, рощи — все есть в нашем ауле. Послушайте, как шумят наши пасеки, посмотрите, какие полосатые арбузы, исполинские дыни и тыквы вырастают на наших засушливых, степных землях. Какими нарядными садами убрался наш район. Едемте в наш аул!

Поехали по колхозной улице.

По обеим сторонам тянулись зеленые аллеи. Листва тополей была так густа, что через нее еле-еле виднелись аккуратные нарядные строения — каждый домик походил на другой — весь поселок строился по одному плану. Около корней деревьев журчали арыки, неся на поля и в сады сыр-дарьинскую воду.

Рядом с аулом раскинулся большой колхозный сад. Он был таким роскошным, что радовал глаз каждого. Здесь были яблоки круглые, яблоки удлиненные, как лимон, большие и маленькие; кровавокрасные и зеленые, розовые и почти совершенно белые; были яблоки такие твердые, что они могли лежать не портясь целую зиму, а были и такие, что гибли от каждого неосторожного прикосновения. Некоторые яблоки были с кислинкой, другие вкусом напоминали молоко, настоенное на меду.

Росли здесь мохнатые персики, сливы, словно выточенные из янтаря, пышные абрикосы цвета яичного желтка, урюк и много, много других ягод.

Широкая дорога делила сад на две половинки. По ней путники и доехали до устья сырбаевского арыка. Берег здесь и раньше был высоким, когда же прошла землечерпалка, он превратился в большой и крутой холм.

Поднялись на вершину холма. Открылся вид на головной шлюз со сложной электрической аппаратурой, на гидростанцию.

Река текла тихо и спокойно. Как выдрессированная лошадь, она свободно и легко катила свои воды к воротам шлюза. Ни волн, ни водоворотов не было здесь, только легкая рябь иногда пробегала по свинцовой поверхности канала. Но вот через два шага, вырвавшись из бетонированного канала, река скидывала узду и, теряя голову, мчалась вниз.

С этого места было хорошо видно широкое зеленое поле, простирающееся к западной оконечности горного хребта «Кара мурун каскетау».

— А раньше, — сказал Сырбай, — здесь была голая пустыня, только кое-где на сером просторе ее чернели колючие кустарники.

— Вот какие чудеса, — воскликнул Рахмет, — может творить советский человек! Вот такой будет и вся сырдарьинская долина!

— Когда еще это будет? — покачал головой Сырбай.

— А думаете на это века потребуются, — усмехнулся Рахмет.— Нет, аксакал, двух сталинских пятилеток хватит на полное преображение нашей земли.

Сырбай молчал.

— Что ж вы молчите? Не верите разве?

— Как не верить? Верю, сынок, всему верю.

— Ну, тогда давайте уговоримся так: пока я буду учиться в Москве, вы учите людей, как сады разводить, как высокие урожаи риса получать, как воду в каждый закоулок степи проводить. Приеду, вместе работать будем. А богатства на то, чтобы поднять степь, у нас хватит. Вот этот участок — сколько он дает дынь с гектара? — обратился он к председателю колхоза.

— В прошлом году,—ответил председатель,—собирали мы на круг не меньше трех тысяч. В этом году будет не меньше.

— Ого!— покачал головой Рахмет.— Я знаю, какие здесь дыни, каждая стоит не меньше 10 рублей. Три тысячи дынь по 10 рублей штука, вот тебе и 30 тысяч. А сколько гектаров на этом участке?

— 10 гектаров,— ответил председатель.

— А участки колхозные?

— У нас, товарищ секретарь,— сказал председатель,— единоличных бахчей и огородов теперь совсем нет. Поняли люди, что на трудодни соберешь больше, чем со своей усадьбы.

Подъехал Калакай и, поздоровавшись, пригласил осмотреть опытное поле. Здесь была собрана редчайшая коллекция разных сортов риса.

— Вот тут, товарищи,—сказал Калакай,—представлены почти все виды риса, начиная от наших отечественных и кончая атлантической разновидностью, дальше идут рисы из долины Нила, из Аравии, Индии, Китая, с японского архипелага. Все они высажены в порядке их географического расположения — с запада на восток.

— Вот,— продолжал он,— нильский сорт. Колосья у него кажутся куцыми от малой длины волосков, он поэтому так и называется «куцым».

На дощечке, прикрепленной к колышкам, были вписаны все данные: происхождение сорта, урожайность его, замечания, относящиеся к акклиматизации. Точно такие же колышки с паспортами торчали на всех других делянках.

— А вот,— сказал Калакай,— наша гордость — сорт «Сырбай». Обратите внимание на его колосья. Они хотя и куцые, но очень вместительные, ядреные. В то время как другие колосья содержат не больше 80 зерен, в этих колосьях не менее 100. Кроме того, у этого сорта от

ромный процент всхожести. Другие сорта приносят сам-десять, много сам-тридцать, а сорт «Сырбая» может дать сам-пятьдесят, то есть практически сбор зерна равен 900 пудам с гектара.

— Ну, коли 900 пудов, тогда нам незачем и смотреть ваши поля, аксакал,— полушутливо сказал Рахмет.

— Нет, нет,— испугался Сырбай,— мало ли что у него там на опытном выросло? Я прошу мои поля посмотреть. Я его опытные и знать не хочу.

Направились к полю Сырбая. Колосья на этом поле стояли высокой густой стеной, куда более высокой и густой, чем на опытном участке.

— Ну, как? — спросил Сырбай, всматриваясь в лицо секретаря. Он вошел в самую гущу, поднял одно растение и выпрямил его согнутый стебель; стебель доходил ему до груди.— А ну, подсчитаем, сколько в этом кусте колосьев?

Рахмет стал сосредоточенно считать.

— Что за чорт?— сказал он вдруг — 72. Неужели 72? Никогда этого не бывало.

— В этом кусту еще мало колосьев,— ответил Сырбай,— а бывает до 100 стеблей.

— А сколько же зерен в одном колосе?

— Да при хорошем урожае до 350 бывает. Значит, от одного зерна можно собрать тридцать пять тысяч зерен. Я как-то посадил одно зерно и все семена с него каждый год собирал в особый мешочек. Оказалось, что через два года с одного зерна земля мне дала 250 килограммов!

Прошли на участок Айбарши. Здесь рис стоял еще более густой стеной, обещающей небывалый урожай. Рахмет искренне радовался успеху знатных рисоводов,—ведь, что ни говори, а частица и его труда есть в этих успехах! — не так ли, аксакал? — спросил он Сырбая.

— Правильно, правильно, сынок! Все это сделано под твоим руководством. Спасибо тебе за все,— низко поклонился ему Сырбай.

— Но я,— сказал Рахмет,— не был сам по себе, меня партия и правительство послали, вот кого следует благодарить... У меня теперь, аксакал, одна мечта: кончить учебу и вернуться сюда. Вот и Байжан останется здесь. Не правда ли?

— Правильно,— ответил Байжан,— я с этой земли никуда не подамся. Да моя работа тут еще и не начата. Вот когда закончим в новой сталинской пятилетке строительство плотины, тогда я и скажу: «ну, теперь все!»

Вернулись с поля поздно вечером. Сырбай так и не пустил Рахмета домой.

— Вчера вы были моими гостями,—сказал он,—а сегодня вас к себе приглашает Айбарша.

Уехал Рахмет только на следующий день.

И вот последние сборы перед отъездом в Москву.

По старому обычаю мужчина никогда не сообщает женщине, куда и зачем он едет, никогда он и не прощается с женщиной, а женщина не смеет желать ему счастья. Однако Сырбай на этот раз поступился обычаем — он пришел к Айбарше проститься.

— Отец,— сказала Айбарша,— вы знаете: женщина не может желать счастливого пути уезжающему, но раз вы сами нарушили закон, то и я не буду за него держаться. Счастливого пути вам, отец! Хорошей приятной встречи вам!

...Остановились они в гостинице «Москва». Рахмет и Байжан с женами заняли по отдельному номеру, остальные устроились в одном большом номере.

— Ну, как, аксакал, пойдем осматривать город?— спросил Рахмет.— Вы слышали, что в этом году Москве исполняется 800 лет?

— Да, Айбарша читала мне об этом. В газетах очень много об этом пишут!— ответил Сырбай.

— И есть о чем писать! В этом городе мавзолей Ленина, в Москве Кремль. В Москве живет Сталин. Есть здания, которые насчитывают 500 лет.

Они вышли на улицу. Сырбай задрал голову, чтобы посмотреть на крышу гостиницы «Москвы», и у него чуть с головы шапка не слетела.

— Ой, сколько же тут этажей? — сказал он удивленно.

— 18, аксакал. Вы живете в девятом, а над вами еще девять. А знаете, что здесь раньше было?

И Рахмет рассказал Сырбаю, что не так давно на этом месте стояли деревянные ларьки, в которых торговали пухом, пером, рыбой, дичью. Поэтому и называется это место Охотный ряд.

Сырбай слушал и головой качал.

Но где бы ни был Сарбай, чем бы он ни занимался, мысль об Айбарше не давала ему покоя. Он ждал телеграммы: «Поздравляю с внуком». Но телеграммы не было, и старик вздыхал все чаще и чаще.

В день приезда Даулета встречающие заехали в Казпредставительство. Рахмет прошел в здание, а остальные остались дожидаться в машинах. Вернулся Рахмет очень быстро.

— Большая новость, аксакал,— сказал он,— сейчас я только что говорил с матерью Натальи.

— Да что ты? Где она? — воскликнул Сырбай и рванул дверку машины.

Из здания вышла старуха. У ней было серое измученное лицо, она была скверно одета, но чем-то неуловимым все-таки напоминали Наталью Полещук. Старуху окружили и стали расспрашивать, приглашать и рассказывать о дочери. Она молчала, глядела на них явно смущенная этими незнакомыми людьми со странными восточными лицами, их бурным вниманием и тем, что их так много.

— Ну, что ж, товарищи, нам уже пора! Поедем и старуху с собой возьмем. Много она испытала—и в оккупированной местности жила, и в лагере сидела, и чуть-чуть в Германию не попала. А вот теперь уже с год ездит по стране и дочку разыскивает. Теперь мы ее уже не оставим.

Через час они встретили на аэродроме Даулета и Масакпая. Даулет был уже в форме полковника. Над бесчисленными орденами и медалями, покрывшими его грудь, сияла Золотая звезда. Даулет пополнел, возмужал, раздался в плечах, стал носить черные усы загнутые кверху. Масакпай был в форме старшего лейтенанта. Он тоже отрастил себе черные густые усы и остроконечную бороду. Его грудь также украшали несколько орденов и медалей.

Стали обниматься.

— Только не плакать, товарищи! — крикнул Даулет.— Слезам здесь не место,— он сказал это потому, что заметил: мать Натальи и Гюльнар, отвернувшись, глотали слезы.

Даулет подошел к Сырбаю, обнял его и крепко по-

мужски поцеловал. Потом он обернулся к Гюльнар, обнял ее. Но глаза его искали кого-то другого.

— Не приехала она, — сказал Байжан, подходя и крепко пожимая руки Даулету.— С час на час ожидаем телеграммы — отцом будешь!

В тот же день Даулет связался по телефону с Алмалыком и вызвал Айбаршу.

— Ну, как твое здоровье? — спросил он.

— Все хорошо,— ответила она.— А ты когда будешь здесь?

Даулет объяснил: дня на два, на три он задержится здесь, — в Москве у него дела.

— Ты только не торопись,— сказала Айбарша,— делай все спокойно. Теперь уж мы наверняка увидимся.

Дело Даулета заключалось в том, что ему нужно было оформить свое поступление в Военную Академию имени Фрунзе. Он уже имел извещение Академии о том, что его принимают слушателем, но с документами своими он еще не был там.

— Демобилизовать меня не хотят,— сказал он Сырбаю.—Значит, придется еще послужить. А если служить, то нужно хорошо знать воинскую науку. Она пригодится.

— А с Масакпаем как? — спросили его.

— А Масакпай что? Я его готов отпустить хоть сегодня, только документы оформить надо.

— Я для него и место уже присмотрел,— сказал Рахмет.— Как, по-твоему, может ли он быть первым заместителем председателя райисполкома?

— Да хотя бы самим председателем! — ответил Даулет.— Он теперь на все руки мастер.

Помолчали.

— Ну, а что с Айбаршой будет? Ей ведь тоже учиться надо,— прервал молчание Рахмет.

— С ней-то яснее ясного. — ответил Байжан. — Она все время мечтала о Московском институте водного хозяйства. Вот и поступит теперь.

— А как же звено ее? — спросил Даулет.

— У ней заместительница, Наталья Полещук. Ты ее должен знать...

На другой день, оформив в Академии свое личное дело, Даулет пришел к Байжану. И только он вошел в

комнату, как зазвонил телефон. Гюльнар взяла трубку, послушала и радостно воскликнула:

— Поздравляю, Даулет! Сын.

Даулет выхватил трубку. Говорил Рахмет. Он снова повторил содержание телеграммы и пригласил зайти сейчас же в комнату Сырбая.

Старик ходил по номеру, улыбался, не мог найти себе места. Натура старика была деятельная, энергичная и любое волнение он переживал мускульно.

— Теперь вы, аксакал, должны задать пир на весь мир. Наконец-то, вы стали дедушкой! — воскликнула Гюльнар.

— Будет, будет вам пир,— сказал Сырбай, весь сияя,— и ты будешь им распоряжаться, дочка! Но это уже в ауле, однако,— тут и места нет! Где тут, скажем, байгу устроишь?

И все-таки этот день они отметили маленькой пирушкой. Первым взял слово Сырбай. Он обвел взглядом гостей и, поднимая стакан, сказал:

— Дорогие друзья! Пью я водку второй раз за всю мою жизнь. Первый раз я пил ее под Сталинградом — за победу, второй раз — сегодня. Пью я сегодня за две самых больших радости в моей жизни — за возвращение моего сына героем и за рождение внука. Хочется мне только, чтобы у внука было хорошее имя...

Он остановился, выжидал.

— Да, большое дело — придумать хорошее имя человеку,— продолжал старик после паузы.— Вот сегодня сошлись мы за этим столом здоровые, веселые, счастливые, но одно место все-таки пусто — за ним нет моего незабвенного друга, моего Анатолия. Поэтому я и прошу назвать внука Анатолием. Разве плохо это имя?

Сырбай услышал тихий вскрик и обернулся: к нему с бокалом в руке тянулась Гюльнар.

— Благодарю вас, благодарю,— сказала она и, обняв Сырбая, заплакала. У старика потекли слезы.

— За счастье маленького Анатолия,— крикнул он и осушил стакан.

— За счастье Анатолия,— подтвердили все.

КОНЕЦ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Глава первая. Инженер поневоле.	5
Глава вторая. Перед свадьбой.	19
Глава третья. В его кабинете.	31
Глава четвертая. Шолак-Арык.	40
Глава пятая. Сорок тысяч кетменей.	59
Глава шестая. Пропавший проект.	78
Глава седьмая. Соревнование.	91
Глава восьмая. Сом, проглотивший человека	112
Глава девятая. Слушайте, слушайте!!!	122
Глава десятая. В тот день.	135
Глава одиннадцатая. Часы разлуки.	145
Глава двенадцатая. «Настоящий мужчина»	156
Глава тринадцатая. Самая дорогая мать.	171
Глава четырнадцатая. Чувство родства.	186
Глава пятнадцатая. Чудесное лекарство.	202
Глава шестнадцатая. От всей души.	212
Глава семнадцатая. Так и следует.	222
Глава восемнадцатая. Любить или не любить.	240
Глава девятнадцатая. Похищенные семена.	246
Глава двадцатая. Последний прыжок.	261
Глава двадцать первая. Подлинная дружба	271
Глава двадцать вторая. Гордиев узел.	283
Глава двадцать третья. Встреча в госпитале	294
Глава двадцать четвертая. Ночной разговор.	304
Глава двадцать пятая. Тревога.	308
Глава двадцать шестая. Страж «Котерме».	313
Глава двадцать седьмая. Вода идет.	323
Глава двадцать восьмая. Молодые поросли.	331
Глава двадцать девятая. Подарки.	339
Глава тридцатая. На фронте.	346
Глава тридцать первая. За русскую землю.	352
Глава тридцать вторая. Дорога победителей	364
Эпилог.	382

Ответственный редактор
М. Рядник

Технический редактор
Х. Давлетов

Художник *К. Баранов*

•

Подписано к печати 27|IX-1948 г.
УГ0 343 Изд. № 39, объем 24,75 п. л.
Учетно-изд. 19,75 л. Тираж 15.000
Формат бумаги 84|X108 $^{1}/_{32}$
Цена 16 руб.

•

г. Алма-Ата, Гостипография № 3
Управления Полиграфии и Издательств
при Совете Министров КазССР.
Заказ № 502.